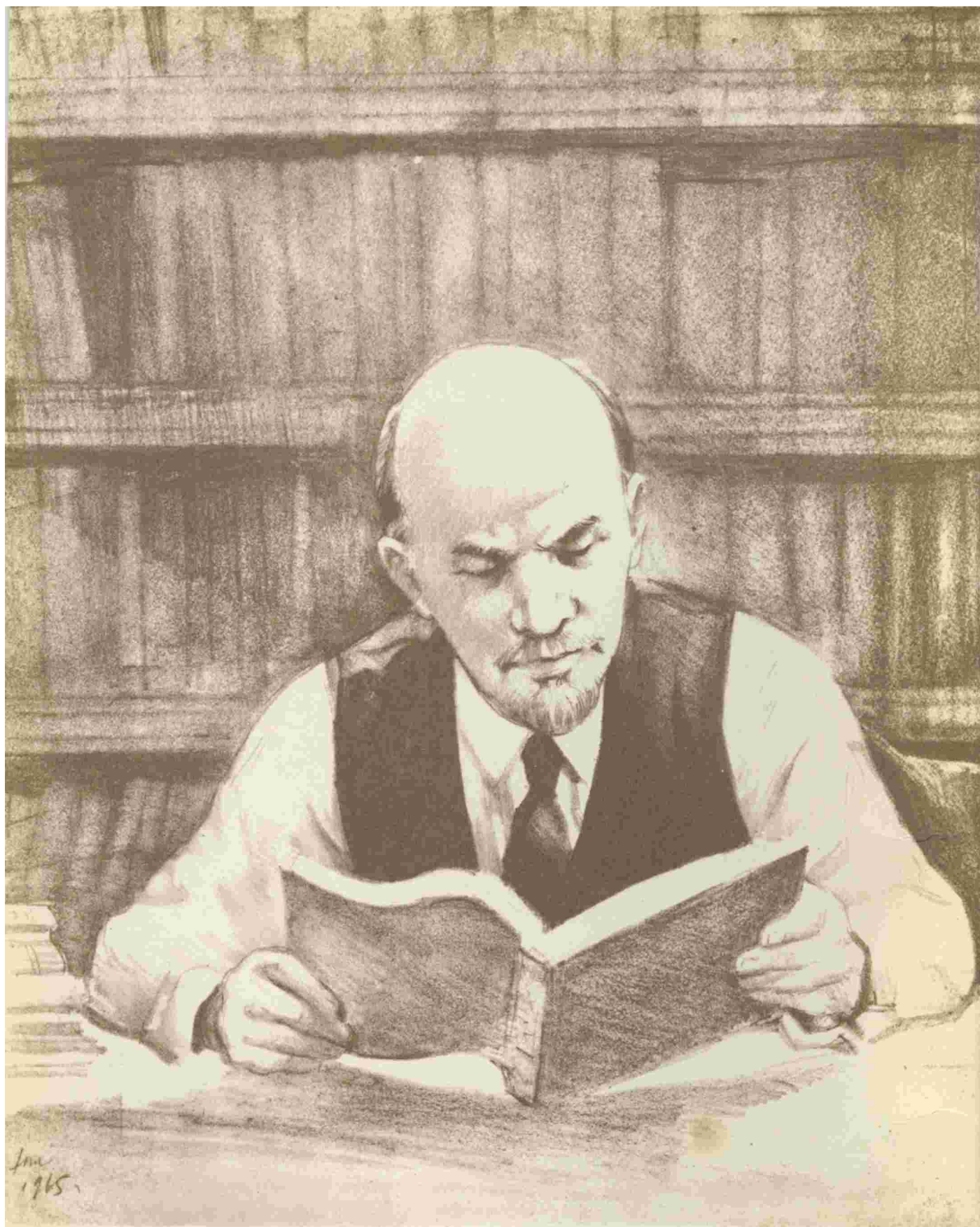




ЮНОСТЬ

4

1966



И. ЖУКОВ.

Посоветуемся с Марксом.



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ЮНОСТЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» - МОСКВА

А П Р Е Л Ь

1966

4

[131]

ГОД ИЗДАНИЯ
ДВЕНАДЦАТЫЙ

• В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ •

СЛОВО К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ. Передовая	2	Константин ВАНШЕНКИН. «Порой стихи случалось мне встречать...». «Белеет доска подоконника...». Инерция. «В ранний час в березовых хорах...». «Резко озаренные луной...». Верлибр	82
● ПРОЗА		● ПУБЛИЦИСТИКА	
Ицхонас МЕРАС. На чем держится мир. Роман-баллада. Авторизованный перевод с литовского Феликса Дектора	18	Б. ЯКОВЛЕВ. «Мы партия новаторов...»	7
Юрий ПОЛУХИН. По ту сторону добра. Повесть. Окончание	55	А. ЕФИМОВ. Новые рубежи	72
● ПОЭЗИЯ		Мария ПРИЛЕЖАЕВА. В мастерской художника	77
Марк ЛИСЯНСКИЙ. Его я не видел ни разу. Песчаная горка. Обручальные кольца. Памятники	6	Лев СИДОРОВСКИЙ. Парень с «Красного Треугольника»	91
Флор ВАСИЛЬЕВ. Кремлевские куранты. Перевод с удмуртского В. Савельева	17	Виктор БУХАНОВ. Лунное притяжение	94
Илья ФОНЯКОВ. Земля и небо Вьетнама	53	Юрий ЗЕРЧАНИНОВ. Космическое Узорье	100
Лина КОСТЕНКО. «Угасли кострища стоянок...». «Сон лесной пришел ко мне свободно...». Перевод с украинского Ю. Мориц	75	● ПОГОВОРИМ О ПРОЧИТАННОМ	
Микола СЫНГАЕВСКИЙ. Триптих. Перевод с украинского Л. Смирнова	75	Феликс КУЗНЕЦОВ. В мире боец... (Заметки о молодом герое и его революционном идеале)	83
Виталий КОРОТИЧ. Сады. «Благословляю справедливость гнева...». Перевод с украинского Ю. Мориц	76	● ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ	
Борис ОЛЕЙНИК. «— Ты скажи, откуда очи...». Перевод с украинского Л. Смирнова	76	* С. ЛЕВИНА. «Осторожно, варенье!»	103
Евгений ВИНУКОВ. Государственность. Велолыхачи	81	Юрий КРАУЗЕ. Скрытой камерой	104
		● СПОРТ	
		Приз «Юности» вручен	105
		Наташа КУЧИНСКАЯ. Моя гимнастика	106
		● «ПЫЛЕСОС»	
		Иван КАРАБУТЕНКО. Ворона на снегу	110
		Наум СТАНИЛОВСКИЙ. Юморески	111

На 1-й и 4-й страницах обложки — рисунок Ю. ЦИШЕВСКОГО.
Портрет И. Мераса (стр. 18) — худ. В. КРАСНОВСКОГО.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Подписчики «Юности», срок подписки у которых истекает в июне с. г., могут заблаговременно возобновить подписку на 2-е полугодие 1966 года.

Подписка принимается в отделах и агентствах «Союзпечати», в отделениях связи, а также общественными распространителями печати на предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

Художественный редактор Ю. Цишевский. Технический редактор Я. Борисов.
Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52. Тел. Д-5-17-83. Рукописи не возвращаются.
Л. 10586. Подп. к печ. 16/IV 1966 г. Формат бумаги 84×108¹/₁₆. Объем 7,25 физ. печ. л. —
12,18 услов. печ. л. Тираж 2 000 000 экз. Изд. № 757. Заказ № 568.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва, А-47, ул. «Правды», 24.

С Л О В О К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

Двадцать третий съезд Коммунистической партии Советского Союза, несомненно, войдет в историю нашего народа как одна из значительнейших ее вех. На флагманском корабле социализма, сквозь штормы и бури прокладываящем человечеству никогда и никем еще не изведанный путь к всеобщему счастью, произведен смотр боевых сил, слаженности всех частей и механизмов, готовности к новым революционным боям и свершениям.

Внимательно, с добрыми чувствами следили советские люди и миллионы их зарубежных друзей за всем тем, что происходило на партийном съезде. С беспокойством, с нескрываемой злобой наблюдали за ходом съезда наши зарубежные недруги, по своему толкующие его работу, но понимающие, какое огромное влияние он окажет не только на жизнь в Стране Советов, но и во всем мире.

Правда съезда дошла до сердец миллионов тружеников у нас и за рубежом и вызвала самый положительный отклик.

Юноши и девушки нашей страны! Внимательно вчитайтесь в Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС, сделанный Л. И. Брежневым, в доклад А. Н. Косыгина о Директивах съезда по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1966—1970 годы, в речи делегатов и зарубежных гостей съезда, в его единодушно принятые решения. В них вы найдете глубокий и всесторонний марксистско-ленинский анализ международного и внутреннего положения Советского Союза. В них вы увидите итоги громадной политической и организаторской работы партии и героического труда советского народа. Вы увидите, как, продолжая линию, определенную XX—XXII съездами, партия ведет наш народ по ленинскому пути, как настойчиво и мудро, отважно и последовательно борется она за мир во всем мире, за укрепление мировой социалистической системы, за рост национально-освободительного движения, за развитие революционных сил в странах капитала, за боевое единство и сплочение коммунистических и рабочих партий всех стран. Вчитываясь в решения съезда, вы увидите, как партия — руководящая и направляющая сила советского общества — говорит с народом не только о вызывающих в каждом из нас законную гордость величественных победах, но и смело, откровенно, по-ленински вскрывает малые и большие недостатки в работе и жизни, вдумчиво вырабатывает методы их устранения.

XXIII партийный съезд — новая ступень в развитии нашего советского общества. Перед народом, перед каждым из советских людей открылись новые горизонты. Съезд утвердил основы народнохозяйственного плана на предстоящее пятилетие, он зарядил советских людей великой энергией, вдохновил на повышение производительности труда, которое является неперенным условием укрепления могущества нашей социалистической Отчизны, дальнейшего роста народного благосостояния.

Партийный съезд выразил волю всего нашего народа, его готовность к борьбе за полную победу коммунизма. Духом великой заботы о развитии советской экономики, о благосостоянии народа, о росте его культуры, о воспитании его славной молодежи проникнуты решения съезда.

На твою долю, наш юный читатель, выпала счастливая судьба — вместе со всем народом участвовать в грандиозных работах новой пятилетки. Возможно, сегодня ты, как и многие из твоих сверстников, еще только учишься. Но завтра все вы пойдете на самые передовые участки великой стройки, будете возводить атомные электростанции, строить новые города, осваивать тайгу, добывать уголь, варить сталь, работать на полях страны... От Бреста до Владивостока, от Мурманска до Кушки, на фабриках и заводах, в колхозах и совхозах, на стройках и в научных лабораториях, в мастерских бытового обслуживания и в магазинах — всюду найдут себе применение руки, энтузиазм, знания и ум юношей и девушек, всюду есть возможность творить, проявлять свою инициативу. Молодежь, не раз показавшая, что она достойно несет эстафету боевых дел своих дедов и отцов, продолжит и умножит славные боевые революционные традиции старших поколений.

Вы, молодые люди, — надежда и будущее советского народа. Вот почему партийный съезд уделил так много внимания проблемам коммунистического воспитания молодежи, ее идейного формирования, выработки у нее марксистско-ленинского мировоззрения, высоких нравственных качеств, нетерпимости к чуждым влияниям.

Зарубежные враги, пытающиеся подорвать социалистический строй в СССР, атакуют его принципы, идеологию и мораль, затрачивают на эти свои гнусные цели огромные средства и усилия. Напрасные траты, безнадежные усилия!

Всемерно повышать идейно-воспитательную работу — вот боевая задача, которую партия снова и снова ставит перед всеми коммунистами, перед Ленинским комсомолом, перед деятелями советской науки и культуры, литературы и искусства.

Съезд уделил большое внимание вопросам литературы и искусства. В Отчетном докладе Центрального Комитета КПСС с удовлетворением было сказано, что «советское искусство и литература превратились в мощную силу коммунистического воспитания».

Делегаты партийного съезда в своих выступлениях говорили, что наша литература и искусство развиваются на путях социалистического реализма, развиваются успешно и в основном неплохо выполняют свои задачи. Главенствующим содержанием подавляющего большинства произведений литературы и искусства стали современность, проблемы коммунистического строительства в нашей стране.

Отмечая все возрастающее значение искусства в духовной жизни советского народа, ЦК КПСС, однако, указал в своем докладе, что в большом и смелом поиске наших писателей и деятелей искусства «...наряду с творческими победами бывают и неудачи».

Иные художники при всей их одаренности порою замыкаются в узкие рамки своих субъективных переживаний, не критически относятся к собственным наблюдениям, недостаточно глубоко знают и плохо изучают законы общественного развития и общественных отношений, не всегда чувствуют пульс народной жизни.

Между тем, как только писатель забывает о необходимости глубокого изучения народной жизни во всей ее сложности, в его произведениях вместо художнического исследования этой жизни появляется поверхностное описательство, манерничанье; действительность изображается однобоко и обедненно. В произведениях такого рода нет полноценного отражения мужественной и самоотверженной борьбы передовых советских людей за коммунизм; есть лишь обрывки, отдельные малоосмысленные и разрозненные факты и явления, искусственно вырванные из общего потока народной жизни и потому нередко вступающие в серьезное противоречие с большой правдой этой жизни.

Такие неудачи являются прямым следствием снижения чувства гражданской ответственности художника. В результате на страницы книг и журналов, на экраны и театральные сцены страны иногда еще проникают произведения слабые в идейном и художественном отношении.

В дни XXIII съезда КПСС с особенной силой проявились единство и сплоченность советского народа вокруг ленинской партии. Горячо поддерживая решения партийного

съезда, наш народ вновь и вновь подтвердил, что все его самые заветные мечты сопряжены с нашим продвижением к полному торжеству коммунизма. Именно поэтому борьба за коммунизм и должна определять идейную направленность, идейный пафос художественного творчества в нашей стране, его глубочайшую народность и партийность. Именно поэтому советский читатель любит литературу, которая правдиво и многосторонне изображает народную жизнь.

В Отчетном докладе ЦК КПСС партия напомнила всем нам, что она «...всегда будет поддерживать искусство и литературу, утверждающие веру в наши идеалы, будет вести непримиримую борьбу против всех проявлений чуждой нам идеологии». В наши дни, как никогда, ощущается духовная потребность в подлинно народных, героических характерах. Нам нужно правдиво и вдохновенно изображать в произведениях литературы и искусства передовых людей коммунистического труда, людей, умеющих самостоятельно думать и решать, обличать и побеждать зло, утверждать красоту и величие марксистско-ленинских идей.

Наша литература и искусство глубоко оптимистичны и жизнеутверждающи. Советские художники и писатели должны уметь зорко разглядывать новое, прогрессивное в нашей жизни, талантливо и ярко показывать красоту мира, в котором мы живем, величие целей и идеалов человека нового общества. Все это, конечно, не означает, что надо писать лишь о хорошем и положительном: «У нас, как известно, немало трудностей и недостатков, и правдивая их критика в произведениях искусства полезна и необходима, она помогает советским людям преодолевать эти недостатки».

В самом творчестве нельзя противопоставлять талант и мастерство идейности и мировоззрению писателя. Как без таланта и мастерства нет настоящего писателя и нет художника, так и самый талантливый писатель или художник превращается в бесплодную смоковницу, если он не в силах понять «связь времен и явлений», если он стоит на шатких идейных позициях, если он неотчетливо представляет себе, во имя каких общественных идеалов он выступает и творит. Без идейной ясности, четкости революционных мировоззренческих позиций нет и не может быть художника-борца, художника-новатора, художника-строителя коммунистического общества.

В резолюции съезда по Отчетному докладу ЦК КПСС сказано, что необходимо поднять роль творческих союзов в укреплении связей искусства с жизнью народа, в повышении ответственности советских художников перед обществом за свое творчество, в воспитании их в духе верности ленинским принципам партийности и народности. Вот почему задача идеологического воспитания самих деятелей искусств и писателей, в первую очередь молодых, становится одной из главнейших задач местных партийных организаций и творческих союзов нашей страны.

В выступлениях делегатов партийного съезда были критические замечания о литературе, в том числе и в адрес журнала «Юность». Партийная критика мобилизует всех нас на глубокое и всестороннее изучение сложных проблем современной жизни, на повышение своей личной гражданской ответственности как литераторов — будь мы прозаики или поэты, драматурги, критики, публицисты, редакторы. Именно так советские писатели всегда воспринимали и воспринимают большевистскую критику.

Здесь нам хочется сказать несколько слов и по другому поводу.

За последнее время в буржуазных газетах и радиопередачах стали звучать голоса непрошенных «защитников» нашего журнала и его авторов. Эти «защитники» проливают крокодиловы слезы по поводу, как они говорят, «нападок» на журнал «Юность» и в связи с этим разглашают на весь мир о «зажиме и ограничениях» свободы творчества в Советском Союзе.

Мы считаем своим гражданским долгом со страниц нашего журнала заявить, что решительно отвергаем такую «защиту» и «поддержку». Они нам не нужны! Никто и ничто не мешает и не может помешать всему молодому и истинно талантливому в нашей стране расти и развиваться. Недаром именно последние годы принесли особенно большой расцвет молодой советской литературы.

В ответ на лицемерные воздыхания современных тартюфов мы заявляем, что ни у журнала «Юность», ни у его авторов никогда не было, нет и не может быть иных общественных устремлений и идеалов, нежели те, которые запечатлены в Программе нашей Коммунистической партии, в решениях ее XXIII съезда, выразившего волю всего советского народа — строителя коммунизма!

Вместе со всей советской литературой «Юность» видит свою основную задачу в воспитании человека новой, коммунистической нравственности. Эта задача особенно остро стоит перед нашим журналом, который прямо обращен к молодому поколению советского общества.

Как показало широкое обсуждение журнала «Юность» известными писателями, критиками, журналистами и комсомольскими работниками, организованное Союзом писателей СССР накануне XXIII партийного съезда, журнал наш за годы своего существования внес немалую, весьма полезную лепту в общее дело коммунистического воспитания советского юношества.

Но все мы также хорошо понимаем, что неудачи и недостатки отдельных произведений, опубликованных в «Юности», давали и дают основания для критики нашего журнала.

Сумев уловить многие черты в характере современной советской молодежи, некоторые наши молодые авторы за последнее время стали повторять самих себя и друг друга; их повести и романы порой бывали так схожи по сюжету, по характеру героев, по языку, что иной раз трудно было отличить одни из них от других. Для ряда произведений стала характерной мелочная описательность; интонации героев таких повестей выглядели иной раз кокетливо-фальшиво; подчас обеднялся их общий моральный облик; весьма иллюстративно, поверхностно показывался труд; язык иных произведений засорялся всякого рода жаргонными речениями и т. п. Не всегда требовательно подходили некоторые авторы к оценке нравственного облика героев своих произведений. Недостаточно была отражена сфера общественной деятельности молодежи, и в частности жизнь и дела комсомола; скупо освещались проблемы формирования мировоззрения наших юношей и девушек; мало публиковалось произведений о жизни сельской молодежи, не было должного внимания национальным литературам. На эти недостатки нам было указано и во время обсуждения журнала в Союзе писателей СССР.

Сейчас редколлегия журнала и весь наш редакционный коллектив работают над пополнением редакционного портфеля и уточнением ближайших творческих планов «Юности», исходя из той критики, которая была высказана в адрес нашего журнала.

Главную свою задачу журнал видит в том, чтобы помогать партии формировать у молодежи коммунистическое мировоззрение, коммунистическую мораль, воспитывать любовь к труду, преданность Родине, чувство ответственности за все свои дела перед советским обществом, вдохновлять юношей и девушек нашей страны на выполнение исторических решений XXIII съезда Коммунистической партии.

Вооруженные решениями XXIII партийного съезда, мы будем впредь еще более активно отстаивать глубокую идейность, реализм, народность художественного творчества, решительно отменяя как формалистическую манерность и изощренность, так и примитивную описательность, борясь против серости, мелкотемья, иллюстративности, против беспринципности, примитивизма и упрощенчества в литературе и критике.

В свете решений XXIII партийного съезда повышенные требования должны быть предъявлены и к нашей литературной критике, которая обязана более вдумчиво и принципиально, по-хозяйски, партийно и дружелюбно анализировать произведения писателей, особенно молодых, не допуская ни их замалчивания, ни непомерного захваливания, ни зашумательского их «уничтожения». Критика должна квалифицированно и обстоятельно, доказательно и вполне профессионально разбирать достоинства и недостатки произведений литературы, помогая тем самым и воспитанию юного читателя и идейно-творческому росту самих писателей.

Верная ленинским традициям, безгранично преданная своей Родине, советская молодежь смело и неколебимо идет за Коммунистической партией, зовущей ее на новые дела, на новые подвиги во имя жизни, во имя светлого будущего.

Великий Ленин говорил: «Мы партия будущего, а будущее принадлежит молодежи. Мы партия новаторов, а за новаторами всегда охотнее идет молодежь. Мы партия самоотверженной борьбы с старым гнильем, а на самоотверженную борьбу всегда primero пойдет молодежь».

Будем же всегда помнить заветы великого Ленина, будем достойными их.
ВСЕГДА И ВО ВСЕМ!





Марк
Лисенский

Его я не видел ни разу

Его я не видел ни разу,
Но он и сейчас предо мной.
Без кепки. Лобаст. Карглазый.
С лукавинкой взгляд озорной.
Он смотрит в апрельское небо,
Он кашу несет в котелке,
Полфунта пайкового хлеба
И сахар в бумажном кульке.
Идет он дорогой знакомой,
Кремлевской идет мостовой.
Любуется Предсовнаркома
Весенней стозвонной Москвой.
Ильич невысокого роста,
Но видится мне великан,
А все, что великое, просто,
Ну, скажем, как прост океан.
Открытый не каждому глазу,
Сияет простор за волной...

Его я не видел ни разу,
Но он и сейчас предо мной.

Песчаная горка

Любил он летом утром рано
Пройти сквозь лес,
На холм взойти,
С Песчаной горки на Саяны
Смотреть и где-то впереди
Увидеть солнечные блики
И белые на синем пики —
И вспоминать свои пути.

Мы поднимаемся по склонам
Песчаной горки в ранний час.
Со всех сторон сосновым звоном
Приветствуют деревья нас.

Глядим на горы долго-долго
Среди столетней тишины
И видим Ленина с двустолковой
На горке, вон у той сосны.

Стоит на горке на Песчаной,
Глядит сквозь розовый туман
На белоснежные Саяны,
Как из Женева на Монблан.

Обручальные кольца

Отложили в Шушенском венчанье:
Обручальных не было колец.
Поп промолвил в тягостном молчанье:
— Без колец какой уж тут венец!..
И тогда путиловский рабочий,
Тож ссыльный, Ленину сказал:
— Будут кольца! —
И два дня, две ночи
Два кольца из пятак ковал.
Вдохновенно молотком тяжелым
По зубилу бил наискосок,
Драил медь напильником веселым,
В ход пустил и глину и песок.
И, горячим звоном налитые,
Посветлели тусклые зрачки.
Превращались в кольца золотые
Медные простые пятаки.
Потеряв покой первоначальный,
Подставляя щеки и бока,
Засверкали солнцем обручальным
Два обыкновенных пятака.
И любовь, не ведая заката,
Продолжает до сих пор гореть.
Оказалась длгговечней злата
Эта нестареющая медь.

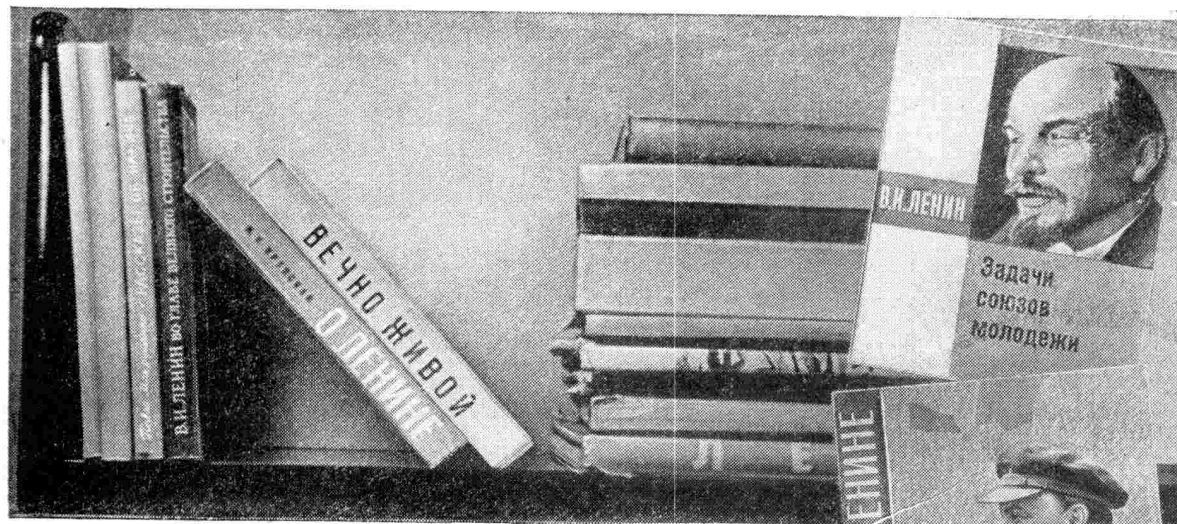
Памятники

Ленину при жизни
Памятников не ставили,
Но все пути его
По лучшей из планет
Глубокий след
В людских сердцах оставили.
Не оборвется этот след!

Памятники возникли
После январского снега слепящего,
Их возводили Ленину
И в городе и в селе —
Для тех, кто видел его
В Мавзолее спящего
И не видел
Шагающего по земле.

Это было пред вечностью
Весомо и ответственно,
Люди сами решили
Каждый ленинский жест
Сохранить.
Живому человеку
Памятники ставить
Противоестественно,
Это все равно, что заживо
Человека похоронить.

Мы города воскресили,
Где были окопы и надолбы,
Мы нячим
Бессонную нашу планету
Нелегким трудом.
Но людям при жизни
Памятников
Ставить не надо бы.
Мы убедились
Теперь окончательно
В том!



● Б. Яковлев

«МЫ ПАРТИЯ НОВАТОРОВ...»

*Заметки о новых страницах
советской Ленинианы*

...Отвага Ильича — она была молода. Он был молод в свои 53 года и остался бы молод, сколько бы ни прожил на свете. Молод и ленинизм — от него веет мировой молодостью, веет колоссальным будущим впереди и безудержной молодецкой отвагой.

А. В. Луначарский — «Ленин и молодежь».

Прошлый год был девяносто пятым со дня рождения Ленина и сорок пятым в истории советской Ленинианы, начало которой следует, пожалуй, отнести к 1920-му, когда в связи с 50-летием Владимира Ильича появились, если не считать немногих более ранних попыток, первые статьи об основоположнике ленинизма.

За один лишь 1965 год в Советском Союзе вышло на русском языке около двух сотен книг и брошюр, содержащих произведения Ленина или рассказывающих о его трудах. Тридцать пять из них принадлежат самому Владимиру Ильичу, представляя собой 49—55-й тома Полного собрания его сочинений и различные переиздания или тематические сборники его работ. Свыше двадцати вышедших в 1965 году книг о Ленине воспроизводят нередко опубликованные впервые или в новых, дополненных и уточненных, вариантах воспоминания его современников.

Из всей этой литературы, составившей за один год в общей сложности около двадцати миллионов экземпляров книг Ленина и о Ленине, мы изберем лишь десять изданий и публикаций. А в них обратимся только к одной теме, особенно близкой по понятным причинам читателям «Юности». Тема эта — «ЛЕНИН И МОЛОДЕЖЬ».



Когда шестьдесят лет назад, осенью 1906 года, один незадачливый меньшевистский литератор посетовал на то, что в партии преобладает рабочая молодежь, Ленин заявил в памфлете «**Кризис меньшевизма**», что жалоба эта напоминает ему «одно место у Энгельса». Владимир Ильич привел его высказывание в своем вольном изложении:

— Возражая какому-то пошлому буржуазному профессору, немецкому кадету. Энгельс писал: разве не естественно, что у нас, партии революции, преобладает молодежь? Мы партия будущего, а будущее принадлежит молодежи. Мы партия новаторов, а за новаторами всегда охотнее идет молодежь. Мы партия самоотверженной борьбы с старым гнильем, а на самоотверженную борьбу всегда первую пойдет молодежь.

Комментируя мысли Энгельса, Ленин восклицает:

— Нет, предоставим лучше кадетам подбирать «уставших» старцев в 30 лет, «поумневших» революционеров и ренегатов. Мы всегда будем партией молодежи передового класса!

Что же сказали советской молодежи новые издания Ленинианы 1965 года? Кратко остановимся прежде всего на вышедшем 400-тысячным тиражом очередном переиздании ленинской брошюры «**ЗАДАЧИ СОЮЗОВ МОЛОДЕЖИ**». Она содержит текст речи Владимира Ильича на Третьем съезде комсомола, 45-летие которого отмечалось 2 октября прошлого года.

«...ПОМОЧЬ ПАРТИИ СТРОИТЬ КОММУНИЗМ»

По богатству содержания, глубине и действенности идей ленинскую речь можно — подобно «Коммунистическому Манифесту» Маркса и Энгельса — по праву назвать «Комсомольским Манифестом», программой всей деятельности комсомола, кодексом всех его идейных и моральных принципов. Ленин призывает комсомольцев:

— «Учиться коммунизму»... «...Помочь партии строить коммунизм и помочь всему молодому поколению создать коммунистическое общество»... «...Объединять все подрастающее поколение, давать пример воспитания и дисциплины в этой борьбе»... «...Отдавать свою работу, свои силы на общее дело»... «...Быть ударной группой, которая во всякой работе оказывает свою помощь, проявляет свою инициативу, свой почин»... Воспитывать «всех с молодых лет в сознательном и дисциплинированном труде».

Ленинская речь определяет не только главные задачи коммунистического воспитания молодежи, но и его формы и методы. Владимир Ильич резко выступает против разрыва между теорией и практикой, составляющего «самую отвратительную черту» буржуазного общества, против всего, что превращает «молодое поколение в подогнанных под общий ранжир чиновников».

Но одновременно он предупреждает, что нельзя «стать коммунистом, не усвоив того, что накоплено человеческим знанием».

За эти сорок пять лет объем научных знаний о природе — от атомного ядра или фильтрующегося вируса до космического пространства или сокровеннейших тайн происхождения жизни на нашей планете — возрос во много раз. Поставленная Лениным перед молодежью задача стала, таким образом, еще сложнее. Но от этого она ничуть не потеряла ни актуальности, ни остроты. По-прежнему, как учит Ленин,

— Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество.

Фашистские идеологи, как известно, при слове «культура» хватались, по выражению Геббельса, за браунинг. Они ненавидели науку. Преследовали и презирали интеллигенцию. Жгли на кострах книги величайших гениев человечества.

Ленин утверждает органическое единство передовой культуры и коммунистической идеологии, которая недаром называется «научным коммунизмом», ибо опирается «на прочный фундамент человеческих знаний».

Еще шла гражданская война, еще врангелевцы хозайничали в Крыму и даже, захватив Мариуполь, подходили к Таганрогу.

Об этом Ленин в тот же день — 2 октября 1920 года — говорил в другой речи, произнесенной на съезде кожевников.

Но в слове ленинского наказа молодежи нет слов: «военное положение», «линия фронта», «сила оружия», «пушки и танки», «превосходное вооружение по последнему слову техники»... Обо всем этом Владимир Ильич говорит взрослым защитникам Родины.

В молодежи Ленин видит коммунистическое будущее, не знающее кровопролитных и разрушительных войн. Он рассказывает поэтому юным слушателям о «современной, по последнему слову науки построенной, основе» промышленности и земледелия. Осенью 1920 года он призывает «научить ... все подрастающее трудящееся поколение» технически приложить электричество и к промышленности, и к земледелию, и к отдельным отраслям промышленности и земледелия, обрабатывать землю «по последним достижениям техники». Ленин как бы мечтает вслух и воодушевляет своей мечтой всех, кому было суждено историей воплотить ее в жизнь.

Пожалуй, самое главное в ленинской речи передают строки, ставшие подлинно коммунистическими заповедями нашей эпохи:

— Быть членами Союза молодежи значит вести дело так, чтобы отдавать свою работу, свои силы на общее дело. Вот в этом состоит коммунистическое воспитание. Только в такой работе превращается молодой человек или девушка в настоящего коммуниста. Только в том случае, если они этой работой сумеют достигнуть практических успехов, они становятся коммунистами.

Фашизм видел в юноше только солдата, готового убивать и умирать. Для Ленина молодые — это прежде всего будущие строители. А ведь лучше всех защищает завоевания труда тот, кто строит и создает, творит, а не вешает, расстреливает, душит газом, насилует, грабит...

Но об идейном содержании и бессмертном историческом значении этого выступления Владимира Ильича уже сказано и написано так много, что нет нужды излагать его в столь кратких журнальных заметках. Остановимся поэтому лишь на том, к чему прежде всего обращается сам Ленин: к проблемам коммунистической морали.

Само по себе, скажем, выполнение производственного или учебного плана еще не делает комсомольца коммунистом. Им — и не на словах, а на деле — станет со временем лишь тот, кто всегда и везде следует ленинским заветам, настойчиво требующим «торгашества не допустить»... чтобы отдельные лица не наживались на счет остальных». «Торгашеством» Ленин считал не только торговую спекуляцию в прямом смысле слова. Торгашество в ленинской публицистике — синоним своекорыстия, карьеризма, беспринципности, того, что у нас принято относить на счет пережитков капитализма.

Ленин гневно говорит о торгашестве, порождающем рабскую, лакейскую и холуйскую психологию

угодничества, приспособленчества, трусости перед «властью имущими» — словом, психологию человека, «который заботится только о том, чтобы иметь свое, а до другого ему дела нет».

И Владимир Ильич так рисует мировоззрение подобного торгаша-карьериста:

— Если я имею свое местечко, как врач, как инженер, учитель, служащий, мне дела нет до другого. Может быть, потворствуя, угождая власть имущим, я сохранию свое местечко, да еще смогу и пробыть... Такой психологии и такого настроения у коммуниста быть не может.

Коммунистическое воспитание молодежи Ленин считает прежде всего коллективной борьбой «против эгоистов... против той психологии и тех привычек, которые говорят: я добиваюсь своей прибыли, а до остального мне нет никакого дела».

Для Ленина борьба за укрепление и завершение коммунизма — раньше всего борьба за утверждение коммунистической нравственности.

Вот в чем состоит и основа коммунистического воспитания, образования и учения, говорит он комсомольцам 1920 года, как и наших дней. Вот в чем состоит ответ на вопрос, как надо учиться коммунизму.

Этому подчиняет он и борьбу против «коммунистических начетчиков или хвастунов», которые приносят лишь вред и ущерб, не умея — даже при самых лучших намерениях! — «действовать так, как того действительно коммунизм требует». Они не стремятся обогащать свой ум «знанием всех фактов, без которых не может быть современного образованного человека», а сколько их необходимо знать теперь, чтобы оказаться на уровне современной науки! Не умеют они смело поддерживать, а, наоборот, ограничивают, а то и преследуют или даже, по-пришибевски, пытаются «запретить» самостоятельность и самостоятельность творческой — общественной, хозяйственной, технической, научной и тем более художественной — мысли. А ведь Ленин особенно ценил «умение вырабатывать самим коммунистические взгляды», не заимствуя их, подчас механически и формально, лишь «из готовых заученных формул, советов, рецептов, предписаний, программ...».

Но все это каждый читатель «Юности» может прочесть у Ленина сам. Мы же сошлемся лишь на **новые** (или позабытые!) материалы о ленинской речи, которые появились на страницах печати в 1965 году.

«ИЛЬИЧ И СОЮЗ»

Так озаглавлены уже известные читателям «Юности» — в другом их варианте — воспоминания Лазаря Шацкого, секретаря Центрального Комитета комсомола, в 1920—1921 годах. Он и приглашал Ленина выступить на Третьем съезде РКСМ.

В 1920 году Шацкину исполнилось восемнадцать. Он, однако, уже более трех лет состоял в большевистской партии и свое революционное мужество доказал участием в гражданской войне. Ленин внимательно выслушал юного собеседника и поразил его «осторожностью в обхождении с неизвестными вопросами и нежеланием осложнить коллективное решение ЦК партии выражением личного мнения». Отвечая на вопросы о разногласиях в комсомоле, Владимир Ильич сказал:

— Уж Оргбюро разберет и решит.

Тем не менее председатель Совета Народных Ко-

миссаров согласился выступить на комсомольском съезде и появился на нем, как обещал, ровно в восемь вечера, давая пример, пишет мемуарист, «остальным ораторам из «вождей», которые своей неаккуратностью часто изматывают нервы председателям и участникам торжественных открытий и собраний».

Шацкий предложил тотчас же предоставить слово Владимиру Ильичу для доклада о «текущем моменте».

— Нет, о текущем моменте я читать не буду, — неожиданно заявил Ленин. — Я буду читать о задачах Союза молодежи или совсем не буду...

— Ведь у вас никаких материалов не было, — возразил Шацкий.

Но, пишет автор воспоминаний, Ленин «вытащил из кармана большой лист бумаги, тщательно испи- санный, доказывающий, как серьезно он подготовил свой доклад».

Воспоминания эти включены в вышедший накануне нового года мемуарный сборник «ВЕЧНО ЖИВОЙ». Здесь же академик Станислав Струмилин рассказывает об интересной беседе, состоявшейся весной 1903 года в Париже, за семнадцать лет до Третьего съезда РКСМ.

Владимир Ильич встретился тогда на квартире одного эмигранта-киевлянина с группой молодых революционеров, возвращавшихся на родину для работы в подполье. Беседуя с молодежью, Ленин больше расспрашивал и слушал, чем «поучал» или «накачивал». Мемуарист пишет:

— Умело направляя беседу беглыми вопросами и меткими замечаниями, Ильич быстро «разговорил» аудиторию... ласково подбадривал слишком робких, остерегал бравирующих предстоящими опасностями. Изредка он прерывал наши излияния вопросом: «А что вы скажете (или сделаете), если вам представится такой-то конкретный случай?» — и незаметно экзаменовал нас мимоходом по тем или иным самонужнейшим вопросам программы и тактики партии, тут же, без всякого подчеркивания выправляя замеченные ошибки. И таким образом, за каких-нибудь полтора-два часа Ильич не только совершенно незаметно заставил нас выложить перед ним всю свою подноготную, но и успел попутно кое-кому из нас вправить мозги по ряду вопросов, и притом самым безобидным образом. Моя жена, Соня, самая юная из собеседниц (самому С. Г. Струмилину было в то время 25 лет! — Б. Я.), вся красная от смущения, честно призналась Ильичу:

— И в программе и в тактике партии я чувствую себя еще очень неуверенно. Одно лишь знаю твердо, что интересы пролетариата мне дороже всего и что им я не изменю никогда...

— Вот и отлично, — поддержал ее, улыбаясь, Ильич. — В этом самое главное... Все же остальное со временем приложится...

О том, что произошло семнадцать лет спустя с делегатами и делегатками Третьего съезда, интересно рассказывает Александр Жаров на страницах другого сборника — «ЖИВОЙ ЛЕНИН». Он также вышел в 1965 году и содержит воспоминания советских писателей.

Организаторы съезда не удосужились почему-то сколько-нибудь тщательно записать ленинские ответы на бесчисленные вопросы делегатов. Лишь один из этих ответов поэт воспроизводит в новой редакции очерка «Ленин в гостях у комсомольцев».

Прочитав одну из десятков записок с вопросами, Владимир Ильич обрадованно воскликнул:

— Смотрите, какой замечательный вопрос мне задан! «Товарищ Ленин, а почему в деревне нет колесной мази?»...

Кое-кому, наверное, из делегатов-горожан вопрос показался неуместным, и в зале засмеялись. Но Ленин отнюдь не поддержал насмешников. Он, вспоминая Жаров, повторил:

— ...вопрос замечательный и имеющий прямое отношение к разговору о том, каким должен быть коммунист. Коммунист должен ответить крестьянам: почему нет колесной мази, почему нет гвоздей, керосина, спичек. Мало того! Коммунист обязан так или иначе помочь в налаживании производства всего, что необходимо народу, в том числе и колесной мази! Вот каким должен быть коммунист!..

О другом ленинском ответе рассказывает в «Учительской газете» бывший воронежский делегат Александр Кремс. Это его, по воспоминаниям Безыменского, Ленин заверил, что ему самому и всему его поколению суждено жить при коммунизме. Кремс тогда написал Владимиру Ильичу, что он — в то время 23-летний слесарь Россошанского паровозного депо — хочет учиться.

Уже назавтра воронежца вызвали в ЦК комсомола. Ленин поручил комсомольским руководителям помочь Кремсу поступить в Коммунистический университет имени Свердлова — высшую партийную школу того времени... Жаль, что историки не собрали воедино данные о судьбах делегатов Третьего съезда, большинство которых стало вскоре, как и предсказывал Ленин, передовыми строителями коммунизма — не только поэтами, но и учеными, инженерами, педагогами, врачами, партийными и государственными работниками, хозяйственными и военными руководителями. Публикация этих сведений воочию показала бы силу и действенность ленинского слова на примере судеб представителей того юного поколения, к которому он обращался.

Такую, к сожалению, еще слишком скромную, попытку предприняла осенью прошлого года редакция «Комсомольской правды», собрав группу участников съезда — москвичей. Среди них оказались: писатель Геннадий Фиш, представлявший на съезде комсомольцев Новороссийска; бывший калужский делегат А. Шувалов — ныне начальник одного из управлений Министерства финансов РСФСР; комсомольский активист из подмосковного Щелкова И. Бухтанов, ставший директором Научно-исследовательского института текстильного машиностроения; П. Лукин — в то время один из секретарей МК РКСМ, а сейчас кандидат технических наук; доктор экономических наук В. Васютин и другие.

Рассказы всех ныне здравствующих делегатов съезда о том, как сложилась их жизнь, как повлияло на них вдохновенное ленинское слово, могли бы стать материалом для еще одного увлекательного сборника, ценного уже не только свидетельствами мемуаристов, но и данными крупного социологического значения, важными для характеристики исторических процессов...

«ЛИБО СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ, ЛИБО ВЛАСТЬ ГРАБИТЕЛЕЙ»

О том, какой остросовременной может стать мемуарная литература, казалось бы, по своей природе обращенная в прошлое, наглядно свидетельствует и маленькая книжка Екатерины Логиновой — в 1919 году секретаря Московского Комитета комсомола. Приуроченная к 45-летию ленинской речи и озаглавленная «ВЕЛИКОЕ НАПУТСТВИЕ», книжка эта по объему менее двух печатных листов. Но она поистине «томов премногих тяжелее» — так много в ней нового о Ленине.

Снова и снова узнаём мы на живых примерах, как уважал и ценил он молодежь. Как посмеивался над ее крайностями и заблуждениями. С какой требовательностью к ней относился.

1918-й. Декабрь... Екатерина Логинова — тогда секретарь Пресненского райкома комсомола — дежурит в районном комитете партии. Юной дежурной «приданы» — на всякий случай! — два великовозрастных бойца караульного батальона, лишь недавно перешедшие на сторону Красной Армии из... колчаковских войск. Логиновой поручено провести с вчерашними колчаковцами ночную политическую беседу. В час ночи в райком звонит из Кремля Ленин. Узнав, с кем он говорит, Владимир Ильич отклоняет предложение о вызове к телефону партийных руководителей и обращается к комсомольцам Пресни с особо ответственным — по тем временам — поручением:

— Возьмитесь-ка вот за какое дело: через два дня у вас должна быть беспартийная конференция... Так вот, вам персонально поручается подобрать из членов Союза молодежи товарищей постарше и посерьезнее. Им поручить обойти завтра же все заводы, фабрики, мастерские, рабочие общежития, солдатские казармы, хорошо оповестить о конференции. С помощью партийных товарищей выявить всех, кто чем-нибудь недоволен, ворчит по поводу трудностей. Каждому такому рабочему или красноармейцу вручить пригласительный билет лично и убедить, чтобы пришел на конференцию. Сделаете?.. Ну и хорошо. Об исполнении сообщите дежурному в Совнарком...

Здесь все подлинное. Все — ленинское. Все полно правды времени, истории, эпохи. И то, что Ленин смело поручает совсем еще зеленой молодежи подготовку конференции, которой придает большое политическое значение. И организационная четкость и оперативность его распоряжений. И то, что он хочет выступить именно перед теми, «кто чем-нибудь недоволен» и «ворчит по поводу трудностей».

Если автору воспоминаний не изменяет память, можно точно датировать этот ночной разговор, происшедший за два дня до рабочей конференции Пресненского района, на которой Владимир Ильич выступил 14 декабря 1918 года.

На конференцию в Алексеевский Народный дом собралось около полутора тысяч «недовольных» с заводов и фабрик Пресни и расквартированных там красноармейских частей. Состоявшаяся, таким образом, в ночь на 12 декабря ленинская беседа с представительницей пресненских комсомольцев помогает многое понять в содержании и даже форме речи Владимира Ильича.

Уже не перед партийными единомышленниками или передовыми пролетариями, а перед теми, кто «ворчит» по адресу возглавленной Лениным Советской власти, он ставит выдвинутую историей суровую альтернативу:

— ...либо власть помещиков, либо власть большевиков. Серединки быть не может. Либо власть угнетенных, либо власть угнетателей... либо Советская власть, либо власть грабителей...

Но стенограмма сохранила лишь основной текст ленинской речи. Никто, к сожалению, не записал и в этом случае ответы Владимира Ильича на вопросы участников конференции. Екатерина Логинова вспоминает:

— После доклада Ленин отвечал на множество вопросов, большей частью устных. Он сошел со сцены, присел на скамью в плотном окружении рабочих. Говорил с ними сердечно и уважительно. Как всегда, он не скрывал трудностей, говорил прямо и открыто обо всем, что делает, чем озабочена, чего добилась и добьется Советская власть. Спрашивал то и дело слушавших: «А как вы думаете? Согласны, что иначе нельзя? Что посоветуете?»...

«ЧТО ТАКОЕ НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ...»

Не менее интересны и другие записи мемуаристки, относящиеся уже к 1919 году. Тем летом, вспоминает Екатерина Логинова, перешедшая тогда из Пресненского райкома в Московский Комитет комсомола, в клубах молодежи столицы увлеченно дискутировали на тему «Как будут люди жить при коммунизме?». Участники одного из диспутов постановили:

— Считать, что при коммунизме люди будут жить в стеклянных домах. Люди будут чистые и хорошие, им нечего будет прятаться от других.

Этот протокол Надежда Константиновна решила показать Ильичу.

— Он что-то улыбаться перестал, — пожаловалась она комсомольцам, — почти не спит, дела на фронте и хлебные его беспокоят, может, хоть посмеется над вашим решением...

Однако Крупская ошиблась. Ленин отнюдь не посмеялся над комсомольской мечтой, в которой причудливо переплелись высокие нравственные представления о людях будущего с оправдавшимися уже в наши дни техническими прозрениями, такими неожиданными в те сугубо «кирпичные» и даже еще не «бетонные» годы.

Владимир Ильич сказал:

— Хорошо, что молодые товарищи умеют мечтать, а какие дома строить при коммунизме — это уже им решать, может, и стекло в ход пойдет!

Вспомним, что высказано это за много десятилетий до силикальцита или современных небоскребов из стекла и алюминия.

Но Ленин не был бы Лениным, если бы он только одобрял молодежь, не критикуя ее заблуждения и ошибки. Екатерина Логинова вспоминает историю подаренной Ленину серебряной ручки в форме гигантского гусиного пера, реквизированной московскими комсомольцами при обыске буржуазных квартир. Всех «тех, кто принес ручку», незамедлительно вызвали к Владимиру Ильичу.

— Что это и кому пришло в голову? Откуда взято это чудовище? — гневно спросил он, пренебрежительно взяв за кончик аляповатую «драгоценность».

Сурово осудив комсомольское самоуправство, Ленин пожалел, что «реквизиторы» обнаружили «не только плохой вкус, но и плохие способы добывать сомнительные по качеству предметы роскоши». Владимир Ильич сказал далее, что он «всю жизнь предпочитал писать школьной ручкой и никаких других не признает». Он заявил, что даже буржуазию «не стоит обижать по таким пустякам», а инициатору «подарка» (самой мемуаристке!) предложил «отнести эту ручку хозяевам, извиниться и быть при этом вежливой и сдержанной...».

Еще резче выступил Ленин против комсомольского «нигилизма» тех лет. Когда Екатерина Логинова рассказала о литературных вкусах тогдашних комсомольцев, Владимир Ильич заметил:

— Что вы сказали? «Анну Каренину» мальчишки не читают? Почему же? Ах, говорят, «про любовь неинтересно, любовь для бездельников, а у нас революция».

Вдоль посмеявшись над юными ниспровергателями любви и классического искусства, Ленин сказал Надежде Константиновне:

— Обрати внимание, какой сор у них в головах, как рассуждают-то! ...Чепуха все это! Да знаете ли вы, что такого другого писателя не было и нет во

всем мире! Ну, а про любовь еще рано, видно, вам судить. Вырастаете и поймете, что такое настоящая любовь и как она обогащает человека!

Да, Ленин знал, что такое настоящая любовь! Недаром Крупская, прошедшая рядом с ним почти три десятилетия их совместной жизни, говорила еще весной 1924 года, словно предвидя все, что и сегодня засоряет нашу художественную, да и мемуарную, Лениниану:

— О Владимире Ильиче очень много пишут теперь. В этих воспоминаниях Владимира Ильича часто изображают каким-то аскетом, добродетельным филистером-семьянином. Как-то искажается его образ. Не такой он был. Он был человеком, которому ничто человеческое не чуждо. Любил он жизнь во всей ее многогранности, жадно впитывал ее в себя...

Меньше всего был Ильич, с его пониманием жизни и людей, с его страстным отношением ко всему, тем добродетельным мещанином, каким его иногда теперь изображают: образцовый семьянин — жена, деточки, карточки семейных на столе, книга, ваточный халат, мурлыкающий котенок на коленях, а кругом барская «обстановочка», в которой Ильич «отдыхает» от общественной жизни. Каждый шаг Владимира Ильича пропускают через призму какой-то филлистерской сентиментальности...

Мы цитируем книгу, вышедшую вторым — дополненным — изданием тоже в 1965 году: сборник статей и выступлений Н. К. Крупской «О ЛЕНИНЕ».

Слова Надежды Константиновны не нуждаются в комментариях, ибо опираются на широко известные факты. Комментировать их неуместно еще и потому, что, как сказано в той же статье,

— Владимир Ильич ничего так не презирал, как всяческие пересуды, вмешательство в чужую личную жизнь. Он считал такое вмешательство недопустимым.

Надежда Константиновна не голословна. Она рассказывает:

— Когда мы жили в ссылке, Владимир Ильич не раз говорил об этом. Он говорил о необходимости тщательно отгораживаться от всяких ссыльных историй, возникающих обычно на почве пересудов, сплетен, чтений в чужих сердцах, праздного любопытства. Это — засасывающее мещанство, обывательщина...

Увы! Подобные «истории», которые Ленин презирал больше всего на свете, знавала не только ссылка. Нередко они возникают и в наши дни как в глухом поселке, где все у всех на виду, так и в огромном столичном трудовом, а то и научном коллективе. Большое, но далеко не всегда и не у всех легко и просто складывающееся чувство не терпит непрошеного постороннего вмешательства, тем более официального.

Сколько так называемых «персональных дел» порождалось (и, пожалуй, к нашему общему стыду, еще будет порождаться!) всем тем, в чем Ленин еще в конце прошлого века видел засасывающее мещанство и обывательщину. Тогда, однако, они были господствующей социальной средой, в которой гибли героини Толстого, Островского, Лескова, Горького. Но ведь сейчас мир мещанства — это, так сказать, «антимир» внутри нашего советского общества. Из ленинских критериев призваны мы поэтому исходить, когда в том или ином коллективе — рабочем, студенческом, офицерском, художественном — словом, каком угодно, где преобладает прежде всего молодежь, возникает сложная и противоречивая, порой даже драматическая, а то и трагическая сугубо личная коллизия.

Недаром Надежда Константиновна заканчивает удивительно просто озаглавленную и едва ли не самую проникновенную статью «О Владимире Ильиче» такими строками, умудренными богатейшим жизненным опытом:

— В Лондоне в 1902 г. у Владимира Ильича был очень резкий конфликт с частью редакции «Искры», которая хотела судить одного товарища за его якобы неблагоприятный поступок в ссылке. Разбирательство, естественно, было связано с грубым вмешательством в его личную жизнь. Владимир Ильич резко протестовал против этого, наотрез отказался от участия в этом безобразии, как он выражался. Его потом обвиняли в отсутствии чуткости... Мне кажется, что требование не заезжать в чужую душу усердными руками было проявлением именно настоящей чуткости.

Отмечу, что приведенный отрывок статьи Крупской опирается и на относительно малоизвестный ленинский аутентичный текст. Про лондонский инцидент, о котором и сообщает Надежда Константиновна, Ленин пишет 30 сентября 1903 года Александре Калмыковой:

— Вы знаете, до чего доводила впечатлительность и «личное» (вместо политического) отношение к делу Мартова + Староверова + Засулич, когда они, например, совсем было «засудили» человека **политически** за историю чисто личного свойства. Вы тогда, не обинуясь, встали на сторону «живодеров и извергов». А ведь это случай совсем, совсем типичный.

Ленин всегда осуждал подобное, по его выражению, «смешение личного и политического». Даже «впечатлительность», оказывается, не всегда положительное качество, особенно в политических квалификациях и «разбирательствах» историй «чисто личного свойства».

В ту же книгу Крупской, на которую мы только что ссылались, включена большая работа 1932 года, озаглавленная «Ленин о молодежи».

Анализируя высказывания Ленина, Надежда Константиновна напоминает, что он еще в начале века «подчеркивает необходимость для молодежи всерьез работать над выработкой у себя цельного и последовательного миросозерцания» и — одновременно — предостерегает «от увлечения революционной фразой, от обывательской филистерской боязни всяких споров, всякой полемики, тогда как деловая полемика помогает выяснению сути дела».

— Ильич требовал от учащейся молодежи серьезного подхода к делу, — пишет Крупская, — работы под руководством партийной организации...

Он призывает запечатлеть в сознании молодежи «образцы отваги и геройства» пролетарских революционеров. Он не ожидает непогрешимой «теоретической ясности и твердости» от «кипящей, бурлящей, ищущей молодежи» и учит «всячески помогать» подобным исканиям, «относясь как можно терпеливее» к неизбежным ошибкам, «стараясь исправлять их постепенно и путем преимущественно убеждения, а не борьбы».

Все это относится и к исканиям в сфере коммунистической нравственности, которой Владимир Ильич придает первоочередное значение во всей воспитательной деятельности комсомола. Среди ленинских суждений о коммунистической морали особенно псучительно для молодежи все, что Владимир Ильич не раз говорил и писал о любви.

«ЗДОРОВАЯ РАДОСТЬ ЖИЗНИ»

Многие высказывания Ленина на столь важную для молодежи тему остались не записанными собеседниками или исчезли вместе с сотнями утраченных ленинских писем. Так, Ян Берзин, вспоминая о беседах с Владимиром Ильичем на конспиративной даче «Ваза», рассказывает:

— Перед сном он устраивал себе перерыв и часто, а может быть, и ежедневно, уходил гулять. Обычно это бывало поздно ночью... Из далекого тумана прошлого смутно всплывают некоторые темы этих разговоров — темы, казавшиеся необычными для Ильича, темы интимные: о лесной тишине, о луне, о поэзии, о любви...

Вероятнее всего, что эти романтические разговоры начинал я, но мой спутник принимал в них участие. И помнится, услышав от меня об осложнениях и неудачах в моей личной жизни, он чутко и деликатно утешал меня...

О том же рассказывает писатель Иван Попов, чей очерк «В. И. Ленин в Брюсселе» вошел в сборник «ЖИВОЙ ЛЕНИН». Время действия очерка — 1914 год. Ленин гостит у Попова, представлявшего большевиков в Международном Социалистическом Бюро, и сразу подмечает, что тот тяжело переживает какой-то личный кризис. Писатель воссоздает такой диалог с Лениным:

— А что все-таки с вами? И скажите, отчего я в этот приезд ни разу не встретил дочь мадам ван Зеттер? Где Жанна? Уехала куда-нибудь?

— Разве я сторож Жанны, Владимир Ильич? Да и не будем об этом говорить. Это не стоит вашего внимания...

Но Жанна ван Зеттер показывается в дверях вместе с каким-то юношей.

— Ну, вот вы и встретили Жанну, — грустно замечает Попов, — это с ней был ее жених: она выходит замуж. ...Как бы я хотел убежать отсюда, чтобы ничего не видеть, ни о чем не слышать!

Ленин, со своим обычным тактом, никак не отзывается на это невольное вырвавшееся признание своего молодого друга. Но после его отъезда Попов находит на столе ленинскую записку:

— Вам надо уехать отсюда... Слово «надо» было подчеркнуто два раза резко, энергично, как обычно делывал Владимир Ильич. — Поезжайте немедленно к семье Инессы Арманд, они уехали на западное побережье в Сен-Жан-де-Мон. Рассейтесь там, отдохните. Я телеграфирую о вашем приезде. Зная, что у вас, как всегда, нет денег, оставляю вам двести франков... И советую вам утопить ваши неприятности в океане.

Полгода спустя — после захвата немцами Бельгии, — Иван Попов оказался в лагере для военнопленных и не смог сохранить документ, навсегда отпечатавшийся лишь в его писательской памяти. Ленин не утешает Попова, переживающего тяжелое личное испытание. Он помогает, и не только советом, но и делом.

Ленин выступает и против нарочитой аскетической жертвенности, отвергающей любовь во имя ошибочно, по-интеллигентски, в дурном смысле слова, понимаемых революционных идеалов. Об этом повествуют заимствованные нами из того же сборника воспоминания поэта Александра Богданова. Зимой 1906 года, во время краткого перерыва в работе Таммерфорсской партийной конференции, он прочитал Владимиру Ильичу несколько своих революционных стихотворений. В одном из них, еще совсем юношеском, были строки, отказывающие революционеру в праве на личное счастье:

Нежной любви искрометный бокал
Жизнь поднесла мне в минуту отрадную,
Помню, дрожащей рукой его взял,
Думал упиться с беспечностью жадною.
Но... на прозрачном запятом дне
Слезы... лишь слезы почутились мне...
Мне показалась любовь преступленьем,
Тысячи стонот услышал я вдруг,
Заколыхались скорбные тени...
Выпал бокал из затрясшихся рук,
Выпал, разбился. Нежданная сила
Светлую сказку любви омрачила...
Как? В этот час, когда гибнут кругом,
Думать о собственном счастье свсем?

Ленину, по признанию самого поэта, стихотворение очень не понравилось. Он, сообщает Александр Богданов, «нашел, что в стихотворении звучат старые интеллигентские перепевы, отрывки народничества, нет марксистского подхода к жизни».

Поэт признался, что в начале девяностых годов он действительно увлекался народничеством. Тогда Ленин заметил:

— Ну вот, значит, я прав. Марксизм не отрицает, а, наоборот, утверждает здоровую радость жизни, даваемую природой, любовью...

«НЕ ПРОЛЕТАРСКОЕ, А БУРЖУАЗНОЕ ТРЕБОВАНИЕ...»

Придавая, подобно Марксу и Энгельсу, такое значение могучей силе настоящей человеческой любви, Владимир Ильич резко осуждал типично буржуазное понимание ее так называемой «свободы», не знающей никакой моральной самодисциплины, нравственных принципов, этических критериев. Особенно подробно пишет Ленин об этом своему близкому другу — Инессе Арманд. Зимой 1915 года она задумывает брошюру для работниц и делится замыслом с Лениным. Всесторонне рассмотрев предварительный план брошюры, Владимир Ильич рекомендует автору:

— «требование (женское) свободы любви» советуем вовсе выкинуть. Это выходит действительно не пролетарское, а буржуазное требование.

В самом деле, что Вы под ним понимаете? Что можно понимать под этим?

И Ленин перечисляет и оттенки этого понятия, важные для рабочего класса. В их число Владимир Ильич включает свободу

— от материальных (финансовых) расчетов в деле любви... от материальных забот... от предрассудков религиозных... от запрета папашки... от предрассудков «общества»... от узкой обстановки (крестьянской или мещанской или интеллигентско-буржуазной) среды... от уз закона, суда и полиции...

Владимир Ильич отмечает еще три оттенка, характеризующие то, что в современном обществе «классы, наиболее говорливые, шумливые и «вверхушдые», понимают под «свободой любви». Для них эта весьма сомнительная «свобода» означает прежде всего свободу «от серьезного в любви... от деторождения... свободу адюльтера». Именно это, как с полным на то основанием опасается Ленин, публика, читатели брошюры неизбежно поймут под «свободой любви» даже в о п р е к и воле автора.

В заключение Владимир Ильич подчеркивает:

— Дело не в том, что Вы субъективно «хотите понимать» под этим. Дело в объективной логике классовых отношений в делах любви.

Инесса Арманд сперва не согласилась с Лениным и в ответном письме утверждала, что он якобы отождествляет «свободу любви» со свободой адюльтера. Отвечая на новые, совсем уж несправедливые возражения, Ленин пишет:

— По поводу Вашего плана брошюры я находил, что «требование свободы любви» неясно и — независимо от Вашей воли и желания (я подчеркивал это, говоря: дело в объективных, классовых отношениях, а не в Ваших субъективных желаниях) — явится в современной общественной обстановке буржуазным, а не пролетарским требованием... Чтобы неясное сделать ясным, я перечислил примерно десяток **возможных** (и неизбежных в обстановке классовой розни) различных толкований, причем отметил, что толкования 1—7, по моему, будут типичны или характерны для пролетарок, а 8—10 — для буржуазок...

Владимир Ильич исчерпывающе разъясняет, почему неясная постановка вопроса о «свободе любви» представляется ему столь вредной. Он напоминает о буржуазном понимании этого требования:

— Неужели литература и жизнь не доказывают, что буржуазки именно это понимают?... А раз так, дело тут в их классовом положении, и «опровергнуть» их едва ли можно и едва ли не наивно.

Надо ясно отделить от них, противопоставить им пролетарскую точку зрения. Надо учесть тот объективный факт, что иначе они выхватят соответствующие места из вашей брошюры, столкнут их по своему, сделают из вашей брошюры воду на свою мельницу, извратят ваши мысли перед рабочими, «смутят» рабочих (посеяв в них опасение, не чужие ли идеи Вы им несете)...

Отвечая Ленину, Инесса Арманд противопоставляет пусть мимолетную, но зато неподдельную страсть и связь пошлости супружеских отношений мещанского брака. Владимир Ильич считает подобное противопоставление несостоятельным. Замечания Ленина снова возвращают нас к его пониманию «настоящей любви»: искренней, глубокой, взаимной, свободной от каких бы то ни было посторонних расчетов и соображений и в то же время, разумеется, земной, а не бесплотной. Приведем этот отрывок, отметив, что и содержащее его письмо, как и другие документы ленинского эпистолярного наследия 1914—1917 годов, вошло в 49-й том Полного собрания сочинений Владимира Ильича, вышедший в начале 1965 года:

— «Даже мимолетная страсть и связь» «поэтичнее и чище», чем «поцелуй без любви» (пошлых и пошленьких) супругов. Так Вы пишете...

Логичное ли противопоставление? Поцелуй без любви у пошлых супругов **грязны**. Согласен. Им надо противопоставить... что?... Казалось бы: поцелуй с **любовью**? А вы противопоставляете «мимолетную» (почему мимолетную?) «страсть» (почему не любовь?) — выходит, по логике, будто поцелуй без любви (мимолетные) противопоставляются поцелуям без любви супружеским... Странно. Для популярной брошюры не лучше ли противопоставить мещански-интеллигентски-крестьянский... пошлый и грязный брак без любви — пролетарскому гражданскому браку с любовью (с добавлением, **ЕСЛИ УЖ НЕПРЕМЕННО ХОТИТЕ**, что и мимолетная связь-страсть может быть грязная, может быть и чистая).

Ленин спорит. И мы словно слышим его живую речь со всеми интонациями... Слова подчеркнуты **ОДНОЙ, ДВУМЯ, даже ТРЕМЯ** чертами, полемическими вопросами в скобках, ироническими восклицаниями. В заключение он так противопоставляет типичное — индивидуальному; социальное — личному; публицистику или даже политическую агитацию (не по их целям, а лишь по избираемым средствам воздействия на читателя или слушателя) — литературе и искусству:

— У Вас вышло противопоставление не классовых типов, а что-то вроде «казуса», который возможен, конечно. Но разве в казусах дело? Если брать тему: казус, индивидуальный случай грязных поцелуев в браке и чистых в мимолетной связи, — эту тему надо разработать в романе (ибо тут весь гвоздь в индивидуальной обстановке, в анализе **характеров** и психики **данных** типов). А в брошюре?

Разумеется, Ленин отнюдь не провозглашает превосходство литературы над агитацией или отсутствие между ними единых и общих идейных задач. Ему в данном случае неизмеримо важнее подчеркнуть качественное различие форм и методов раскрытия общественного и личного в столь сложной области человеческих взаимоотношений.

Он солидаризируется с Инессой Арманд, когда она пишет, что «нелепо» выступать в роли «профессоров» по любви, как, впрочем, по его мнению, и в еще более смешной роли «профессоров» по «мимолетной страсти».

Зимой 1915 года у Ленина было немало дел, куда важнее, чем дискуссия с Инессой Арманд о трактовке «свободы любви». Но Владимир Ильич совсем не считает эту тему маловажной для большевистской публицистики. Сообщая, что ему «вовсе не полемики хочется» и он охотно бы «отбросил это свое письмо и отложил дело до беседы», Ленин объясняет заинтересованность своей позиции:

— ...мне хочется, чтобы брошюра была хороша, чтобы из нее никто не мог вырывать неприятных для Вас фраз (иногда одной фразы довольно, чтобы была ложка дегтю...), не мог Вас перетолковывать. Я уверен, что Вы и здесь «против воли» написали, и посылаю это письмо только потому, что может быть Вы обстоятельнее разберете план...

В заключение Владимир Ильич советует:

Нет ли у Вас знакомой француженки-социалистки? Переведите ей (якобы с английского) мои... и Ваши замечания о «мимолетной» и т. д. и посмотрите на нее, послушайте ее внимательно: маленький опыт, что скажут люди со стороны, каковы их впечатления, их ожидания от брошюры?

Неизвестно, последовала ли Инесса Арманд ленинскому совету и обратилась ли к столь квалифицированному и осведомленному арбитру в «делах любви», как «знакомая француженка-социалистка». Брошюра с защитой «свободы любви» так и осталась незаконченной. Во всяком случае, она не появилась в печати.

«НИ МОНАХ, НИ ДОН-ЖУАН, НО И НЕ ГЕРМАНСКИЙ ФИЛИСТЕР»

Выступая против непрошеного вмешательства в личную жизнь, Ленин вовсе не был безразличен к явным нарушениям коммунистической нравственности и в интимных человеческих отношениях. Особенно обстоятельно говорил он об этом, беседуя осенью 1920 года с Кларой Цеткин. Высмеивая увлечение тогдашних немецких коммунистов досужим обсуждением с работницами проблем пола и форм брака «в настоящем, прошлом и будущем», Владимир Ильич заявляет:

— Я не доверяю тем, кто постоянно и упорно поглощен вопросами пола, как индийский факир — созерцанием своего тупа. Мне кажется, что это изобилие теорий пола, которые большей частью являются гипотезами, притом часто произвольными, вытекает из личных потребностей. Именно из стремления оправдать перед буржуазной моралью собственную ненормальную или чрезмерную половую жизнь и выпросить терпимость к себе. Это замаскированное уважение к буржуазной морали мне так же противно, как и любовное копание в вопросах пола. Как бы бунтарски и революционно это занятие ни стремилось проявить себя, оно все же в конце концов вполне буржуазно...

Отвечая на ленинские упреки, Клара Цеткин объяснила «своему горячему другу», что не упускала случая возражать против подмены вопросами пола актуальных проблем классовой борьбы, чем и навлекла на себя подозрение в том, что в ней якобы «сильны пережитки... старомодного мешанства».

— Знаю, знаю, — поддерживал ее Ленин, — меня тоже в связи с этим достаточно подозревают в филистерстве. Но я к этому отношусь спокойно. Желторотые птенцы, едва вылупившиеся из яйца буржуазных воззрений, всегда ужасно умны. Нам приходится с этим мириться, не исправляясь. Юношеское движение тоже болеет современной постановкой вопросов пола и чрезмерным увлечением ими.

Как подметила Клара Цеткин, Ленин иронически подчеркнул слово «современной», точно отмахиваясь от него. И далее мемуаристка еще в 1925 году, основываясь на заметках в своей записной книжке, воспроизводит — едва ли не впервые в литературе о Ленине, — разумеется, не в стенографической, а в живой записи его прямую речь о половой нравственности молодежи.

Мы не сможем здесь, к сожалению, привести все ленинские замечания. Однако и те, которые попытаемся извлечь, необыкновенно богаты мыслями. Они нисколько не устарели и даже помогают преодолеть возникавший уже столько раз миф о том, что «современная» молодежь якобы «безнравственнее» молодежи прошлых десятилетий.

Но вот что говорил Ленин о молодежи не шестидесятых, а двадцатых годов нашего века, той самой, которую мы и сегодня по праву ставим в пример:

— У нас тоже значительная часть молодежи усердно занимается «ревизией буржуазного понимания и морали» в вопросах пола. И, должен добавить, значительная часть нашей лучшей, действительно многообещающей молодежи... Ничего не могло бы быть более ложного, чем начать проповедовать молодежи монашеский аскетизм и святость грязной буржуазной морали. Однако вряд ли хорошо то, что в эти годы вопросы пола, усиленно выдвигаемые естественными причинами, становятся центральными в психике молодежи. Последствия бывают прямо роковыми.

И Ленин снова возвращается, опираясь уже на иной — послеоктябрьский — исторический опыт к теории «свободы любви», о которой он за пять лет до того спорил с Инессой Арманд. Имея в виду печально знаменитую «теорию» другой коммунистки — Александры Коллонтай с ее пресловутым «стаканом воды» как якобы эквивалентом любовной связи, Владимир Ильич говорит:

— Изменившееся отношение молодежи к вопросам половой жизни, конечно, «принципиально» и опирается будто бы на теорию. Многие называют свою позицию «революционной» и «коммунистической». Они искренне думают, что это так. Мне, старику, это не импонирует. Хотя я меньше всего мрачный аскет, но мне так называемая «новая половая жизнь» молодежи — а часто и взрослых — довольно часто кажется чисто буржуазной, кажется разновидностью доброго буржуазного дома терпимости. Все это не имеет ничего общего с свободой любви, как мы, коммунисты, ее понимаем. Вы, конечно, знаете знаменитую теорию о том, что будто бы в коммунистическом обществе удовлетворить половые стремления и любовную потребность так же просто и незначительно, как выпить стакан воды. От этой теории «стакана воды» наша молодежь взбесилась, прямо взбесилась. Эта теория стала злым роком многих юношей и девушек... Я считаю знаменитую теорию «стакана воды» совершенно не марксистской и сверх того противобобщественной... Конечно, жажда требует удовлетворения. Но разве нормальный человек при нормальных условиях ляжет на улице в грязь и будет пить из лужи? Или даже из стакана, край которого захватан десятилетиями губ? Но важнее всего общественная сторона. Питье воды — дело действительно индивидуальное. Но в любви участвуют двое, и возникает третья, новая жизнь. Здесь кроется общественный интерес, возникает долг по отношению к коллективу.

Ленин с «беспощадной враждебностью», по его выражению, относится к буржуазному пониманию «свободы любви». Но он отрицает и так называемый монашеский аскетизм, как правило, скрывавший самый грязный тайный разврат, чудовищные примеры которого и составляют прежде всего действительную — жизненную, — а не легендарную — житийную — историю мужских и женских монастырей как в царской России, так и на Западе.

Заканчивая беседу с немецкой коммунисткой, Владимир Ильич заявляет:

— Не то чтобы я своей критикой хотел проповедовать аскетизм. Мне это и в голову не приходит. Коммунизм должен нести с собой не аскетизм, а жизне-

радостность и бодрость, вызванную также и полнотой любовной жизни. Однако, по моему мнению, часто наблюдаемый сейчас избыток половой жизни не приносит с собой жизнерадостности и бодрости, а, наоборот, уменьшает их. Во времена революции это скверно, совсем скверно.

И Ленин намечает и сегодня сохраняющую всю свою действенность программу всестороннего воспитания молодых поколений:

— Молодежи особенно нужны жизнерадостность и бодрость. Здоровый спорт — гимнастика, плавание, экскурсии, физические упражнения всякого рода, — разносторонность духовных интересов, учение, разбор, исследование, и все это по возможности совместно! Все это дает молодежи больше, чем вечные доклады и дискуссии по вопросам пола... В здоровом теле здоровый дух! Ни монахи, ни Дон-Жуан, но и не германский филистер как нечто среднее.

Ни монахи, ни Дон-Жуан, но и не германский филистер!.. Нельзя точнее сформулировать наши представления о моральном облике советского человека в столь важной сфере жизни. Первое и второе ленинские отрицания совершенно очевидны. Что же касается филистерства, или, попросту говоря, пошлого мещанства да еще в его особенно лицемерной немецко-бюргерской форме, то здесь еще предстоит немалая воспитательная работа. Ведь филистерством, правда, в разной мере, заражены и горе-администраторы курортных городов, что не щадят сил для сокрушительной борьбы с греховными приверженцами шортсов или сарафанов, и, к сожалению, даже порой сама молодежь. В фильме «Обыкновенный фашизм» потрясают кадры, изображающие обнаженных юношей и девушек, обреченных на казнь гитлеровскими палачами, или страшные в своей истерзанной наготы трупы замученных и убитых.

Но вот что произошло вечером 3 февраля 1966 года в клубе одного из подмосковных кирпичных заводов. Зал следил за экраном с напряженным вниманием и чутко реагировал на каждое меткое слово удивительного текста Михаила Ромма. Но значительная, быть может, даже преобладающая часть молодежи (и особенно школьной детворы!) дико хохотала, как только появлялась любящая нагая натура, будь то документальные фотографии фашистских зверств или даже мраморные статуи.

Видимо, отсутствие полового воспитания молодежи не менее губительно, чем осужденное Лениным гипертрофированное внимание к вопросам пола. Недаром, конкретизируя высказанные Кларе Цеткин мысли, Владимир Ильич ссылается на судьбу некоего их общего знакомого:

— Вы ведь знаете молодого товарища XYZ. Прекрасный, высокоодаренный юноша! Боюсь, что, несмотря на все, из него ничего путного не выйдет. Он мечется и бросается из одной любовной истории в другую. Это не годится ни для политической борьбы, ни для революции. Я не поручусь также за надежность и стойкость в борьбе тех женщин, у которых личный роман переплетается с политикой, и за мужчин, которые бегают за всякой юбкой и дают себя опутать каждой молодой бабенке. Нет, нет, это не вяжется с революцией.

Здесь Клара Цеткин дает характерную ремарку: «Ленин вскочил, ударив рукой по столу, и сделал несколько шагов по комнате». После этого она приводит конец записи, особенно важный и значительный:

— Революция требует от масс, от личности сосредоточения, напряжения сил. Она не терпит оргиастических состояний, вроде тех, которые обычны для декадентских героев и героинь Д'Аннунцио. Несдержанность в половой жизни — буржуазна: она признак разложения. Пролетариат — восходящий класс. Он не нуждается в опьянении, которое оглушало бы его или возбуждало. Ему не нужно ни опьянения половой не-

сдержанностью, ни опьянения алкоголем... Ему нужны — ясность и еще раз — ясность. Поэтому, повторяю, не должно быть никакой слабости, никакого расточения и уничтожения сил. Самообладание, самодисциплина — не рабство; они необходимы и в любви... Будущее нашей молодежи меня глубоко волнует. Она — часть революции. И если вредные явления буржуазного общества начинают распространяться и на мир революции, как широко разветвляющиеся корни некоторых сорных растений, то лучше выступить против этого заблаговременно.

Как свидетельствует Клара Цеткин, чудесной памяти, незаурядному литературному таланту, высокой культуре и тонкому историческому чутью которой мы обязаны этой записью, Ленин «говорил очень оживленно и убедительно». Собеседница чувствовала, что каждое слово «идет у него из глубины души, выражение его лица подтверждало это». Владимир Ильич, несомненно, делился в осенний вечер 1920 года заветными мыслями, выношенными за долгие годы революционной борьбы.

Того, что, по его определению, требовала от личности революция, требует, разумеется, и строительство коммунизма.

«ЖИВАЯ КНИГА О НАШЕЙ ЛЮБВИ...»

«ТОВАРИЩИ В БОРЬБЕ» — назвал составитель Григорий Хаит изданный в Красноярске сборник писем, которые переносят нас на исторический рубеж между прошлым веком и нынешним. Вслед за горьковским исследователем Н. Забурдаевым, опубликовавшим в 1962 году переписку Анатолия Ванеева, Хаит обратился к членам семей других товарищей Ленина по «Союзу борьбы» и сибирской ссылке — Старковых, Лепешинских и, разумеется, Кржижановских.

Охватывая 1896—1900 годы, письма выразительно рисуют облик еще совсем юных революционеров — будущих большевиков, прошедших лишь самые первые жизненные испытания избранного ими многолетнего пути революционной борьбы.

Но — общий по исходным идейным стремлениям и неповторимо своеобразный по индивидуальным особенностям — путь этот составляет особую тему. Ведь каждый революционер представлял собой прежде всего яркую личность, отнюдь не растворяющуюся бесследно в массовом революционном потоке. Сопоставим поэтому лишь немногие страницы сборника с ленинскими высказываниями о том, что неразрывно связано с юностью — о чувстве любви, — земном, страстном, высокочеловечном.

Каждый, кто когда-нибудь видел портрет младшей сестры Глеба Кржижановского, Антонины Розенберг, «Тончуры», как ласково звали ее друзья, наверно, сразу приметил, что в юности она удивительно походила на «странно-тоненькую» Наташу Ростову, чей образ создан Толстым с животворной пластической силой. Но хрупкое существо, о котором братски заботился в ссылке Ленин, обладало мужественной душой борца. И вот перед нами впервые опубликованное лишь в 1965 году одно из ее писем жениху — Василию Старкову («Базилу» ленинских писем из ссылки). Написанное за 25 дней до свадьбы в селе Тесинском, куда не раз приезжал из Шушенского Владимир Ильич, письмо это кажется нам по аналогии с рентгенограммой, если можно так выразиться, «психограммой» любящего сердца пролетарской революционерки конца прошлого столетия.

5 июля 1897 года «Тончура» пишет:

— Друг мой милый, дорогой, бесконечно любимый! Друг мой, я счастлива... На душе спокойно, ясно... Чувство могучее, глубокое, как море, и чистое, светлое захватило меня... Верю в будущее, черпаю силы в настоящем. Прочь все старое, ветхое, прочь ложное, грязное... — светлое ждет впереди!..

Друг, веря, любя и уважая взаимно, твердо и прямо пойдем мы с тобой!.. Вася, Вася! Я недостойна своего счастья, я мала перед тобой. Но я счастлива... Счастье переполняет меня, окрыляет меня... Как я богата... Как хочу крикнуть я всему миру, какое сокровище я нашла на земле, какое сокровище, тая от всех, я ношу в своем сердце!

Ты любишь меня — и я живу; ты разлюбишь меня — и я умру! Люби меня, Вася, твоя любовь очищает меня, просветляет меня, делает с каждым мгновением выше и лучше. И я стану достойной тебя, но моя любовь останется та же, ибо беспредельна она и нет ей конца!

Быть может, какие-либо кокетничающие наигранным цинизмом юные старички и старушки посмеются над наивной, с их точки зрения, восторженностью письма или над его подчас даже мелодекламационным строем. Но тот, кто не поспешил состариться до срока, поймет глубину первого чувства, охватившего прелестную 22-летнюю девушку, которая к тому же сумела пронести его через всю жизнь.

Ленин, его соратники и друзья не знали разрыва между словом и делом. Антонина Розенберг не просто клялась в любви к жениху. Повторяя подвиг жен и невест декабристов 1825 года, она пошла за ним в многолетнюю сибирскую ссылку, совсем нелегкую физически, да и морально, для любой женщины, тем более, повторяю, такой юной и хрупкой. Впрочем, молодых руководителей «Союза борьбы» недаром прозвали «декабристами» — по дате их ареста петербургскими жандармами в ночь с 8 на 9 декабря 1895 года.

Отметим кстати, что Ленина так называли уже вторично. На казенном «деле» о студентах Казанского университета, исключенных за активное участие в декабрьских событиях 1887 года, рукой инспектора Потапова иронически написано: «Декабристы» 1887 года». Выходит, ирония, как сказал некогда Оскар Уайльд, и впрямь становится порой дешевым способом быть умным. Иронизирующий царский сановник был приставлен для слежки к студентам университета, в котором учились Толстой, Лобачевский, Ленин и множество других славных представителей русской интеллигенции. Конечно, господин инспектор не подозревал, что по крайней мере один из поименованных в «деле» студентов станет наследником революционных традиций и декабристов, как и героев «Народной воли» и других лучших представителей русской народно-освободительной борьбы.

Но вернемся к нашей теме. Быть может, иной еще не слишком усатый (хоть и преждевременно бородатый!) читатель «Юности», презирающий — и нередко вполне обоснованно! — «красивые слова», отмахнется от приведенного письма, как от сентиментальности, чуждой его мужественной суровости. Но посмотрим, что полтора года спустя пишет уже не невесте, а жене 29-летний Василий Старков.

Минусинские власти отказались предоставить в своем округе работу Антонине Старковой, и ей нередко приходилось жить в разлуке с мужем, сопровождая партии переселенцев по Енисею, или «фельдшеровать» где-нибудь в деревенской глуши. 10 октября 1898 года Василий Старков пишет жене:

...чтобы развеять несколько грусть, я отправился сегодня после обеда на гору и пробродил там до ночи... Да, Тончурка, был я сегодня на нашей горе, обошел все наши места и вновь пережил все лето. Какое славанное было лето, и как живо воскресало оно в моей памяти в то время, как я бродил там! Куда бы я ни взглянул, всюду видел знакомый, хорошо знакомый фон, на котором воображение рисовало зна-

комый образ — твою слабую милую фигурку. Да, Тонька, эта гора — наша, и долго-долго мы сохраним о ней благодарную память. Гора — это живая книга о нашей любви, каждое место на ней — живая страница из этой книги!

Настоящая любовь — это еще и воспоминания о пережитом. И Старков, которому не занимать стать мужества, ни внешнего — ибо то был настоящий русский богатырь, — ни внутреннего, революционно-го, — вспоминает первые, уже, казалось бы, перелестные, страницы «живой книги» своей любви:

— Вот то место под деревом, куда мы в самом начале уединялись для чтения... Вот скалы, по которым мы бродили после чтения, окрыленные пока еще смутным, не высказанным, но хорошим, светлым и юным чувством. Ничего не было еще сказано, не было сделано ни одного намека, не анализировалось то, что происходило в нас, и однако в груди у нас явно трепетало что-то такое, что поднимало нас и окрашивало в наших глазах все окружающее... Чувствовалось смутно, что каждая прогулка сближает нас все больше и больше, и мы с радостью шли друг к другу навстречу... Вот камень, на котором в чудную лунную ночь я в первый раз — на правах больного — склонил свою голову на плечо Пеночки, и она невнятно, робко пропела мне свою первую песенку.

Пусть же позавидуют Старковым те, у кого еще не было в жизни ни такой лунной ночи, ни того, что, по выражению автора письма, поднимает человека, как может поднять все, подчас даже от него самого скрытые силы только счастливая, разделенная, взаимная любовь. А юные скептики и «скептицы», посмеивающиеся над целомудрием «предков», пусть вникнут и в уже более доступные их пониманию, полные страсти, заключительные строки:

— Вот то место под камнем, с которым связано больше всего воспоминаний... Здесь... слабое пламя разгорелось в пожар — и мы потеряли голову... И, наконец, ты помнишь, конечно, тот вечер, когда мы, обнявшись, бродили, как сказочные принц и принцесса, по горе — по своему волшебному замку.

Да, эти будущие большевики умели любить! Любить сильно и красиво, с полнокровной земной, человечей, а не худосочной, книжной и декадентской романтикой. И невольно снова вспоминаешь ленинские слова, обращенные к юношам и девушкам девятнадцатого, как и любого другого, года:

— Вырастете и поймете, что такое настоящая любовь и как она обогащает человека!

«НИ МАЛЕЙШЕЙ НАЧАЛЬСТВЕННОСТИ!»

Четыре дня спустя после кончины Владимира Ильича — 25 января 1924 года — Луначарский выступил перед студентами Коммунистического университета имени Свердлова с докладом «Ленин и молодежь». Уточненный текст доклада включен в новую книгу серии биографий «Жизнь замечательных людей» под заглавием «СИЛУЭТЫ». Книга эта не отмечена библиографами среди изданий Ленинианы 1965 года, но входит тем не менее в нее по праву, ибо содержит десятки интереснейших высказываний о Ленине и немало оригинальных воспоминаний. Обращаясь к ленинским заветам советской молодежи, Луначарский говорит:

— Владимир Ильич вообще не любил тратить слов попусту и в большинстве случаев давал формулы яркие и простые при всей их огромной глубине. Часто то, что высказывал Владимир Ильич, казалось необычайно легким. Правда, это не обманывало его

большую народную и международную аудиторию. Все понимали, что за этой простотой, сквозь эту прозрачность сияет большая мудрость, хотя эта общественная мудрость и выражалась в таких общедоступных формах; тем не менее мудрость есть всегда мудрость, и только путем постоянного обдумывания, проникновения в ее недра можно полностью ею овладеть.

Не менее важен и моральный авторитет Ленина, и сегодня показывающий юности, по слову поэта, «делать жизнь с кого». Вот что рассказывает о Владимире Ильиче оратор:

— Авторитет этого человека был большой, ни единым, ни массам он не потворствовал, но тем не менее «начальственности» в нем не было никакой. Какая уж там начальственность? Более простого обращения, решительно со всяким, нельзя себе вообразить... Это был человек в поношенном пальто, который разговаривает с другим человеком без малейших гримас, без малейшего тона чванства. Всегда он мог признать: ах, какую я глупость сделал! И скажет он это, может быть, почтальону или подростку, если тот перед ним откроет что-то новое, скажет какое-нибудь новое соображение, укажет какой-нибудь неизвестный ему факт. Ни малейшей начальственности! И ему страшно хотелось, чтобы ни у кого ее не было!..

Кому, как не молодежи, бороться за решение и этой поставленной Лениным задачи! Ведь, как заявил, опираясь на ленинские идеи, Луначарский:

— Молодежь уже биологически — это те люди, которым предстоит решать судьбы человечества на завтрашний день... Молодежь вместе с тем пережи-

вает такое время своей жизни, когда она особенно восприимчива и к дурному и к хорошему. В это время на ее гибкую, мягкую, как воск, душу можно положить пятно, наложить изъян, который потом затвердеет, заострится и станет пороком; но в это же время можно положить на нее священную печать преданной любви к человечеству, которая жила в сердце Владимира Ильича...

Такова главная воспитательная задача советской Ленинианы, в которой Луначарскому принадлежат красноречивые и выразительные страницы. Закончим поэтому и наши заметки вдохновенным словом человека, которого так любил Ленин. За два дня до похорон его праха, превозмогая боль свежей утраты, Луначарский говорил свердловцам, среди которых было немало слышавших ленинскую речь на Третьем съезде комсомола:

— ...если Ильич молод, то и молодежь должна быть «ильичевой» молодежью. Она должна проникнуться не только этой его заразной и родной для нее молодостью, но и мудростью Ленина, и осмысленностью, и умением делать выводы из седины культуры, приобретенной столетиями. И когда это все в ней соеденится, когда она станет достойной Ильича, когда она десятками тысяч зеркал отразит в себе этот сияющий образ и сделается, насколько кто может это вместить, подобной нашему вождю, — тогда это будет уже поистине богатырская молодежь...

Лучшие книги Ленинианы 1965 года несут молодежи именно такой духовно богатырский ленинский образ...



Флор Васильев

КРЕМЛЕВСКИЕ КУРАНТЫ

Мы никогда не знаем сами,
какой кому отпущен век.
И не шагами,
а часами
спешит по жизни человек.

Он,
чтобы не отстать в дороге,
не распылить за мигон миг,
часы сверяет у порога
с часами сверстников своих.

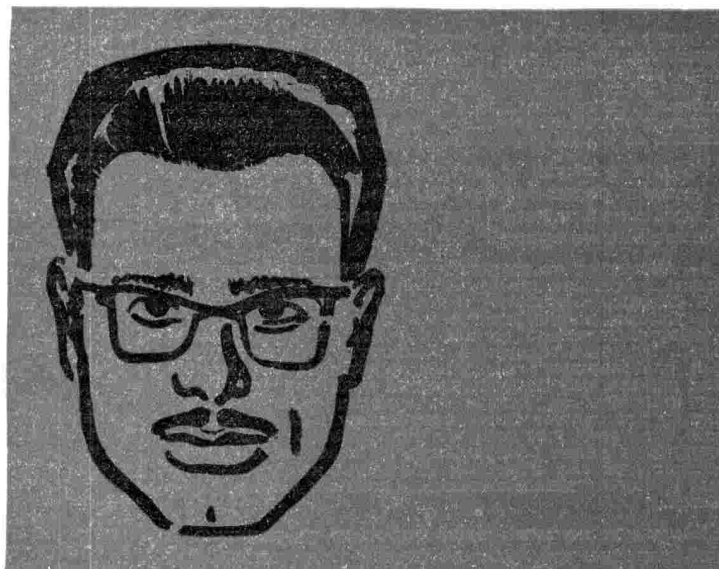
Горячих дней настали сроки,
и обновленная Земля

привыкла
время дел высоких
сверять
с курантами Кремля.

Их никогда
никто не снимет —
они в грядущее идут.
История народов
с ними
сверяет
бег своих минут.

Перевод В. САВЕЛЬЕВА.

● Ицхокас Мерас



НА ЧЕМ ДЕРЖИТСЯ

МИР

Роман-баллада

Рисунки В. Сидура.

*На трех китах?
На четырех слонах?
На могучих плечах мужчин?
...
На чем держится мир?*

Я не судья, она не подсудимая.
Я лишь задаю вопросы, она отвечает.
И вопросы, быть может, не такие, как на суде, ведь я не судья, а она не подсудимая.
Собственно, мы даже не разговариваем. Я спрашиваю глазами, и Вероника понимает. Она все время молчит, но я читаю в ее глазах ответ.
— Ваша фамилия, имя, отчество?
Она отвечает.
— Когда и где родились?
Отвечает.

— Вы любили?
— Лгали?
— Были счастливы?
— Можно ли убить человека?
— Можно проклясть мир?
Я беспрестанно спрашиваю. У меня к ней множество вопросов. Она неизменно отвечает.
Она отвечает.
Вопросы можно не читать.
Прочтите ее ответы.

— Нет, — ответила она. — Я сама была виновата.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Мощенная булыжником базарная площадь была загажена ошметками сена, соломы, клочьями бумаги и конскими яблоками.

Она сидела на большом камне, обхватив руками узелок; пахло сеном и навозом. Еще не просохшими глазами озиравлась она вокруг, снова, уже в который раз, видела перед собой просторную базарную площадь, магазин с вывеской «МАНУФАКТУРА» и возвышавшуюся поодаль красную башню костела.

В костеле она была.

На площади, на камне, сидит уже давно.

Может, зайти в магазин?

Да, непременно надо зайти в магазин и поскорей, а то вот-вот закроется, и тогда уже некуда будет идти, совсем некуда.

Она торопливо поправила толстую пшеничную косу, тяжело лежавшую на голове, заколола ее покрепче, застегнула ремешки коричневых туфель.

Надо спешить, а то магазин закроют.

Базарный день кончился.

Последняя подвода весело катит с площади. Обок поспевает, размахивая концами вожжей, неказистый, взъерошенный мужичонка.

— Но-о-о! Но-о-о, гнедой!

Почему всклокоченный мужичок не садится на телегу? Почему трусит сбоку?

Может, ему ловчее бежать так, опершись на грядку телеги, может, легче. Он, глядишь, поросенка продал, дюжину яиц, а то, чего доброго, и просто в долг напился.

— Но-о-о! Но-о-о, гнедой!

Ему, как видно, легко и сноровисто бежать рядом с подводой, навалясь на грядку.

— Но-о-о!

Надо поспешить, а то закроют магазин.

Она ладонью стерла пыль с туфель. Они немного потускнели сперва, а потом вдруг заблестели. Даром, что ли, она всю дорогу, девять километров, топала босиком? По стежкам — роса, по дороге — пыль. Зато на окраине городка она обмыла ноги, обула новые туфли. И не скажешь, что уже два раза надеваны.

Первый раз обулась в них, когда ходила к усадьбе Бернотасов, Антанаса искать ходила. Самый первый раз.

Отец давно уже, как только оставался вдвоем с дочкой, все говаривал, пряча глаза, сперва по-доброму, со смешком, а потом и строго, с сердцем:

— Нешто не видишь, как Бернотасов Антанас вокруг тебя юлит, а? И сам не пойму, девка ты или бревно бесчувственное. Кажись, выросла невеста, да вместо сердца пустое место. Вот и разбери-пойми... Сам ведь не зашлет сватов, не додумается, так и знай. Не зашлет, пока брюха не нагуляешь...

Тут он обрывал себя, подолгу молчал и только потом уже продолжал:

— Девка ты или бревно? Скажи! А может, не ровня тебе Бернотасы, усадьба у них захудалая? Может, тебе принца подавай?

Он снова умолкал, но ненадолго.

— Знаю, кого ждешь. Мериكانца, небось, миль-энщика своего. Жди, переплывет море-океан, махнет фалдой да шасть под венец, швырь все вексель мои — вот, мол, тестюшка, не горюй, можешь еще и тот лесок прикупить, коль душе угодно.

Отец сплевывал. Смачно, будто целый день слюну топил.

— Попередохли мериكانцы-то. Передохли все, говорю!

Он не поминал Пятраса по имени, но и впрямь, как ушел тогда Пятрас Ятаутас ранним утром, только-только солнышко взошло, так ни слуху ни духу. Столько лет никакой весточки.

«Девка ты или бревно?.. Не зашлет сватов, пока брюха не нагуляешь...»

В избе мыкалась мать, плакали еще трое ребятишек и вечерами, перед сном, кряхтел в углу отец. Бернотасы — самые разлюбезные соседи: не говоря худого слова, знай скупали один за одним отцовы векселя. А Антанас, их сынок единственный, так и кружил над девкой, так и охаживал: утром ли, вечером, когда ни глянешь — он тут как тут.

О Пятрасе Ятаутасе она уже не думала. Ночью, отпирая дверь клетки, слышала ржавый скрип петель, слышала, как постанывает мать, плачут ребятишки и кряхтит в своем углу отец.

«Не зашлет сватов, пока брюха не нагуляешь...»

Надо было тогда еще, три года назад, уйти в батрачки, бежать из дому и из клетки, куда впустила ночью Антанаса, боязливо прислушиваясь к скрипу заржавелых петель: не отец ли стоит за углом избы и довольно побрякивает?

А недавно отец не вытерпел: привез из города коричневые туфли, бережно положил на лавку и тихо, не глядя на дочь, сказал:

— Бери, бери. Не босиком же под венец идти.

Вот и обула впервой, как пошла искать Антанаса.

Она еще ни разу не была у Бернотасов. Не осмелилась и тут отворить калитку.

Тихо, неторопко подошла лугами к воротам усадьбы, обула эти коричневые туфли, а потом прижалась к глиняному кувшину, что сушился на заборе, уткнулась лбом в его прохладный бок и зажмурилась.

Заготтал гусак, учуяв чужого, а за ним и все гусиное полчище. Хрипло, взახлеб залаяла собака.

Была суббота, банный день. От избы доносился шум, гомон. Видно, там улетали картофельную бабку, запивая холодным молоком, сметаной, а может, чем-нибудь и покрепче.

Она тихо ждала, опустив голову и зажмурив глаза, так же тихо, как шла сюда, к этой усадьбе, по полям и лугам.

Истощно вопили гуси, все злей и злей надсаживался пес. Должен ведь кто-нибудь выйти? Хорошо бы он сам вышел. Боже милостивый, пусть уж он сам, Антанас!.. Святая дева Мария, мать милосердная!.. Только бы он, никто другой.

— Эй там! Кто собак дразнит?

Он! Он вышел, Антанас.

— Это я...

Подняла голову, и он увидел ее.

Оба стояли молча.

Стояли долго.

Антанас дернул плечом, и она подумала, что сейчас он повернется, уйдет в избу и никогда больше не выйдет оттуда, сколько ни стой здесь потом, сколько ни дразни собак, птицу.

— Антанас!..

Он подошел. Постоял у забора, затем отпер калитку, вышел. Высокий, плечистый, свежий после бани, грудь нараспашку, а когда прислонился к забору, тот аж заскрипел.

— Ну?
Он глядел на нее сверху вниз, а она, подняв голову, не знала, что и сказать.
— Ладная ты баба, чтоб тебя черти...
Ухватил ее за руку, потянул к себе.
— Все хорошеешь, а?
Она не противилась.
— Может, пойдем... — с нагловатой ухмылкой сказал Антанас.

Наконец-то она решилась. Выскользнула из его рук, глянула вниз, чтобы и он глянул, увидел ее новые коричневые туфли с круглыми пуговками.

— Антанас, женись... Женись на мне, Антанас.
— Ну да! — отшатнулся он, и снова скрипнул забор.

— Ребенок ведь у нас — без венца, без ничего.
Он не ответил. Только немного погодя вымолвил:
— Зря пришла.
— Ребенок ведь у нас, ты его и не видал ни разу.
Он еще шире распахнул ворот рубахи.
— А почему я знаю? Может, не мой. Как со мной, так и с другим могла. Почему Юозукасом окрестила, ежели отец — Антанас?

Он хмыкнул, теперь знал, что ответить.
А ей вспомнилась опушка леса, вспомнились стога сена и нескатая рожь, щетинистые луга и пахучие клеверница. Три года, целых три года!.. Вспомнилась клеть, куда он заявлялся пьяный, но смелый, как хозяин, а она всегда молчала. Всегда была покорной.

— Женись, Антанас. Убьет меня отец, убьет на месте.

— Не убьет-ет!
Она заглянула ему в лицо. Он было свежее и холодное после бани, и с застывших губ уже не сорвалось: «Может, пойдем...»

— Зря пришла.
Глаза были тоже стылые; он повернулся уходить.
Она снова вспомнила клеть, потянулась к Антанасу и, опустившись на колени, обняла его ноги.

— Женись. Убьет меня отец, убьет.
Он отряхнулся, как от назойливой мухи, как от слепня.

— Отстань. Да отстань ты!
Вдруг они услышали глухой хрип. Обернулись и увидели ее отца. Он широко шагал, занесши над головою кол.

— Порешу! Обоих! Паскудники... Женись, женись!
Антанас молча захлопнул калитку, побежал во двор, к конуре. Спокойно, как ни в чем не бывало, спустил с цепи собаку, а сам, так ничего и не сказав, ушел в избу.

Оттуда снова несясь гомон, там, должно, уминали бабу, заливая молоком, сметаной и кое-чем покрепче.

А за воротами видна была розовая собачья пасть, и прыгали, хватая воздух, белые клыки.

— Убью... — устало просипел отец, бросил кол, поддал его ногой и поплелся обратно через поле.

Она шла следом, забыв снять новые коричневые туфли. А потом отстала. Отец обернулся, хрипя, погрозил усадьбе кулаками и бросил дочери:
— Все ты, потаскуха! Ты виновата...

Тогда она отстала.
В самом деле была виновата.

Так и вернулись. Отец — впереди, она — поотстав, в новых коричневых туфлях. Глаза у матери были испуганные: видно, хотела что-то сказать, но молчала. Отец стоял возле стола и комкал в руке бумагу из волости: с утра жди исправника, назавтра торги объявлены.

Она знала, что скажет отец, поэтому наспех завернула в пеленки Юозукаса, схватила блузку, шерстяные чулки, завязала все в платочек, туда же сунула и свои новые туфли.

Взяла на руки малыша, подхватила узелок.
Отец все комкал у стола бумагу, а напоследок процедил сквозь зубы:

— Сгинь с глаз... Потаскуха нам не нужна. Уходи... Живо!

Мог бы ничего не говорить. И так знала, что он скажет. Мог бы молча комкать бумагу из волости и ждать исправника: она ведь быстро собралась. Сама.

Мать испуганно смотрела на них, видно, хотела что-то сказать, но молчала.

Отец переминался возле стола.
Она старалась не думать, куда идет, но знала, что дорога ведет к дому Пятраса — к Ятаутасам. Куда ж еще ей было податься? Кто ее ждал?

Ятаутасов было двенадцать душ. Правда, теперь осталось только одиннадцать: старший сын, Пятрас, уехал искать счастья в Америку.

Искать счастья?
Где найдешь его, это счастье?

Ятаутасов было двенадцать. Что ни два-три года, то новый появлялся на свет. Последние двое — близнецы. По всем углам ребячьи ползают, и в избе полно, и двор полон.

Она не думала, куда идет, но все равно знала: есть лишь одна дорога, та, что ведет ко двору Ятаутасов. Куда ж еще?

Старый Ятаутас сам вышел из избы и детвору выпроводил. Чего там в бабьи дела мешаться, еще скажешь слово какое, а подумают невеста что. Лучше не связываться. Захватил косу и пошел на двор отбивать. Все одно не сегодня, так завтра придется: никто за тебя не отошьет, все сам делай.

Тихо было в избе. Юозукас спал, убаюканный дорожкой. Сели женщины на широкую, длинной во всю комнату лавку, на которой и сидят и спят. Сели, посмотрели друг на дружку. Потом Ятаутене, мать Пятраса, наклонившись, впиалась глазами в младенца. Тот спал — ему хоть бы что!

— Куда же ты сейчас? — спросила Ятаутене.
— Не знаю.
— Не думала еще?
— Не знаю...
— Ступай в город. Все не навоз месить.
— В город?

Города она боялась, не хотела в город. Ей казалось, будто все двери там скрипят, как в ту ночь в клеть.

— В город. Кому ты нужна здесь такая? В страду еще возьмут батрачкой, а потом — как знаешь. И голу где приклонить не сыщешь.

— В город...
— Поживешь, послужишь, а там видно будет. Только бы к хорошим людям попасть.

— Где же их искать, хороших-то?
— Не знаю. Авось, бог не выдаст.
— А как же...

— Возьмем Юозукаса, возьмем. Одним больше, одним меньше. У меня-то уж, слава богу, своих не прибавится.

— Я... в долгу не останусь, рассчитаемся, правда...
Она схватила руку Ятаутене и стала целовать.
— Спасибо вам... Благодарствую... Спасибо...
— Чего уж там... И молочка ему расстараемся, и хлеба с сахаром пожую. Сколько такому надо? Сколько?

— Спасибо... Благодарствую...

— Завтра в городе базарный день. Заночуешь у нас, а наутро выйдешь с солнышком и найдешь, что надо тебе. Только сахару хоть изредка приноси. Сама знаешь, сахар у нас не водится.

На том и поладили.

Поладили...

— Но-о-о! Но-о-о, гневой!

Растрепанный мужичонка, так и не выехав на дорогу, делал круг по всей базарной площади. Лошадь бежала рысцой, а мужичок трусил сбоку, опираясь на грядку, и смеялся оттого, что не может попасть на дорогу, делает круг, да еще такой большущий.

Не иначе, как в долг напился.

— Но-о-о, гневой!

Она вскочила с камня.

Сейчас запрут магазин!

Надо спешить, иначе уже некуда будет идти. Растрепанный мужичонка выедет на дорогу, лошадь сама потянется к дому. И останется она одна здесь.

— Но-о-о! Но-о-о, гневой!.. — донеслось с дороги.

Стало быть, выехал. Значит, площадь совсем пуста.

Господи боже мой, надо в магазин. Ведь сейчас закроется, правда, закроется!

Она бежала, тяжело дыша, как в тот раз, когда уходила из дому, уходила с узелком и с Юозуком на руках.

— Нет, — ответила она, — чай был соленый.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Она все-таки успела в магазин, когда взъерошенного возницы уже и след простыл. Чего она так рвалась туда?

С замершим сердцем поднялась по шести, а может быть, семи каменным ступенькам, медленно толкнула дверь. И дверь подалась, отворилась, тонко ужалив звоном колокольчика.

Хорошо, что успела.

Магазин внутри был большой, с широкими прилавками вдоль стен. А уж тканей, тканей! Такие тонкие... И ни живой души.

Все рулоны, рулоны...

Она осторожно потрогала один. Материя была скользкой, блестящей и прозрачно-тонкой.

Вот бы ей на платье такую блестящую, гладкую, с зелеными клеверочками. В самый бы раз к новым коричневым туфлям. Сразу б кто-нибудь в услужение взял.

Когда-то давно она была здесь, в этом магазине. Вместе с Пятрасом. И так же гладили они разноцветные ткани.

— Вот заработаю денег, вернусь и куплю тебе самое нарядное платье. И еще одно — белое, с фатой.

И уехал.

Нет, никакого другого места не надо ей. Хочет здесь, в магазине, стоять за прилавком, перебирать в руках тонкие, скользкие ткани и всем и каждому нахваливать: покупайте, покупайте!

В глубине магазина была тяжелая занавесь, а за нею дверь. Оттуда вышел хозяин — невысокий, толстенький, в застегнутом жилете. Из средней петельки в карман жилета спускалась толстая желтая цепочка.

Он деловито осмотрел ее с головы до ног, потом хитро прищурился, задержавшись взглядом на груди.

— Может, вам что-нибудь к крестинам?

Она молчала, опустив голову.

— Что же вам угодно, барышня?

Не поднимая глаз, она ответила:

— Я работу ищу.

— Работу?..

Она подняла глаза.

— Я бы всякую работу делала... Все, что надобно...

Хозяин хитро прищурился.

— Такую красивую барышню кто угодно возьмет. Зайдите к исправнику. У них служанку ищут. Очень хорошие господа, рекомендую.

Он показал дом, и она вышла за дверь.

Больно ужалил колокольчик.

Дом исправника был каменный, под красной крышей. Впереди, с улицы, сверкало стекло веранды.

Она робко постучалась. Никто не вышел. Она перждала и постучалась еще раз.

Она боялась открыть дверь, как боялась отворить калитку, когда ходила к усадьбе Бернотасов.

— Кто там? Кто-о та-ам? — распевая, выскочил на веранду мальчуган.

Открыл не сразу.

— Что надо? — спросил, наклонив голову. — Что скажете, мадам?

— Мне хозяйку...

Она боялась, что мальчик захлопнет дверь и, напевая, убежит обратно в комнаты.

Нет! Не убежал.

— Мама! Идите сюда! Тут какая-то баба пришла! Ба-а-ба! Мам-мам-мам!

Вышла барыня.

— Здравствуйте... Вам служанка требуется?..

— Зайди с другого конца.

Она обошла дом и остановилась перед дверью, выходящей во двор. Ее била дрожь. Она вся съежилась. Хотела накинуть платок, но в платок были завазаны ее немудреные пожитки.

Дверь открылась.

На пороге стояли барин с барыней. А между ними — барчонок. Все трое долго смотрели на нее. Она не выдержала — страх подгонял:

— Я... всякую работу могу... Все, что надобно...

Исправник заметил вполголоса:

— Подняла с дивана... Целый день возись с мужичьем, и дома нет покоя.

— Папа, пап! Хорошие торги были? Что сначала продали? Корову? Па-па...

— Помолчи! — прикрикнула исправница и тоже добавила вполголоса: — Сам увидишь, что не так-то просто найти служанку.

— И ради этого ты подняла меня с дивана? Видишь ведь, какая она замызганная, мокрая вся. Еще заразит чем-нибудь...

— Ничего не понимаешь. Это, наверное, девка с ребенком...

И спросила громко:

— Муж есть? Замужем?

Она покачала головой.

— А ребенок?

Она смотрела, вытаращив глаза, и сперва медленно, а затем быстро-быстро замотала головой.

Исправница снова вполголоса сказала:

— Врет...

— И для этого ты меня подняла, для этого? Исправница не ответила мужу.

— Можешь идти. Нам не нужна служанка. Уже есть. Там, дальше, искали одни. Правда, евреи. Зайди, может, возмут.

Мальчуган, протиснув голову между родителями, посмотрел на мать, на отца.

— Мапочка, если они возьмут, я смогу называть ее...

— Не лезь, когда взрослые разговаривают.

Она смотрела на всех троих — барина, барыню и барчонка, — и так хотелось ей вернуться на базарную площадь. Там сидела она на камне, никому не мешала, и ей никто не мешал.

— Папа, сначала корову?

— Не приставай, я устал.

Она все еще стояла перед троими и мелко дрожала.

— Ступай, ступай. У нас уже есть служанка.

Она снова обошла дом. Травка во дворе была слишком мягкой. Ей хотелось поскорее почувствовать под ногами твердые плиты тротуара.

— Ма-ма! Когда будет у евреев, можно будет звать ее девка-жидевка, да? Ма-ма!

Она шла и шла по тротуару.

Хотела на базарную площадь, а ноги несли в другую сторону; прошла одну улицу, потом другую.

Какой громадный крюк делала по дороге к дому, где ее ждали!

Ей нигде не хотелось задерживаться и лишь в одном месте, сама не зная почему, остановилась и огляделась.

Над городом опускался ясный летний вечер. Одинокое облака, белые и пухлые, медленно брели вдаль, будто искали что-то. Как и она. Только они высоко в небе, а она под забором, на твердом тротуаре.

Вечер спускался над городом.

За невысоким заборчиком, у которого она остановилась, росли цветы. От калитки к дому вела дорожка, с обеих сторон обсаженная розами.

У нее в палисаднике, там, дома, откуда она ушла, тоже были цветы. Но не розы. А здесь цвели розы — алые, желтые, белые и красные, почти что черные.

Она чувствовала их терпкий запах.

Ей вдруг захотелось потрогать хоть один цветок, хоть одну чашечку — алую, желтую, синюю или черно-красную. Захотелось погладить пальцами шелковые лепестки так же, как только что, совсем недавно, хотелось зайти в магазин.

Кругом ни души.

Она открыла калитку и ступила в розовую аллею. Притронулась к самой первой розе — алой. Притронулась одной рукой, а хотела каждый цветок обнять обеими руками, обхватить ладонями, будто в пригоршне нести.

Узелок съехал на землю.

Руки были свободны.

Она двигалась по дорожке.

Не услышала, как сзади подошел человек.

Обернулась.

Лысый, сутуловатый, с чемоданчиком в руке.

— Ко мне?

Она живо подхватила узелок.

— Нет...

— Ты меня знаешь?

— Нет...

— Я доктор. Это мой дом.

— Мы к докторам не ходим, — ответила.

Доктор посмотрел на нее, вытащил из жилетного кармашка часы, потом снова посмотрел на нее и спросил:

— Что же ты домой не идешь ребенка кормить? Посмотри на себя — вся мокрая! Смотри, молоко бежит.

Только тут она глянула на свою грудь и увидела два расплывшихся пятна. Закрыла грудь руками и почувствовала влажную, липкую ткань.

Она все качала и качала головой.

Нет, она ничего не скажет. Нет у нее ребенка, нет Юозукаса, и дома у нее нет, ни идти, ни ехать некуда.

Она отшатнулась, как будто он вот-вот накинется на нее, ударит, и сказала, не отнимая рук от груди: — Ребенок... умер... вчера... Я работу ищу.

— Работу? — Он подумал. — Раз такое дело, что-нибудь найдем.

Она хотела спросить — тихо, чтобы он не рассердился: «Где? У кого?»

Он повернулся к ней, улыбнулся, и она не спросила.

— Идем, — сказал он.

Прямо через двор направились к соседнему дому. На крылечке, прежде чем постучать в дверь, он остановился:

— Чужого ребенка будешь кормить?

— Не знаю... Наверно...

Ее усадили поудобнее.

Она сидела на диване и кормила мальчика.

Еще не знала, как его звать.

Едва она робко вошла в комнату, едва увидела мальчика, как сердце забилось часто-часто. Ей подали мальчика, и она поискала глазами, куда бы сесть.

Ее усадили на диван.

Диван был мягкий, а мальчик маленький, теплый. Она тут же положила его себе на колени и стала расстегивать блузку.

Хозяйка с хозяином, присев рядом, смотрели на нее не отрываясь, но затем он, что-то вспомнив, вышел. А ей-то что, мог и не уходить. Она собралась кормить.

Но он уже вышел на кухню, стоял перед тазом с теплой водой, помешивал эту воду пальцем и чему-то улыбался.

Ей и в голову не пришло, что надо ополоснуться, а они тоже ничего не сказали, хотя хозяйка и пригостила большой эмалированный таз с теплой водой.

Расстегнув блузку, она опять заметила, как та намочка — два больших влажных пятна на груди. Еще сильнее заторопившись, она вынула грудь, только тут почувствовав, какая она тяжелая, набухшая.

Мальчик ухватился ртом, ручонками, и казалось, никогда уже не выпустит.

Она вздохнула и зажмурилась.

Уже не видела ни хозяйку, осторожно присевшую на краешек дивана, ни хозяина, который, стоя в кухне, улыбался и помешивал пальцем теплую воду в эмалированном тазу.

Зажмурив глаза, она прижимала к себе мальчика.

Ей казалось — прижимала к груди Юозукаса.

Теперь и она улыбнулась.

Мальчик такой голодный! Так хочет есть, так заждался! Ее мальчик, ее Юозукас. Не потому ли он так жадно припал к ее груди? А ее все не было и не было. Такой крюк сделала, пока наконец пришла.

Но вот мальчик насытился. Он еще держал губа-

ми грудь, но слабо, дremотно, уже и веки закрывались.

Он еще не отделился от нее, теплый и мягкий, Юозукас...

— Спасибо... — тихо сказала хозяйка.

Она взяла мальчика и понесла укладывать.

«Погодите... постойте!» — хотела закричать она, но почувствовала, что сидит не на жесткой лавке, а на мягком диване. Молоко уже не распирало грудь, но высосал его не Юозукас.

Юозукас был далеко. Ему Ятаутене хлеб жевала.

А ее грудь уже опустела. В чужом доме.

Хозяин вышел из кухни и, стараясь не глядеть, пока она застегнется, сказал с прежней улыбкой:

— Извините, что мы сразу не предложили... Вы, должно быть, устали и проголодались.

Наконец он посмотрел на нее.

Она опустила глаза, кивнула.

Да, ей хотелось есть.

Пожалуй, даже не есть, а пить. Чаю. Ей должны дать чаю. Так ведь принято в городе. Очень хочется пить.

Сидя на кухне, она жевала кусок, застревавший в горле, и видела, как за окошком сгущаются сумерки. Пухлые облака, белесые, одинокие, куда-то бредли, искали что-то.

Она была одна в кухне. Никто не мешал ей. Она долго глядела в окно.

Потом пила чай.

Две ложечки сахара отсыпала в платок. Первые две ложечки.

«И хлебца с сахаром пожую...»

Первые две ложечки.

Все равно чай должен быть сладким. Да нет — он был соленый.

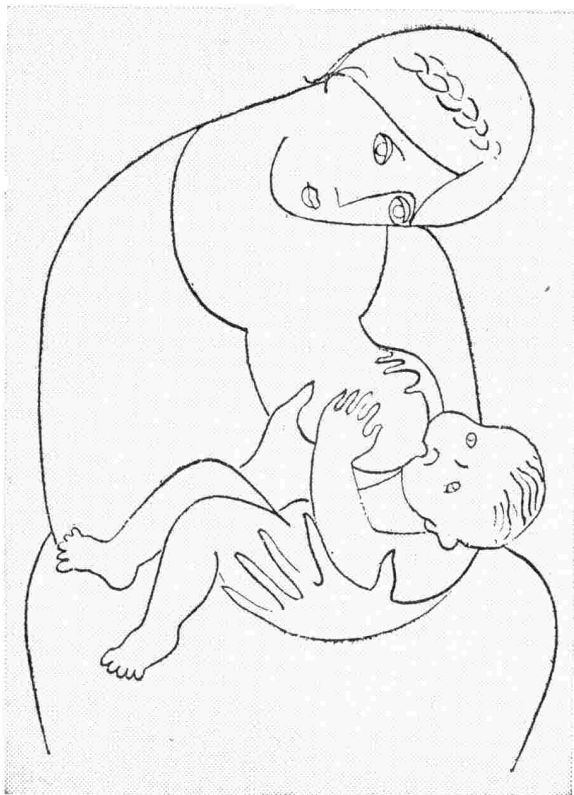
Она пила соленый чай и глядела в окошко.

— Нет, — ответила она, — я не любила.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Каждое воскресенье она уходила с утра пораньше и возвращалась только вечером. Каждое воскресенье в семье Ятаутасов прибавлялся еще один, тринадцатый человек.

Бегом бежала все девять километров, хватала Юозукаса на руки, если спал, — будила его и отпаивала, отпаивала своим молоком. Зажмурится и забывает все на свете.



Так дважды отцвела липа.

Сначала, весной, распускалась сирень, а уже потом, летом, все вокруг пропитывалось запахом цветущей липы.

Она и теперь по воскресеньям ходила к Юозукасу.

В остальные дни спокойно, не торопясь, убиралась по дому, и только после обеда ей становилось не по себе.

Спешила убавлять мальчика и побыстрее вымыть посуду. Хозяйка тоже ложилась отдохнуть. Она была свободна.

Лучше всего весной. Она шла во двор, туда, где разрослась сирень, и подолгу искала счастье — цветок с пятью лепестками.

Иногда находила.

За кустами сирени, за изгородью, в саду соседнего дома, сидел Эугениус, сын нотариуса, и читал книгу. Два года назад он окончил гимназию. До обеда помогал отцу вести дела, а после обеда выходил в сад читать свои книги.

Волосы у него были темные, кудрявые, а на подбородке ямка. У Пятраса тоже были темные кудри, только ямка на подбородке не такая глубокая.

Она искала счастье — цветок с пятью лепестками — и смотрела на Эугениуса.

В тот день к обеду были гости, и она задержалась. Хозяйка не легла, как обычно, пришла на кухню.

— Ты всегда торопишься в это время. Иди. Я сама все сделаю.

— Да нет, никуда я не тороплюсь, мне не к спеху. — Иди, иди. Посуду я сама вымою.

Она вышла.

Сирень давно отцвела. Зато пахло липой. Она быстро подошла к зарослям сирени, развела руками зеленые листья, ветки и прямо перед собой увидела по ту сторону забора два серых глаза.

И у Пятраса Ятаутаса глаза были серые.

— Что так поздно сегодня? — спросил Эугениус. Она не ответила.

Смотрела в серые глаза, а он — на тяжелую желтую косу, уложенную на голове, на вспыхнувшие румянцем щеки и белый гладкий лоб.

— Идем ко мне, — сказал он совсем тихо, хотя их и так никто не мог услышать. — В конце сада три доски отходят. Только смотри, чтоб никто не видел.

— Боишься?

— Тише... молчи... — вспыхнул он. — Разве я виноват, что ты... ты... не дочь старшины?..

Она вернулась в дом, села у окна. И долго еще видела, как он стоял за кустами сирени, прислонясь к забору.

Она не обиделась, нет. Но если б снова была весна и снова цвела сирень, она бы уже не бегала

искать цветок с пятью лепестками — ни белый, ни фиолетовый.

Потом она своими глазами видела, как дочь восточного старшины навещается в дом нотариуса. Бируте была хороша собой и гораздо моложе ее. Известное дело...

Известное дело.

Бируте птичкой прилетала в своем цветастом платьице, легкая, почти прозрачная, как материя в магазине с вывеской «МАНУФАКТУРА». Широкополая соломенная шляпка, перехваченная лентой, да пара девичьих кос за плечами.

Известное дело...

Бируте прилетала и все поглядывала из-под длинных удивленных ресниц, то расплетая, то заплетая кончики свободно висящих кос. Стоило ей свернуть за угол дома, как откуда ни возьмись появлялся Эугениус. Он подкрадывался, пригнувшись, без звука, неожиданно закрывал ей глаза ладонями и прижимал к груди, ничего не видящую, беспомощно разводящую руками. Затем они, как дети, брались за руки и бежали в сад. Никого не боясь, не прячась, носились по садовым дорожкам.

А она, перемыв посуду после обеда и уложив мальчика, забиралась на чердак. Приникала горячим лицом к пыльному чердачному окошку. Стояла, упершись лбом в запыленное стекло, и час и два.

Никто за ней не следил, и можно было не спешить.

Она не обиделась, нет.

Не обиделась даже тогда, когда он впервые поцеловал Бируте. Они были далеко, в глубине сада. Эугениус озял Бируте. Талия у нее, наверно, была тоненькой, как у ласточки. Она откинулась, уперлась руками ему в грудь, но он не выпускал. Он прижимал, прижимал ее к себе, пока ее руки не дрогнули, лица сблизилась, и длинные пальцы зашевелились на его шее.

Иногда возле дома нотариуса останавливалась бричка. С большими колесами, высокая, как трон, и, как трон, мягкая. Она кренилась набок, едва ступишь на подножку. Коротко взнузданный вороной выгибал лоснящуюся шею, нетерпеливо бил камнями мостовой сильным, кованым копытом.

Смесь и подталкивая друг друга, они садились в бричку и уезжали.

Она дожидалась их.

Часто выходила во двор — за дровами или воды принести. Заглядывала из кухни в комнаты — еще раз вытереть пыль. Или — хорошо, если было ко времени! — отправлялась погулять с мальчиком.

Хозяин был учителем. Очень хотел, чтобы она училась читать. Ей купили букварь и еще какие-то книжки.

Бывало, самое милое дело — выйти с букварем на крыльцо, сесть на лавочку, складывать букву к букве, слог к слогу и ждать.

Была в том ожидании сладкая, манящая истома.

Эугениус и Бируте возвращались на взмыленном жеребце.

Привстав на дыбы, конь как вкопанный застыл у калитки. Лоснилась черная шерсть, и клочья пены висели на удилах.

Они соскакивали с высокого трона, увенчанные ромашками, одуванчиками или чебрецом.

Она смотрела с крыльца, со двора или сквозь пыльное стекло и совсем не обижалась.

Когда гуляла с мальчиком и рассказывала сказки, то в сказках этих жил-был королевич, темные кудри, серые глаза, а принцесса все заплетала и заплетала кончики распустившихся кос. Она была в соломенной шляпке с лентой.

Свадьбу сыграли шумно, весело. Было много гостей. Да что ей гости!

Вскоре в доме напротив появился на свет маленький Эугениус — Генюс.

А сирень цвела и цвела каждую весну. Хотя бы один раз не зацвела.

С каждым днем все крепче прижимала она к сердцу хозяйского мальчика — ее мальчика. Так же крепко, как Юозукаса по воскресеньям в избе Ятаутасов.

И рассказывала сказки, каких никто больше не знал. И отвечала на все вопросы: на те, что задавал, и на те, что не задавал.

— Видишь? Это господин Эугениус.

— Видишь? Это госпожа Бируте.

— А малыш? Видишь? Это их сынок Генюс.

Тогда мальчик спрашивал:

— А где же твой муж?

— Мне не нужен... — отвечала она.

— Не нужен? Почему?

— Куда уж мне!.. У меня есть ты и еще кто-то... Подрастешь — скажу.

— Хорошо, что у тебя нет мужа. Он бы только мешал нам. Пришлось бы одну сказку мне рассказывать, а другую — ему...

Потом, после первого знакомства через щель в заборе, она ходила со своим мальчиком на соседний двор либо Генюса к себе приводила, и дети играли.

Бывало, возьмет малыша, прижмет его к сердцу и тут же отпустит.

— И меня и меня! — кричит ее мальчик, карабкаясь к ней на колени.

— Конечно, и тебя, и... — не договаривает она.

Если бы еще и Юозукаса был здесь!

Не с чердака уже, не сквозь пыльное стекло, а с крыльца или со двора все так же любила она смотреть на господина Эугениуса и госпожу Бируте.

Глаза у нее в такие минуты были какие-то странные.

Что в них было, в ее глазах?

А весной распускалась сирень.

В белых, в фиолетовых гроздьях, верно, были и цветки с пятью лепестками. Верно, много счастья было.

А летом пахло липой. И в желтых развесистых деревьях гудели пчелы. Они собирали мед. Липовый.

— Нет, — ответила она, — я не жалела.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Генюс был курносый, синеглазый, с белой кудлатой головенкой, в мать. Все трое — нотариус, Эугениус и Бируте — сидели на длинной пароконной телеге, нагруженной вещами, и обнимали Генюса.

— Быстрее бы уж, что ли, — время от времени бурчал крестьянин, перебирая вожжи и стараясь глядеть только на лошадей.

У него свои заботы. Недосуг. До станции и так пятнадцать верст. А его остановили на окраине города, коротко и ясно приказали:

— Езжай!

Ладно, он приехал, он и уедет. Только чего там ждать?

— Побойстрой бы уж, что ли...

Торчи здесь, прохлаждайся с парой лошадей.

— Тпру! Чтоб вас черти...

Она протянула руки.

— Поди сюда, Генюс, поди ко мне.

На телегу вскочили двое в форме.

Наконец-то крестьянин крикнул:

— Но-о-о!

Он отпустил поводья, выпрямился, покрутил вожжами над головой, и пароконная телега затарахтела по мостовой.

Она махала рукой. И Генюс. И те — с телеги.

— Он очень любит... — крикнула, привстав, Бируте, но не докончила, не досказала, уткнулась в узел и дала волю слезам.

Генюс тоже заплакал.

Ее мальчик все время тихо стоял рядом.

— Они далеко поехали? — спросил он.

Она ничего не ответила.

— А куда? — спросил мальчик.

— Молчи! Бери Генюса, и ступайте играть.

Мальчик взял Генюса за руку и сказал:

— Идем, я тебе дам свою большую лошадку.

Напротив был дом нотариуса. Двери, окна нараспашку. Двор не убран, все разбросано.

Почему она взяла Генюса?

Мало ей своих — мальчика и Юозукаса?

Прошлым летом звенящий грохот заглушил гудение пчел в липах.

В город вошли танки с красными звездами по бокам.

С танков широко улыбались молодые парни, а девушки бросали им цветы.

Одни говорили:

— Советская власть!

Другие:

— Русские пришли...

Она не сразу поняла, что такое Советская власть и что значит — русские.

Правда, волостного старшину скинули.

Люди пели на улицах «Если завтра война», «Катюшу»...

Были выборы.

Она тоже голосовала.

Объявились комсомольцы, а ребята повязали красные галстуки.

Хозяева спросили ее:

— Ты останешься у нас? Мальчик так привязан...

Правда, господа-соседи стали здороваться с ней на улице.

Владелец «МАНУФАКТУРЫ» сказал:

— Видите? Я же вам еще тогда говорил, в старые, кровавые времена: такую красивую барышню кто угодно возьмет в служанки. И взяли. Помните?

Она помнила.

Вскоре пришла мать. Первый раз за столько лет. Они сидели на крылечке, молчали. Слишком долгой была разлука. Общим взгрустнулось. Так и должно было быть.

Но потом мать не выдержала.

— Землю дали... — Ее лицо посветлело. — Может, домой вернешься, дочка? Я сама бы, может, и не пришла. Отец послал. И Юозукаса взяли бы...

Отец?

Хорошо, что дали землю.

Нет, она не хочет домой. Вот кончится лето, снимет себе комнатку в городе, привезет Юозукаса. Мальчик-то с прошлого года в школу ходит, пора и Юозукасу. Нет, она мальчика не бросит. Разве не

своим молоком выкормила? Не на своих руках выносила? Разве он ей не так же дорог, как Юозукас? И сама ведь даже не знала. А недавно пошла с ним на речку. Мальчик только плюх в воду, нырь — и нет его. Минуту нет, другую... Она туда-сюда по берегу. Нет мальчика. Только потом уже разглядела в кустах лукавую глазастую рожицу. Подбежал, бросился к ней на шею, сам весь мокрый, руки синие. Прижала к себе мальчика...

— Напугал? Ну, скажи, напугал?

Хотела шлепнуть раз-другой по мягкому месту, да рука не поднялась.

Заплакала она.

Заплакала, скрывая слезы и все сильнее прижимая мальчика к груди...

Она снова посмотрела на детей. Они играли с большой лошадкой ее мальчика. Генюс — курносый, синеглазый, беловолосый — весь в мать.

Мало у нее детей?

Зачем еще Генюса взяла?

Мальчик, играя с Генюсом, то и дело поглядывал на нее.

Она не ответила на его вопрос, и он снова повторил:

— Куда? В Сибирь? А почему?

Известно, почему: нотариус — первый богач в волости, два имения, батраков сколько... Но она молчала.

Стояла вчера на улице перед добротным, каменным домом с красной крышей и стеклянной верандой. (Когда-то стучалась сюда, как же!) Смотрела, как увозят семью исправника. Такая же пароконная телега у ворот и крестьянин, спешивший домой.

— Побейте же бы уж, что ли...

Потом снова:

— Тпру! Чтоб вас черти...

Никто не помогал. Сами выносили пожитки и грузили на телегу. Под конец взгромоздили диван, тяжелый, с круглыми подголовниками. Может быть, тот самый?

«И ради этого подняла меня с дивана?»

«Папа! Сначала корову?»

«Сам увидишь, что не так-то просто найти служанку!»

«Ма-ма! Можно будет звать ее девка-жидевка?»

Как люди без исправника жить будут?

Она стояла вчера перед домом со стеклянной верандой и не двинулась с места, пока те не погрузились, не взобрались на вещи и крестьянин, облегченно вздохнув, не крикнул:

— Но-о-о!

Медлить нечего. До станции пятнадцать верст.

Она стояла, не двигаясь, как каменная, пока телега не скрылась за поворотом.

А сегодня такая же подвода остановилась возле дома нотариуса. Было время — была бричка, как трон. Нынче — подвода. Еще бы веревку, шест — и можно сено или рожь грузить. Была когда-то бричка, как трон. А еще раньше были кудрявые волосы и серые, как у Пятраса, глаза.

Она и сегодня смотрела издали, затем подошла поближе, еще ближе, вытянула руки:

— Поди сюда, Генюс, поди ко мне.

Потом, опустив голову — давила скрученная жгутом толстая коса, — ждала, пока они простятся с ребенком.

— Поди сюда, Генюс, поди...

Взяла ребенка, будто своих было мало — и Юозукас и мальчик.

Но попросили — и взяла.

Мальчик сказал Генюсу:

— Ты теперь всегда будешь играть со мной, ладно? У моей лошади грива, как у настоящего коня, видишь?

Она покормила детей. Потом сказала хозяйке:

— Я сегодня у нотариусов переночую, ладно?

Сегодня...

Она еще сама не знала, что теперь будет. Ведь она не хозяйка.

Генюс озирался в родном доме, где все было так странно.

— Тетя, почему они не возвращаются? Почему все разбросано?

Убирать не стала, только притворила окна, двери и разобрала широкую постель, на которой, должно быть, спали Эугениус и Бируте. Укрыла Генюсу, уже и сама собралась вытянуться рядом, но точно сильная рука удержала ее, не позволила. Постелила себе на полу, рядом с кроватью.

Хотела подумать, что же будет теперь, куда девать ребенка, как вдруг услышала скрип двери, потом шаги. Вспомнила, что не заперла ни одного замка, натянула платье и вышла посмотреть.

Зажгла свет.

Перед ней стоял рослый, плечистый мужчина. Он смотрел на нее сверху вниз.

— Весь день ждал, пока стемнеет, — сказал он. — Сюда, небось, никто уже не заявится, а?

— Наверно...

— Известное дело, раз увезли, значит, не придут больше. А ты не выгонишь?

Промолчала.

— Мне бы на несколько дней, пока все уляжется. Потом найду себе. Ну?

Снова ничего не ответила.

— Стариков моих выслали. Может, хочешь, чтобы и меня?

Кто он, этот человек, который стоит перед ней и смиренно просит приютить его? Кто?! Неужто Антанас Бёрнотас?

Он шмыгнул носом.

— Я ж любил тебя... Мое дитя растишь...

— Молчи! — ответила она.

Медленно оглядела его с головы до ног.

Юозукас, бывает, провинится и тоже так стоит: руки опустит, ноги сдвинет и голову набок.

— Когда уйдешь?

— Да через несколько дней, а может, и раньше.

Она показала ему на диван и пошла запереть дверь.

— Погоди, — сказал он, — может, лучше не в доме, а? Может, в сарай пойти?

Отыскала в прихожей старое пальто, платок, еще что-то.

— Идем.

На дворе осмотрелась.

Никого.

Ни живой души.

Антанас бросил одежду на ровно сложенную поленицу. В темноте снова оживился.

— Слушай... Может, останешься, а? Что ни говори, баба ты ладная!

Потянул ее за руку.

Резко оттолкнула его и вышла из сарая.

— Ну-ну! — услышала вдогонку.

Что-то подступало к горлу, подымалось все выше и выше. Она вбежала в комнату, села на пол, там, где постелила себе, и чувствовала, что сейчас заплачет.

На кровати зашевелился Генюс.

— Я боюсь один, — тихо проговорил он. — Ты так долго не приходила.

Слова не могла вымолвить.

Зачем она взяла ребенка?..

— Они еще не скоро вернуться?

Она молчала.

— Теперь ты будешь моя мама?

Протянула руку, погладила его белые волосы и с трудом проговорила:

— Спи...

Он лег, укрылся и затих.

Она еще боялась признаться себе, что не приведет Юозукаса, не ходить ему в школу еще по крайней мере год, пока этот не подрастет немного.

Что-то подымалось, подступало к горлу. Она ткнулась в подушку и всхлинула.

— Нет! — сказала она. — Я не могла понять.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Ее неотступно мучила одна и та же мысль: «Зачем я пошла в деревню?»

Пошла в субботу, а в воскресенье — война.

«Зачем я пошла в деревню?»

Эта мысль точила, грызла и не давала покоя.

Снова цвели липы. Желтый запах перебил черную вонь пожара, неистребимую, стойкую, как смрад над болотом.

Что прежде всего человеку надо?

Поесть.

«Он, небось, голодный, мой мальчик. Зачем я пошла в деревню?»

Не уйди она, все было бы иначе. Может быть, хотя трудно сказать... Что, не нацепили бы на евреев желтые звезды? Что, не загнали бы в лагеря, мужчин отдельно, женщин с детьми и стариками отдельно?

Нет, нет! Ничего бы не изменилось, разве ей одной сладить?.. Нет. Но мальчика она бы оставила при себе, как оставила Генюсу. Она бы кормила его: такому мальчику, который в прошлом году пошел в школу, такому растущему человечку первым делом надо поесть.

Если бы она не ушла в деревню!

Если б хоть дождалась воскресенья, как обычно.

А то ведь ушла в субботу, захватив с собой Генюсу. Думала с Ятаутене посоветоваться.

А в воскресенье — война.

Хотела сразу же обратно бежать. Да не пустили ее: здесь как-никак было двое детей, а там, в городе, — один только мальчик, и с отцом, с матерью.

Но когда вернулась, было уже поздно.

Искала, искала повсюду — только где уж там найдешь, если им всем велели нашить желтые звезды (почему желтые и почему звезды?), отделили мужчин и угнали за город, в лагерь.

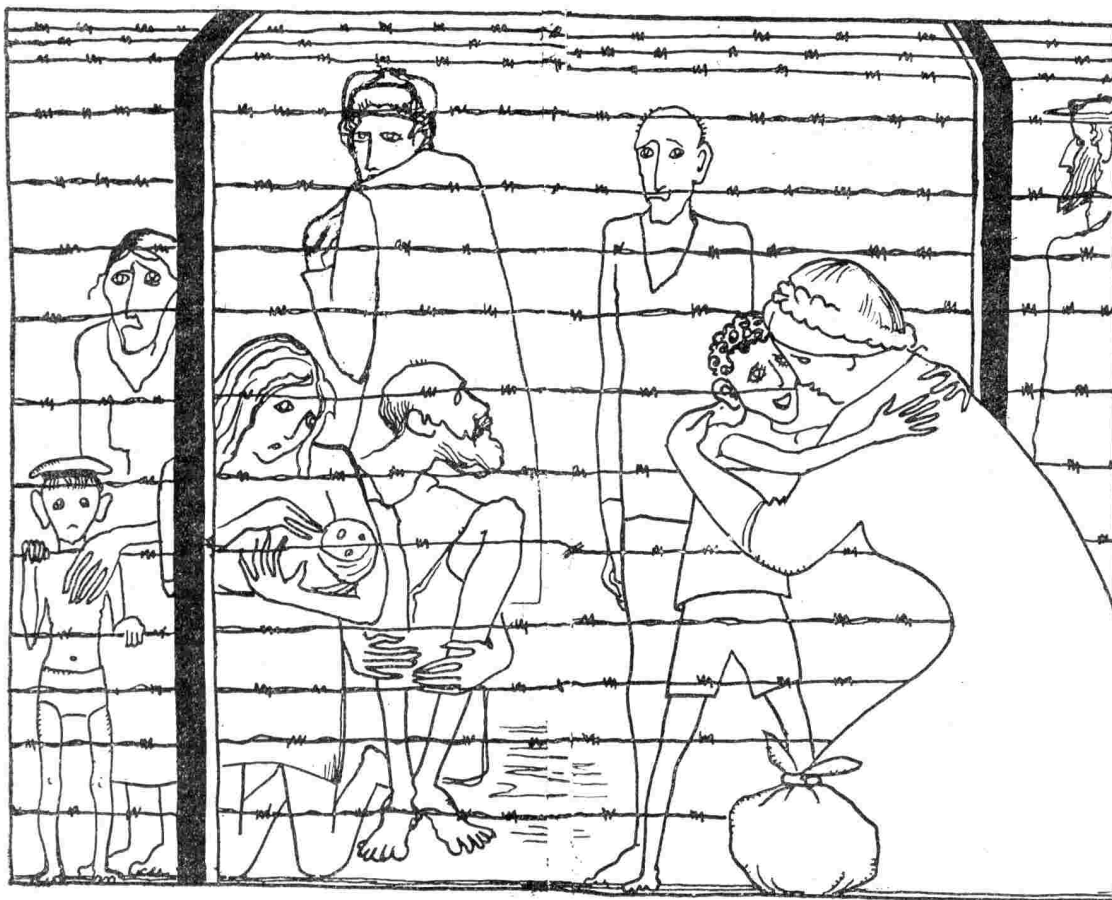
Что это такое — лагерь?

Слыхала, что там не только они — с желтыми звездами. И литовцы-коммунисты и пленные русские.

Ее мальчик, наверно, голодный...

Она поселилась в покинутом доме при кузнице. Ей рассказывали: до того, как угнали в лагерь, здесь прятались ее хозяева с мальчиком.

Она собрала все, что было у нее: большую краюху хлеба, шмат сала, два яйца, надергала в брошенном



огороде моркови, круглой, гладкой, сахарной, с тупыми концами.

Только придя на место, увидела, что такое лагерь. Одинокaя усадьба, обнесенная проволокой-колючей. Большая клетка, где не звери, как в цирке, а люди. И многие отмечены желтыми латками, чтобы их не путали с прочими.

Она зашла с поля, подкралась к изгороди, где не видно было часовых, присела в крапиве, не чувствуя, как жалит босые ноги, и увидела своего мальчика.

Она тихо звала его по имени. Он удивленно ози-рался, пока не столкнулся с ней глазами.

Мордочка исхудала, совсем не лукавая, только почернел весь — может, загорел на солнце.

Она вытянула руки, и он бросился в ее объятия, только оба наткнулись на проволоку: она руками, а он лицом.

— Ты нашла... — тихо шептал он, вцепившись в изгородь, прижавшись к шипам. — Видишь... пришла... Я тебя все время жду...

Она развязала узелок.

Отламывала ржаной хлеб из муки грубого помола и просовывала ему по кусочкам через изгородь. На них смотрели десятки глаз, и она поняла, что принесла мало. Только одному.

Она старалась не видеть остальных, хотя их глаза так и кололи. Не видеть! Все равно у нее больше нет. Достала морковку, самую крупную. Протянула ему, но тут же отдернула, стерла землю ладонью и протянула снова. Он схватил обеими руками, отку-

сил и стал мелко-мелко жевать, а глазенки блестели, и желтый морковный сок стекал из уголка рта.

В этом исхудалом, почерневшем личике, в этих блестящих глазках, в иссохшем теле мальчика было все ее материнское молоко и половина материнского тепла ее рук.

Потом она убежала.

— Я приду... приду... — сказала мальчику.

Она бежала.

«Зачем я пошла в деревню... Господи!..»

Она все оборачивалась и видела большую клетку из колючей проволоки, и людей в этой клетке, и своего мальчика.

Надо было спешить.

Она перебралась через канаву с водой, вязкую, глинистую, и устремилась по дороге. Надо спешить. В деревню. Привести Юозукаса и Генюса. Теперь нельзя врозь. Если люди в клетках из колючей проволоки, то врозь уже нельзя.

Сейчас ее терзает мысль: «Зачем я пошла в деревню?» А вдруг потом будет мучить еще одна: «Почему я не пошла тогда в деревню?»

Она бежала, потому что надо было спешить.

Она приведет детей из деревни, потом пойдет выручать своего мальчика. Будет просить, в ноги бросится, и его отдадут. Зачем он им? Худой, с почерневшей рожицей и блестящими глазами...

Навстречу ехал велосипедист.

Она посторонилась, но велосипедист остановился, слез на дорогу, высокий, плечистый.

— Куда тебя несет нечистая сила?

Она подняла голову.

— Может, не узнаешь уже, а? — снова спросил Антанас.

Белая повязка на рукаве; за спиной — немецкая винтовка.

— Не у них ли была? А? Ты, видать, совсем объеверилась! — Он осклабился.

Она молчала.

— Такая баба! В зеркало на себя глянь. Тебе пожить бы хоть раз! Пробегут годочки, не вернешь. Небось, только клеть и можешь вспомнить, больше нечего. А?

Он был пьян и речист.

— Где живешь теперь?

Она сказала.

— Загляну, может, как-нибудь, а? Жди! С подарками, не бойся. Колечко там с камешком или серьги. Золотые!

Момент был самый подходящий. Надо только попросить его. Снова просить, как когда-то. Надо... Зачем им мальчик, худой, почерневший? Кому понадобился?

Она подошла поближе и уже было раскрыла рот, но тут он глянул сверху вниз, как всегда, и бросил:

— Жалко тебе их, что ли? А тебя когда-нибудь пожалели? Ну?

Увидела стальные глаза и холодное лицо. Как тогда, возле усадьбы, когда на коленях ползала, обняв его ноги.

Нет, не надо Антанаса просить.

Лучше любому немцу поклониться в ноги.

Лучше уж немцу!

И она поклонилась.

Только сперва детей из деревни привезла. А то не ровен час потом будет грызть и грызть себя, изводиться мыслью: «Почему я не пошла тогда в деревню?» Когда люди в клетке, нельзя порознь.

Привела детей и отправилась к немцу на поклон.

Долго ходила, обивала пороги, пока не допустили ее к коменданту города.

Она стояла перед большим столом на слоновых ножках, но стояла далеко, у самого порога. Немца совсем не видела, только широкий жгучий рубец на правой щеке.

— Was? Was willst du?!

И захохотал.

Ему было ужасно смешно. Даже слезы выступили на глазах.

Он поманил ее пальцем, приглашая поближе. Потом подошел сам, оглядел ее всю, улыбаясь. Не слушал, что она говорит.

— Ach, so!

Двумя надушенными пальцами приподнял ее подбородок, затем похлопал по круглой щеке. Он смотрел на ясные, синие глаза, на тяжелую косу, уложенную на голове, и высокую грудь.

Он хлопнул в ладони, и явился еще один.

— Скажи ей: я не любитель молодого вина. Скажи, что мне нравятся женщины в соку. Зрелые! — Он легонько щелкнул пальцами. — Ничего, если даже чуть-чуть перезрелые... Тогда и вишня самая сладкая.

Она смотрела на немца, а грудь вздымалась высоко и часто, ловя ускользающий воздух.

— Скажи ей: пусть вечером придет ко мне... убрать комнаты.

Она снова почувствовала мальчика в своих объятиях, как тогда, у реки, когда в кустах мелькнула лукавая рожица, когда он выскочил весь мокрый и прижался, обхватил ее шею посиневшими руками, а она сидела, плакала, и рука не подымалась шлепнуть его хотя бы несколько раз.

Ведь это ее мальчик, родная плоть!

Она сумеет накормить его.

Человеку первым делом надо поесть.

Теперь они будут все вместе: трое ребятишек и она.

Та ночь была, наверное, самой длинной.

Немец вскоре уснул и захрапел, только багровый рубец горел на правой щеке. А она не могла сомкнуть глаз. Разве могла она?

Но подняться и уйти тоже не могла, надо было дожидаться утра, получить бумагу, чтобы вырчить мальчика. Без бумаги ведь никто не поверит. Разве Антанас поверил бы?

Теперь уже не так тяжело было: «Зачем я пошла в деревню?»

Теперь уже не страшно: «Почему я не пошла тогда в деревню?»

Теперь они будут все вместе: трое ребятишек и она.

Утром она терпеливо ждала, пока немец умывался, пока пил кофе с белой поджаристой булочкой, пока сел за стол и взял большой лист бумаги, пока выводил медленно, букву за буквой, все поглядывая на нее, поникшую у дверей.

Он аккуратно сложил белый лист, сунул в синий конверт, заклеил. Потом неторопливо встал из-за стола, подошел к ней, протянув этот конверт и улыбаясь.

Похлопал ее по плечу.

— Ты есть ксиф, но, — немец виновато нагнул голову, — но не ошень... Немношко, немношко не интегесный женщин. Nein, nein! Все gut! Больше пгидит не нушен, nein!

Она ничего не слышала.

Она смотрела на синий конверт.

А потом поклонилась, получив его, и убежала.

Она спешила за город, бежала прямо в лагерь. Ей повезло. Даже до лагеря не пришлось бежать. Сразу за городом, возле кузницы, где она теперь жила, увидела длинную вереницу людей, утопавшую в дорожной пыли, а вокруг белоповязочников с винтовками. Она не вдруг поняла, что это они, из лагеря.

Господи боже мой, успела...

Ведь могла опоздать!

Гос-по-ди бо-же мой!

Успела!

Кто знает, куда их снова гонят? Говорят, будто в Люблин, на работы. А где он, этот Люблин? Наверное, очень далеко.

Успела.

Она остановилась. Перевести дух и дожидаться.

Глазами она уже нашла своего мальчика.

Впереди колонны по ступицу в дорожной пыли плыла бричка. В ней восседал какой-то рябой, должно быть, главный над ними. Она кинулась к бричке, ухватила за сиденье и показала синим конвертом на мальчика.

— Вон тот... Тот, видите? Господин комендант позволил взять!

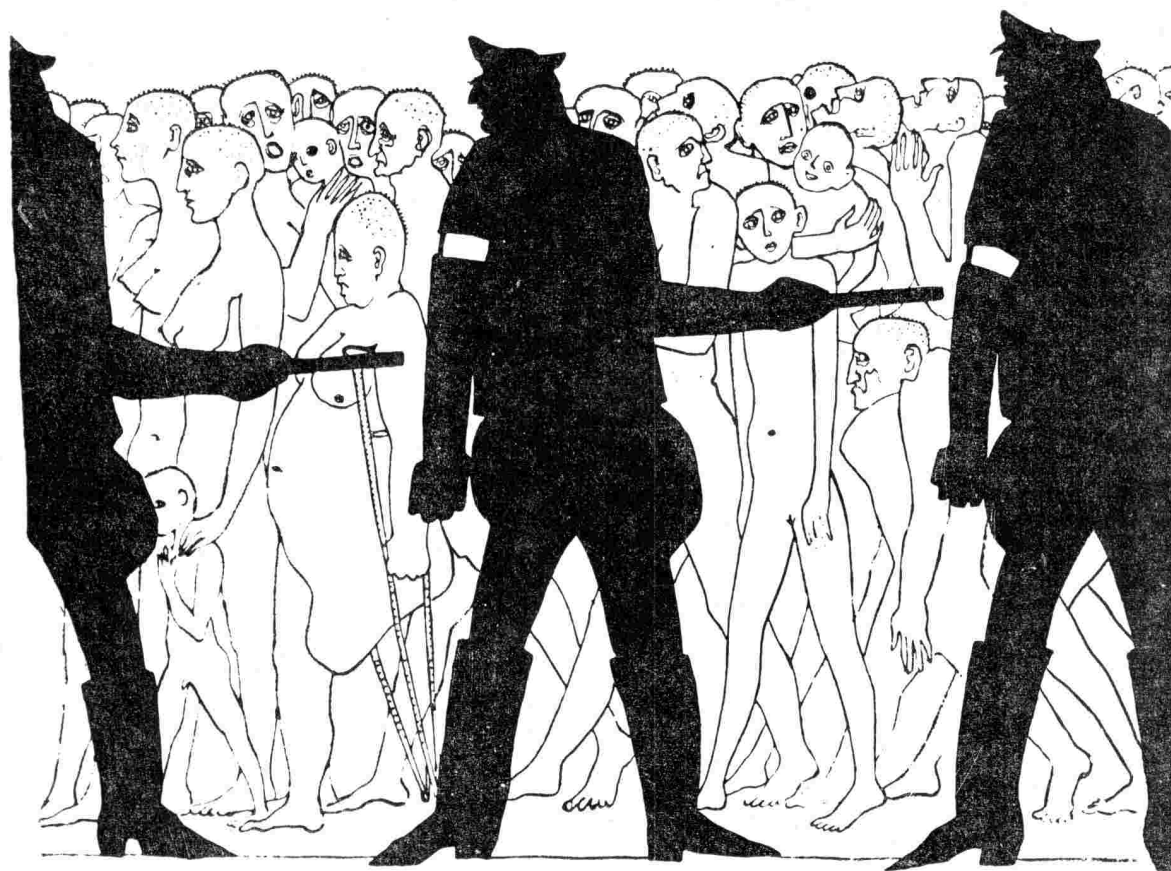
— Что?!

— Вот бумага... Сам написал и еще в конверт заклеил...

Она подала ему конверт.

Рябой вскрыл, осторожно расправил белый лист, быстро пробежал глазами и расхохотался. Он хохотал, схватившись за живот, комкая белый лист. Потом передал его идущему рядом, тот прочел, передал другому, а она бежала следом, натыкаясь на белые оскаленные зубы и гогот.

Бумага обошла вокруг всей колонны. Она чуть жива нагнала бумагу и снова ухватила за сиденье.



— Отдайте мальчика... Самый главный, комендант позволил...

Он нагнулся к ней, брызгая слюной в самое ухо.

— А ты знаешь, что положено за укрывательство жида? Пуля... Пулька...

Он тыкал дулом ей в живот:

— Пуф! Пуф-пуф!

Потом сунул ей в руки измятый белый лист и гаркнул:

— На, и брысь! Чтобы духу твоего тут не было! Марш!

Она взяла бумагу и отступила на обочину.

Буквы сливались перед глазами. Никак не могла сложить из них слова. Потом вытерла пот, щипавший глаза, и снова расправила лист. Наконец прочла: «Сказат ей: ошен не карашо убираль комнат».

Тут и она захохотала.

Долго стояла по колено в дорожной пыли и хохотала, а потом, как прибитая собака, поплелась за колонной. Она шла сзади всю дорогу, через весь город, через имение, до самого гумна, пока люди, притаившиеся за деревьями, не задержали ее.

А с гумна женщин и детей гнали небольшими партиями по большому зеленому лугу к соснам, к ямам, откуда брали гравий, и ее мальчика тоже угнали, а возвращались оттуда только белоповязочники, чтобы снова гнать. И гнали снова, и от сосен, из карьера, доносился беспорядочный треск пулеметов, автоматов и винтовок, и весь ближний сосновый бор вторил на десятки ладов, совсем не так, как эхо.

И люди уже поняли.

Только она не могла понять.

Что? Убивают?!

Нет!

Ее материнское молоко?

Материнское тепло ее рук?

He-e-er!

— Нет!!! — крикнула она.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Коса распустилась, разметалась по плечам, морщины, вдруг прорезавшиеся у глаз и рта, стянули, скомкали все лицо.

Она пыталась крикнуть и все не могла. Наконец не из горла, а откуда-то из самого нутра вырвалось:

— По-го-ди! Антанас, погоди!

— Ну-у-у! — отозвался Антанас.

Он сел на большой камень во дворе, и тот, второй, немец, тоже уселся на камень. Поставили автоматы между ног.

Юозукасу велели сесть рядом. Он присел, испуганно поглядывая то на этих двоих, то на мать, морщинистую, с растрепанными волосами. Он пошевелил рукой — ее стягивал тонкий шнур. Один конец был привязан к его руке, другой — в руках Антанаса.

Она ничего уже не хотела, не могла сказать; только еще раз вырвалось, теперь уже тише:

— Погоди...

Она стояла перед ними, а в голове, в сердце, в руках — повсюду, словно молотом, выстукивали два слова: «Как быть? Как быть? Как быть?»

Возвращаясь от имения, она шла мимо деревьев, мимо гумна, за которым сосновый бор на сотни ладов вторил грохоту выстрелов. Все шла и шла, не останавливаясь, оступаясь в горячей дорожной пыли. Шла обратно к лагерю. Она должна была убедиться: правда ли, что там уже пусто? Может, ей померещилось? Может, они все еще там, за колючей проволокой? Может, она снова протянет руки к своему мальчику, а потом сумеет просунуть меж колючек розовую сладкую морковку?

Она бы шла и шла так, если б ее не окликнули.

— Тетя...

Она продолжала идти.

— Тетенька...

Остановилась, прислушалась.

— Тетенька, подождите...— донесся приглушенный голос из придорожных кустов, и она повернулась туда.

Затравленно озираясь, из кустов вылез мальчонка лет десяти, а может, двенадцати.

— Тетя... Уже не надо прятаться?

Он тихо спрашивал, и она увидела желтую звездочку на его груди и сама начала испуганно озираясь.

Перепрыгнула через канаву, потащила его в кусты и хотела содрать звезду с рубашки. Да спохватилась, что руки заняты: все еще крепко сжимала измятый лист.

«Скажут ей ошен не карашо убираль комнат».

Хотела бросить бумагу, но та прилипла к влажным рукам. Тогда опустилась на колени и принялась зубами сдирать звезду.

— Их далеко погнали? Они вернутся? — спрашивал мальчик.— Куда пойти, чтобы мои нашли меня, когда вернутся?

Наконец она сорвала обе латки, выдернула нитки, чтобы даже метки не осталось.

— Пойдем. Со мной. Они вернутся... Найдут...

И вот она стояла, простоволосая, с растрепавшейся косой. Стояла перед Антанасом-белоповязочником, перед немцем, лузгающим семечки, и перед своим Юозукасом.

Как быть? Как быть? Как быть?

— Ну!

— Погоди...— просила она.— Погоди еще, Антанас...

Содрав звезды, она крепко взяла мальчонку за руку.

— Идем. Они вернутся... Найдут...

— А нам можно по улице?

У него были русые волосы, ясные серые глаза.

— Да... Верно... Пойдем огородами...

Был уже вечер, и она спешила. Могли закрыть костел. Высокий, красного кирпича, он был виден

издали. Обошли улицу огородами, потом дворами и поднялись по узкой боковой лесенке на костельный двор. Она подумала: можно ли оставить здесь ребенка, пока ходит в настоятельский дом и вызовет ксендза? Побоялась оставить одного и уже было хотела вести мальчонку с собой, как вдруг увидела старого алтариста¹, потихоньку бредущего вокруг костела.

Обрадовалась.

Восславив Христа, поцеловала худую старческую руку, стала просить:

— Может, окрестите ребенка... Прямо сейчас, вот сразу...

— Такого большого?

Она опустила голову.

— А «Отче наш» знает?

— Не знает... Научится, потом выучим... Можно прямо сейчас, сразу?

— Мгм... мгм... Бывало и такое. Крестили... Еще один агнец в господне стадо. Обождите. Посмотрю, ушел ли ризничий. И викарию тоже лучше не знать. Он удалился, шурша обтрепанными полами длинной сутаны, потом позвал — поманил пальцем.

Никого больше не было, только они трое.

— Во имя отца, и сына, и святого духа... Наречем-то как? Имя, имя говори...

Она сама не знала.

И мальчик не знал.

Он поднял на нее глаза, прозрачно-серые, и она сказала:

— Пятрас... Пятрюкас...

— Во имя отца, и сына, и святого духа... А по отцу как?

— Сын Пятраса.

— Отныне ты Пятрас, сын Пятраса, и да поможет тебе всеблагий... Только молитвам обучись.

— Ну?

Антанасу было невтерпех.

— Долго нам тут сидеть? Долго цацкаться с тобой? Ты нам руки-ноги целовать должна, что саму не тронули. А может, забыла, что положено за укрывательство? — Он усмехнулся.— Девка... В ногах у меня должна валяться за то, что сжалился.— Снова засмеялся.— Я говорил! Придет коза к возу! Ну? Пришла? Хо-хо-хо... Да теперь-то меня не

¹ Алтарист — ксендз, который по старости уже не ведет костельную службу.



купишь. Я за Гитлера, за власть стою.— Он повернулся к немцу.— А?

Тот, ничего не поняв, одобрительно кивнул и сплюнул шелуху.

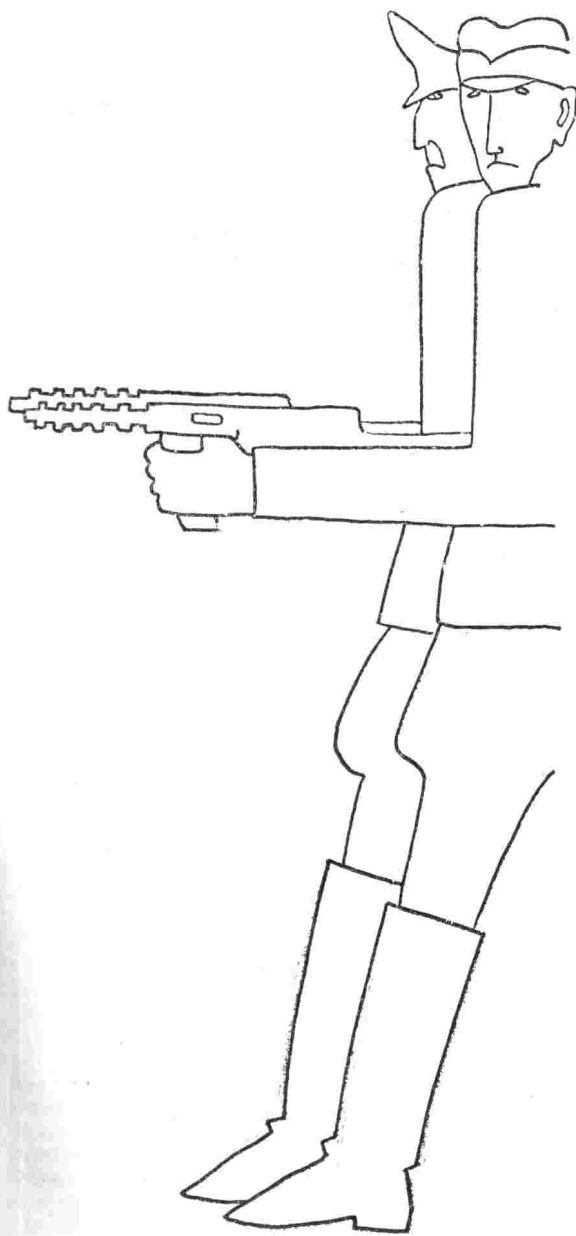
Был, совсем недавно был у нее Антанас.

От него за версту разило самогонным перегаром, когда ввалился в комнату.

— Принимай! Говорил, приду — и пришел!

Навалившись на стол, порылся в карманах и вытащил горсть драгоценностей.

— Выбери! Говорил, с подарками приду — вот они!



Она смотрела на кольца, с камешками и без камешков, на цепочки, белые и желтые, на тяжелые серьги, рассыпавшиеся по столу.

— Выбери! У батки твоего, у сопливого, снова землю забрал... Моя власть теперь... Моя! И работать ни к чему. Пускай батраки да пленщики работают!

Она пятилась от него и от драгоценностей, лежавших на столе.

— Выбери! Моя власть, а? Можешь опять в ногах валяться, чтобы замуж взял. А может, и возьму, а? Ладная ты баба... Хозяйкой в усадьбе будешь. Поди сюда, соскучился я по тебе. Вот провалиться мне на этом месте, соскучился... Выбери!

Она пятилась, а он приближался, загонял ее в угол.

— Может, и люблю тебя, кто знает?

— Уйди... — ответила она, понурив голову.

— Что?

— Уйди... Убью... — сказала она, сжимая в руке железный шкворень.

— Ты... меня... гнать? Меня... с подарками? Ты... немцу... просто так... за жиденка?! А мне, литовцу, отказываешь!..

Он по-прежнему приближался, сгорбившись, с полусогнутыми руками, норовя схватить ее в охапку.

Тогда она подняла тяжелую руку со шкворнем.

— Убью... — сказала.

Он вдруг поверил и отступил. Полятился к двери, потом повернулся, сгреб со стола добро, спрятал обратно в карман и вышел, грозясь:

— Ты... Со мной так?! Будет время... Придет коза к возу! На голых коленках, как миленькая, приползешь!

Немец нагнулся, потом выпрямился, снова присел, склонив голову. Пригнувшись, на цыпочках прокрался в огород и выхватил что-то из-под широких листьев. Сдул землю...

— Ха-ха! Das schneckt herrlich! — И в крепких челюстях хрустнул зеленый огурец. — Los, los, — говорил он, смачно жуя.

— Ну? — снова спросил Антанас, улыбаясь. — Видишь, идти надо. Зовет. А то, может, еще побрежешь?

Он дернул шнур, и Юозукас вскочил.

— Будто сам не вижу: кузнеца парнишка...

Антанас снова дернул шнурок, и она поняла, что все равно уведут, не отпустят Юозукаса.

Хотела опять просить:

«Погоди... Погоди еще, Антанас...»

Но он встал с камня, а немец покрикивал, махал рукой и прямоком через огурцы шагал к дороге.

Тогда она крикнула:

— Твой! Твой ребенок, Антанас!

Он разозлился не на шутку.

— Тыфу! Ври! Ври больше! Будто я сам не вижу... Смотри, чернявый какой. И нос горбатый.

— Ведь это у тебя нос горбом, у тебя! — снова кричала она.

— Рассказывай...

Тут ему в голову пришла отличная мысль.

— Ну покажи того, если не врешь. Где другой, покажи, ну?

Она точно приросла к земле — не могла двинуться с места.

— Где это видано, чтобы дитё родное за какого-то черномазого отдать, хо!

Ему было весело. Отличная мысль и, главное, вовремя пришла в голову!
Он дернул шнур.

А в самом деле...

А в самом-то деле как?..

Она увидела, как они шли к кузнице, эти двое, и велела Пятрюкасу бежать на чердак. Велела спрятаться в углу, за всякой рухлядью, и не вылазить оттуда, что бы ни было.

В самом деле... Не может ведь она, не может отпустить Юозукаса. Уведут, сейчас уведут ребенка, и не вернется больше. Никогда! Она не может отпустить родное дитя в самом деле. Надо самой забраться на чердак и позвать Пятрюкаса. Как быть... Силы в человеке не бесконечные. Иссякают когда-то.

Да никак не могла двинуться с места. Так и приросла к земле.

Надо еще раз попросить Антанаса.

Надо сказать: «Погоди... Погоди, Антанас, еще немного... Пусть не торопится твой немец, пусть еще огурцы пойдут. Погоди...»

Но не в силах и слова вымолвить.

Она все глотала, глотала и никак не могла проглотить слюну: горло было сухое, как выжженное.

Она еще не видела, что Пятрюкас переступил порог избы.

Не видела, что Пятрюкас подходит.

Только почуяла, как ребенок прильнул к ней.

Она вскрикнула.

— Я пойду,— сказал Пятрюкас.— Ведь они меня ищут.

И он сделал шаг к Антанасу.

— Постой... Погоди...— простонала она.

Антанас посмотрел, прищурясь, и вдруг рассмехался. Ему можно было смеяться. Он оказался прав.

Показывая пальцем на Пятрюкаса, русоволосого, сероглазого, он со смехом орал:

— Вот! Этот мой! Этот! Вот он, чистый литовец, вот! Все вы брешете, да только не на того напали. Ганс! Ганс! — Немец обернулся.— Меня не проводишь, я за власть, за Гитлера! Что?!

Немец кивнул.

И тут она заметила, что Антанас выпустил шнурок. Выпустил из рук...

Она вся сжалась и крикнула Юозукасу:

— Беги, сынок! Беги!!!

Юозукас дернул рукой и бросился бежать. По огороду, через дорогу.

Бежал. Слава богу, бежал.

— Ха-ха-ха! — загоготал Антанас.— Ганс!

Немец тоже все видел.

Они одновременно приставили к животам приклады автоматов и открыли огонь. Крест-накрест. Очередь. Еще одна...

Юозукас споткнулся и вдруг исчез. Сразу за дорогой.

Они подошли. Сперва один пнул его ногой, потом — другой.

Антанас крикнул с дороги:

— Теперь забирай! Нам он больше не нужен!

Она оттолкнула Пятрюкаса.

Путаясь в недлинном платье, оступаясь, выбралась на дорогу, склонилась над сыном, встряхнула его окровавленную голову. Потом встала, упираясь руками в землю.

Она встала, вскинула над головой руки, измазан-

ные землей и кровью, и смотрела на мир черными, полными ненависти глазами.

Она молчала.

Она ничего не видела.

Но ее черные глаза, ее стиснутые пальцы, измазанные землей и кровью, извергали черное проклятие.

Проклятие!

Проклятие.

— Нет,— ответила она,— это дважды не бывает.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Чудно.

Больно чудно уж.

Кто бы мог поверить?

И снова была весна, и цвела сирень. Белая, фиолетовая. Ее было полно вокруг усадьбы — все кусты и кусты: бело-зеленая, фиолетово-зеленая.

Теперь уже дети искали счастье.

Прибежали оба, и Таня с ними.

— Бери, мама,— первым подошел Пятрюкас, медленно, протягивая руку.

— Бери, мама,— тянулся Генюс с цветком из пяти лепестков.

— Тетенька, возьмите...

Это принесла свое счастье Таня — голову нагнула, а сама поглядывает исподлобья: возьмет тетя или нет. Вдруг не возьмет?.. А ее цветочек самый красивый.

— У меня шесть лепестков,— говорит она, все еще не подымая головы.

Почему ж не отнесет цветок своей матери, Катерине?

Она взяла у всех троих, понюхала и вернула.

— Нельзя свое счастье другому отдать,— сказала. — Тогда уже и счастье не счастье больше...

Сказала и задумалась.

Так ли на самом деле?

Верно ли, что нельзя отдать другому? Тогда уже и счастье не в счастье?

Она кончила кормить свиней, чисто вымыла руки, потеряла песком, снова окунула в воду. И сама пошла за усадьбу.

Руки потрескавшиеся, пальцы толстые, неуклюжие, но она перебирала ветки, листья: все искала.

Виктор пригнал лошадей, соскочил на землю, подошел тихонечко, боясь спугнуть.

— Бог-помочь,— сказал, смеясь.

Она обернулась.

— Чего ищешь? — спросил он.

— Счастье...

— А его можно найти?

— Можно,— ответила она.

Чудно.

Больно чудно уж!

Невозможно верить, да придется.

Наступило лето, и зацвели липы.

Старая, развесистая липа, что росла на дворе, вдруг пожелтела, униженная усами комочками.

И, глядя на эти тысячи цветков, вбирая вместе с гудящими пчелами запах липового меда, можно было на минуту забыть про все.

Про все, что творится вокруг.

Чудно, когда в такую годину распускается по весне белая и фиолетовая сирень.

Больно уж чудно, когда в такую годину старая, корявая липа превращается летом в желтую и пахучую.

Она стояла, прислонившись к корявому стволу. Грубые пальцы ласково тронули ее за руку, погладили.

— Не надо... — сказала она. — Не надо, Витя...

И он снова, как всякий раз, отступил.

Не знал, что надо быть настойчивее.

Ведь она когда-то уже говорила так... Да, только было это давным-давно... Тогда, еще совсем молодой, говорила: «Не надо... Не надо, Пятрас...»

Она все еще стояла, прислонившись к липе.

В синем небе мерцали звезды, иногда они падали, словно далекая молния: прочеркнет светлую стезю и угаснет.

Может, это в последний раз цвела сирень? Может, больше никогда не будет пахнуть, как сейчас, липа?

Хорошо, что тогда, после кузни, отец встретил ее...

Она бежала из города и тащила за собой двоих ребят.

Куда ей было идти?

Она шла домой.

Пришла.

— Пришла?

Отец встретил на пороге, понурив голову.

— Что скажешь? — спросил. — Своих, что ли, мало, еще двух байстрюков привела? А может, и землю принесла? Или только убудюков?

И снова ушла.

Ходила по хуторам, искала работу, пока не появилась тут: сама батрачкой, а ребята пастухами. Заехала здесь хозяйина, старого очкастого холостяка и пленника Виктора, который управлялся со всей работой. Хозяин — то ли учитель из города, то ли еще кто — приехал мать хоронить, да так и застрял и сидит сиднем, не снимая жилетки, книги читает да к рюмке прикладывается. Всем заправляет его двоюродный брат, Лапкаускас, у которого свое хозяйство по соседству. То и дело приезжает на лошади, распоряжается. У него-то рука жесткая, хорошо, что только наездами, не все время здесь.

— Зачем бабу с пацанами взял? — кричал он, обнаружив новых работников. — Не хватало полон двор батраков набрать! Обьедят тебя, по миру пустят...

Но потом стих, когда увидел работу.

Вскоре сам привез Катерину с дочкой Таней и ржал, как жеребец:

— Вот тебе еще одна с ребятенком. Теперь работников хоть отбавляй! Даром дают, так чего ж не взять. Откормить надо будет малость...

И все поглядывал на ее лицо, хоть и осунувшееся, но красивое, гладкое, с маленьким носиком и большими глазами.

Катерина быстро прижилась в усадьбе. Быстро. Щеки враз порозовели, плечи округлились, раздалась в бедрах.

— Ты с хозяином, да? — спросила.

— Нет...

— Дура.

Катерина не стала дожидаться, когда хозяин постучится в клеть, — сама пришла к нему, без стука. И все хорошела, все наливалась, как яблочко. Вскоре и Лапкаускас стал наведываться почаще, уезжая за зарей, на рассвете.

— Какая женщина! — восхищенно говорил иногда хозяин.

Лапкаускас ухмылялся в усы и переводил разговор на другое:

— Ладно, ладно... А ты еще не одумался? В город не вернешься? Хозяйство на меня оставишь, и никаких забот — все равно ведь я все делаю. Не в школу, так еще где-нибудь устроишься. Теперь ведь всюду по-немецки требуется.

Хозяин вздрагивал.

Он снимал очки, долго протирал их белым носовым платком, щурясь, глядел на двоюродного брата.

— На немцев служить? Не буду. Ни за какие деньги.

Лапкаускас сплевывал и отходил к лошади, бормоча:

— Куда уж там... Интеллигент! Придет время — послужись... Как прижму с долгами, не отвертишься.

В синем небе мерцали звезды, изредка падали. Она стояла, прислонившись к липе, а он гладил ее руку.

— Не надо, не надо, Витя...

Если даже в такую годину желтеют, цветут деревья, то, может, и можно на минуту забыть все-все, что вокруг тебя?

Нет, нет! О чем она думала? Да, отец!.. Если б не отец, не повстречала бы Витю, не стояла бы теперь, прислонившись к дереву, а он не гладил бы ее руки. Последний раз ведь, последний! Не будет больше счастливых цветочков — ни белых, ни фиолетовых, ни желтых. Годы идут, идут, не останавливаясь. Не спросят тебя: может, им остановиться, подождать немного? Последний раз!

Хорошо, когда дети уже спят, смотреть вот так в синее ночное небо, забыв про все, про все — и про то, что творится сейчас в избе, и про то, что Виктор скоро уйдет, уйдет Витя... Как только Юодейка-«лесник» даст знать, так и уйдет. Что-то не заходят больше партизаны, застряли где-то. Дел у них по горло. Фронт приближается, и они еще больше торопятся, не покладают рук ни днем, ни ночью. Как только придут, Юодейка и даст знать.

Приближается фронт, кажется, слышно, как гремит. Не гром же так часто. Скорее бы... Пока Юодейка не дал знать. Дети в школу начнут ходить. За Пятрюкаса и вовсе душа спокойна будет. Даже странно, что не придется больше никого бояться ни ему, ни ей — гуляй, сколько хочешь, делай, что хочешь, иди, куда хочешь, и никто ничего, даже пальцем тебя не тронет.

Может, и Виктор тогда останется? Наверное, останется... Куда ему идти — все погибли: и родители, и братья, и сестры. И цвела бы липа всю жизнь. Не так ли?

Что только не взбредет на ум летней ночью, когда смотришь в небо, синее-синее, унизанное золотыми звездами, тихо мерцающими, а порой срывающимися тонкой, как далекая молния, стезей.

Виктор гладил ее руку. Он был не слишком настойчив, и поэтому она больше не повторяла то, что говорила всегда.

Обнял крепко, обеими руками, и она задрожала всем телом, как девушка. Забыла — столько лет ведь! Забыла, как охватывают мужские, желанные руки!..

— Идем отсюда... Ладно, Витя? Идем...

В это время ее позвали.

Пьяный голос позвал раз. Позвал второй, третий, четвертый.

Надо было идти.

В комнате зажмурилась от света, долго моргала.

— Куда провалилась, ты!.. — прикрикнул Лапкаускас. — Сказано, чтобы под рукой была, в кухне или на дворе... Поди пива принеси из погреба, самого что ни на есть холодного. Быстро! Бегом!

Она взяла два кувшина и спустилась за пивом.

Вернувшись, поставила их на стол, холодные, запотевшие.

— Теперь пленщика зови. Ну! Быстро! Бегом!

Она обвела взглядом всех четверых, рассевшихся за столом.

Лапкаускас сидел, упершись локтями в загаженную скатерть, и удовлетворенно поглядывал на остальных, даже пьяные, ослепшие глаза ненадолго светлели, как бы трезвея, изо рта свисала слюна, длинная, до самого стола, а из рюмки мелкой струйкой вытекало прозрачное питье.

Хозяин сидел в конце стола, откинувшись в глубоком кресле и уронив голову, что-то бормотал сквозь зубы и глядел на немца и Катерину, не направляя съехавших на кончик носа очков; жилетка расстегнута, рубаха нараспашку.

— Какая женщина! — Он скрипнул зубами. — У! Убью... обоих...

Лучше всех было немцу и Катерине.

Он щипал ее, она взвизгивала и хохотала, запрокидывая голову.

Хозяин прищуренными глазами поверх очков смотрел на Катерину, да, видать, просмотрел что-то.

— У!.. Убью...

— Чего стала? Пленщика зови!

Это все двоюродный брат, Лапкаускас. Он и немца-то привез сегодня под вечер. Не то насчет поставок, не то еще чего. Так и хлещут до этих пор.

— Aber schnell! Быстро! — подхватил и немец.

— Что, жалко тебе его? — Катерина показала зубы. — Пусть смотрит. Хочу, чтоб видел, как я любить умею. Как еще одного красавца завлекла. Иди, зови!

Хозяину было все равно. Что ему пленный?

— Ну! Быстро! Бегом! Кому сказано? — взревел Лапкаускас, вытирая повисшую над столом слюну. — Бегом!

Она выбежала во двор.

— Витя... — позвала негромко.

Он все еще стоял под деревом, так же как она недавно, прижавшись к корявому стволу, и смотрел на синее небо и золотые звезды.

— Уже справилась? Свободна?..

— Нет... — ответила она. — Собирайся. Надо уходить. Скорей.

— Сегодня? Сейчас?

— Сейчас.

— И до завтра подождать нельзя?

— Нет, нельзя.

Он схватил ее, стиснул в объятиях.

— Можно... Хоть до зари бы. Можно ведь?

Она выскользнула из его рук.

— Нет. Поскорей. Я сейчас...

Она снова зажмурилась, войдя в комнату.

— Где пленщик?

— Нет его.

— Что?! Сбежал?

— Может, лошадей переогнал пошел.

— Как вернется, сюда пошлешь, — велел двоюродный брат.

— Gut, потом... — согласился немец.

— Потом, — подхватила Катерина. — Только не забудь... — Она снова взвизгнула; немец ущипнул ее.

Встала, потянула немца за руку и убежала, оставив двери настежь.

Хозяин вскочил, добежал до порога и вернулся.

— Убью!.. — пробормотал он и снова рухнул в свое глубокое кресло.

Довольный Лапкаускас сидел, облокотившись на стол. И снова изо рта свисала слюна.

— Ну как, брат, — обратился он к хозяину, — договорились, а? Все равно он завтра увезет твою женщину. О! Какая... женщина!

— Молчи... И тебя убью!

— Шучу я, сам видишь, шучу. А через недельку и ты в город пойдешь. Креслице для тебя уже подготовлено, только сядь. Ну? — Он встал и, качаясь, приблизился. — Поцелуй меня. Поцелуй брата... Разве не я твою жизнь устраиваю?

Она незаметно вышла. Виктор ждал за усадьбой, там, где зеленели кусты сирени. Ночью, при свете месяца, они казались плюшевыми.

— Пошли, — сказала она.

До Юдейки-«лесника» было не так уж далеко. Но хоть она и не задержалась там, а на обратном пути спешила. Что-то светилось на хуторе, и свет этот все подгонял и подгонял ее.

Только прибежав во двор, поняла.

Горела клеть.

Перед клетью с колом в руках стоял хозяин.

— Это ты? — окликнул он. — Тсс... Все спят... И эти спят оба. Тсс...

Она метнулась к хозяину, встряхнула его, ухватившись за расстегнутую жилетку.

— Гасите! Клеть горит!

Он оттолкнул ее.

— Тсс... — И взмахнул колом. — Твое какое дело! Моя клеть... Моя... Хочу и жгу. Тсс! На что мне клеть? В город ухожу, на гестапо работать. Поняла? Продался сам, а? И брат меня продал. На что мне клеть? Тсс...

Дверь клетки была подперта.

Она подбежала, схватилась за подпорку.

— Вон! Убью! — крикнул хозяин, замахнувшись колом. — У!

Но она продолжала выбивать подпорку.

— Девочка там, Таня... Ребенок там!

Хозяин, помолчав, решил:

— Забирай. Бери девчонку. Только их не буди! Убью!

Она вышибла подпорку, но дверь открыть не успела.

— погоди! Я сам! Сам...

Он тихо отворил дверь, вошел, согнувшись, на цыпочках и вынес девочку на руках.

— На. Бери, раз сжалась. Своих мало, а? Ха-ха! Все равно бы кинула ее, уезжая. Кинула бы! А уж брат нашел бы, куда девчонку пристроить. Что, не так?

Она приняла спящую девочку и отступила.

Пламя занялось со всех сторон, уже и дверь охватило, а он — волосы растрепаны, грудь нараспашку — снова подпирал дверь и, отворачиваясь, бормотал:

— Все в дыму. А они спят, в обнимку. О, какая женщина! Тсс... Пускай спят.

Она унесла Таню на сеновал.

И опять надо было спешить.

Разбудила ребят, одела их, сбегала в избу, собрала свои пожитки в чулане и опять побежала за детьми.

А пламя взвихрилось, озарило поднебесье; затрещали сухие бревна клетки.

Она вела троих детей, уходя все дальше от усадьбы.

«Тсс! — чудился ей голос хозяина. — Ха-ха-ха!»

Она уже не думала про клеть. Оглядываясь на пламя, что поднялось высоко-высоко, она боялась, как бы не вспыхнула стоявшая рядом липа. Последняя липа.

Так и вышло. Сперва один бок загорелся, потом другой, пока не запылало все дерево — зеленые листья корчились и разлетались искрами, как холодные огни на елке.

Горело дерево, искрами вспыхивали цветы в синеватом, почти невидном дыму.

Горела липа. И раз уж загорелась, значит, было суждено сгореть ей.

Горела.

Горела!

Она отвернулась и закрыла глаза.

А ребята обступили ее, тянули за подол.

— Мама, куда мы идем?

— Мама, куда?

— Тетенька, тетенька, я боюсь... Вы меня не бросите?

— Нет, — ответила она, —
ягненок не человек.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Подходит осень со своими заботами, невзгодами и трудами.

Со щедрой рукой приходит осень.

И не только хлебом щедра ее рука. Кроме хлеба, человеку надо что-то еще. Разве это самое главное для человека — поесть?

Осыпаются желтые листья каштана вдоль дорог. Осыпаются, тронутые пальцами ветра, кажется, всю землю хотят устлать. Вроде бы так же и не так же, как в прошлый раз.

Человеку еще что-то надо.

Она стоит на дворе, прикрыв ладонью глаза от утреннего солнца.

Здесь она когда-то стояла, точно прилипнув к земле, все глотала и никак не могла проглотить слюну пылающим, пересохшим горлом. Стояла и упрашивала:

— Погоди... Погоди еще, Антанас.

Она стоит, прикрыв глаза ладонью, и взглядом провожает детей. Идут в школу.

Сколько их было бы?

Четверо?

Если бы Юозукас был жив.

Если б не упал там, за дорогой.

Ребята шагают чинно, без толкотни, то и дело поглядывая вниз, на ноги, а там сверкают три пары новеньких, еще не запыленных башмаков. Коричневые, с длинными носами — Пятрюкаса, широкие черные — Генюса и самые маленькие, узкие, короткие — Танины.

Свернув с дорожки на большак, ребята останавливаются и машут руками. Эй. Это ей одной все машут.

А она стоит и провожает их взглядом.

Русые волосы Пятрюкаса, серая стриженная голова Генюса, а у Тани в кудряшках лента плавает. Только

вчера подыскала ей синий лоскуток, подрубила, отгладила и повязала девочке синюю ленту. Мальчишкам что? А девочке надо...

Вернулись в город весной. Вернулись дожидаться своей армии. Снова поселились в доме при кузнице. Дом на краю города пустовал, а ее все тянуло и тянуло на то место, где последний раз видела Юозукаса живым. К тому же хоть раз будет у них свой угол: ведь дом-то Пятрюкаса! Только скорей бы уж наши приходили, а то фронт как стал за Дубисой, так, чего доброго, надолго.

И, слава богу, не совался к ним никто. Кому уж там было соваться: все, у кого земля под ногами горела, удирала, разбегались кто куда, а немец все гнал и гнал гурты по дорогам.

Принесли однажды ребята с большака охромевшего ягненка. Отощавшего, пугливого, кажется, дай ему крылышки — рванется, вспорхнет и улетит от рук и глаз людских.

И была теперь, кроме них, четверых, еще одна живая тварь. Вскоре ягненок и голос подавать стал, приохотившись к молодому клеверу, и нога день ото дня все крепла.

А она, усталая от каждодневных забот и хлопот, — ведь и за детьми смотри, чтобы никуда не отлучались, никому на глаза не лезли, и на стол подай, и о завтрашнем дне подумай, — усталая, она садилась на старый пенёк во дворе и подолгу глядела вдаль, повернувшись к Дубисе.

А там все гремело, гремело, гремело.

Когда уже рядом загремит, над головой?

Если ждет человек, то всего дождется, только умей ждать. Хотя ждать и приятно и тревожно чего-то. А когда и вправду загремело над головой, испугалась. Детей в картофельный бункер загнала и сама туда же; Пятрюкаса близко не подпускала к выходу — все сама выглядывала.

Немцев уже и не видно было.

Сквозь гул и острые взрывы мчались танки — зеленые, со звездами по бокам, как тогда, в том июле, только эти-то были еще побольше и неслись напрямик, полями, а не мощеной улицей и не сидели на них улыбающиеся парни.

Вот и затихло. Дальше, вслед за солнцем, покатился грохочущий фронт.

Она вылезла из бункера и ребят позвала:

— Ну, вылезайте, дети. Можно...

А тут, рядом, уже стояли запыленные бойцы, серые, опаленные солнцем, овеванные соленым ветром.

— Где немцы? Немцы есть?

— Нет... Нету их больше. А вы свои? Свои ведь, да?

— Свои, мамаша. Разве не видишь, что свои?

И раскинулся на лугу серый копошащийся муравейник. Дымили полевые кухни, доносились шум, смех, и грустные песни наигрывала где-то гармошка.

Солдаты сидели и здесь, на дворе, ссыпали в клочки бумаги не то табак, не то крошеное дерево.

— Махорка, — толковали они, — махорка!

Она топталась на одном месте, не зная, чем бы их угостить, пока не вспомнила, что в доме завалился кист с тонко нарезанным самосадам. Сбегала, принесла и положила кому-то из солдат на колени.

— Вот этого закурите.

Потом подозвала Пятрюкаса, погладила его русые волосы и попросила:

— Выбеги, сынок, на большак. Выбеги... И кричи там или пой. Кричи, что хочешь, пой, ори во весь

голос. Никто у тебя на пути не встанет, никто, никто! Беги, Пятрюкас!

И тот побежал, а за ним и Таня с Генюсом.

И кричали на большеке, орал — и песни и просто так.

А она стояла, вот как сейчас, смотрела, и самой хотелось бежать с ними, кричать, орать — песни и просто слова.

Кто запретит?

Кто на пути у них встанет?

Никто?

То-то и оно.

Шагают ребята в школу, уже и не видно их за деревьями, только изредка мелькнет русая голова Пятрюкаса, проплывет синяя Танина лента...

Это ребята тогда и увидели. Ей бы в голову не пришло, да и потом не стала бы горевать. Эка важность, ягненки!

— Смотри, мам... — обступив ее, шептали дети. — Смотри, нашего баранчика ведут.

Долговязый солдат, худой и длинный, тащил ягненка в кусты. Тот упирается, не идет, а солдат, зажав ему морду, то волоком тащит, то схватит за шерсть и пронесет несколько шагов.

— Что?

— Ягненка?

— Овечку?

— Барана?

Зашевелились те, что мирно потягивали на дворе сигарки с самосадам, побежали куда-то — и всколыхнулся луг.

Запела труба.

— Стр-р-ройся!

Много их было, солдат. И выстроились все они длинной двойной шеренгой и застыли, будто перед генералом каким. Стояла она впереди — вызвали ее, с детьми. И тот солдат, молодой парень, худой, долговязый, стоял перед строем, опустив голову.

— Мама! Он и штык уже было вытащил! — нашептывал сбоку Генюс.

— Шшш! — оборвала она.

— Рядовой Янушка, смирно! — скомандовал военный со звездами на погонах. — Он украл овцу?

Ребята закивали головами.

— Пойдешь под трибунал!

Она смотрела на молодого, нескладного парня, который стоял навтыжку, подняв голову, а сам дрожал всем телом, руками и ногами.

Трибунал?

Она не знала, что это такое, но, похоже, неладно вышло, ох, неладно...

— Ваша овца? — спросил военный.

— Наша, — ответила она. — Только какая там овца... Ягненки...

— Неважно.

— Вы что... Судить его будете?

— Трибунал осудит.

— За ягненка? Ягненка...

— Неважно, за ягненка или овцу.

Стояла шеренга в два ряда, длинная, множество солдат. А перед ними — она с детьми, офицер и тот солдатик, долговязый, худой, нескладный.

— За ягненка?! — повторяла она. — Так ведь по ошибке это... Ошибка получилась... Я сама ему отдала, угостить хотела. Нехорошо... Я угощаю, а вы — судить человека.

Короткий ропот пробежал среди солдат.

— Вы, мамаша, говорите правду. Мы не можем иначе, — сказал офицер.

— Правду? — переспросила она. — Да я все глаза проглядела, пока дождалась вас... Так неужто ягненка жалеть буду?

Дети смотрели на нее, ничего не понимая, а она велела:

— А ну-ка сбегайте за баранчиком. Пятрюкас, приведи!

Ребята привели, и ей смешно было смотреть на множество солдат, которые стояли перед этой малой тварью, перед ягненком, стояли смирно, не шевелились, будто перед генералом.

— Иди сюда, — махнула она тому долговязому, Янушке. — Бери, бери, коли сказано... Бери! Чтобы я овечку жалела?

Строй рассыпался.

Подходили солдаты, серые, опаленные солнцем, овеянные соленым ветром, подходили и, нагнувшись, гладили ягненка да подталкивали своего товарища, Янушку.

— Ты! Дубина стоеросовая, ты!

А она радовалась, что они все проходят перед ней. Внимательно заглядывала каждому в лицо, искала, выискивала.

Может, и Виктор с ними? Может, здесь он? Ведь сама слыхала: партизаны нынче вместе с армией наступают.

Потом все-таки решилась спросить.

И выстроились перед нею двадцать три бойца — Викторы. Только не было среди них ее Виктора. Не было Вити.

Еще долго заходили к ним в дом бойцы, весь вечер. И каждый клал на стол — кто кусок сахара, кто чудную четырехугольную буханку ржаного хлеба, кто жестянку с консервами или горсть сухарей.

Уже и стола не видно, только груда добра.

Она все просила:

— Не надо... Заберите, не надо.

Но они не слушали.

А она снова каждому по отдельности смотрела в лицо.

Может, ошиблись они, может, есть еще один Виктор, а им и невдомек? Может, забыли его позвать? Может, он все-таки здесь?

Потом, так и не найдя, сидела рядом с пожилым солдатом на камне во дворе и все расспрашивала:

— Много ваших полегло, а?

— Много, — ответил он. — Все обочины усеяли.

— И партизаны с вами были?

— Были. И сейчас есть.

— А по имени, по фамилии можно могилу отыскать?

— Чью отыщешь, а чью и нет.

Помолчали.

Потом она снова спрашивала:

— Как теперь жизнь пойдет? Опять весело?

— Да.

— И песни будут петь на улицах?

— Будут!

— И выборы будут? Снова голосовать пойдем?

— Обязательно!

— Стало быть, все, как тогда. Стало быть, и землю дадут людям. Опять все снова.

Долго сидели молча.

Наутро двинулись солдаты дальше, вместе с солнцем, на запад, опять на фронт. У них, дескать, еще дальняя дорога. До самого Берлина.

Видно, и впрямь дальняя.
И снова жизнь началась.
Другая. Конечно.
Наново.
Все ли наново? Все-все?
Мы говорим:
Человек радуется.
Человек грустит.
Человек смеется.
Человек плачет.
Как знать...
Правда ли?
А если сердце заходится от радости и от горя сразу?
А если на глаза наворачиваются слезы радости и печали?

Она все еще стоит, прикрыв лицо ладонью. Заслоняя от утреннего солнца.
Почему человеку мало только поесть?
Почему еще что-то надо?
Она стоит и все так же взглядом провожает детей. А детей уже и не видеть давно. Они, чего доброго, уже в школе.
Только падают желтые листья каштана.
Облетают от ветра, кажется, всю землю хотят устать.

— Нет, — ответила она, —
нельзя проклясть мир.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Чем плохо, когда наступит лето?
Летом хорошо.
Не надо больше в школу, и пасут ребята вместе с кривым Кинартасом городских коров. Вот уже и не твоя забота, как прокормить. Один день — один хозяин дает, другой день — другой. Так и движется по кругу, им хорошо, и дети сыты. Еще, глядишь, иногда червонец перепадет — карточки отоваришь.
Сама тоже не сидит сложа руки. Тому огород прополоть, этому одежду постирать, а еще ведь свой огородик, и овца растет, и поросенка, как-никак, держат.
Грех жаловаться, только что война пронеслась.
Не сказать, чтобы хлеба вдоволь, но и с голоду не пухнешь.
Все не так, как те, что из Пруссии в Литву побираться ходят.
Ходят и ходят, то по двое, то по трое, а то сразу кучей — женщины с детьми, отдельно женщины или дети.
Ну, что? Воевали, воевали, да так ничего и не навоевали? В войну на чужом и теперь тоже?
Стояла она над мертвым сыном, воздев к небу измазанные землю и кровью руки. И настало проклятие. Сбылось!
Завидев, как они сворачивают с большака на их дорожку, пряталась на сеновал, не показывалась и только все смотрела, смотрела в щель...
Они стучались в дверь, звали и, никого не дождавшись, уходили со двора. А она — ни с места. Иной раз они, воровато озираясь, выдернут морковинку из ближней грядки или наспех выроют горсть картошки.

Пускай. Разве жалко ей морковку или там картошку?
Но из своих рук и куска им не подаст.
Разве не она стояла за дорогой, воздев руки к небу?
И вот оно, проклятие.
Радовалась, что детей нет дома, не видят, как она прячется на сеновале, а потом приникает к щеке глазами.
Разве им объяснишь, ребятам?
Разве все расскажешь?..
Пятрюкасу, пожалуй, и сказала бы, тот уже почти взрослый, еще годок-другой — и мужчина. Да стоит ли бередить старую рану? Слишком зелены они, еще мало повидали в жизни.
А тут возьми и приди домой вчетвером.
А спросились?
Нет. Подросли — и они, вишь, уже люди. Уже и они по-своему хотят.

Обычно поджидала ребят на закате. Сидела на пороге, ждала. И усмехалась, когда они, все трое, сворачивали за деревьями с большака на их дорожку. Еще маленько погода уходила в избу. И появлялась снова, когда они гомонили уже на дворе.
Что? Вернулись? Ну и ладно.
Чтоб она сидела да ждала их?
Чтобы все глаза проглядела?
Еще чего!
Так и разбаловать недолго.
Так и вовсе на шее будут виснуть.
Но и они ведь видели...

Еще не свернув с большака, прижимались к деревьям и приглядывались: сидит ли она, ждет ли их на пороге.

Что же они, не видели?
Зато, бывало, сбегутся во двор и враз притихнут, наострят уши, ждут, когда она выйдет.

А тут, смотрит, вчетвером идут!
Уже и в избу не стала прятаться, так и осталась на пороге, только дело какое-то нашла, картошку чистить взялась, что ли.

Вошли все во двор, а она молчит, ждет. Что тут скажешь?

Молчат и они, трое, подталкивая вперед ободранного мальчишку.

— Мама...
Это Пятрюкас. Голос огрубел, уже и впрямь как мужчина.

— Мама... Можно, он поужинает с нами?.. Целый день вместе коров пасли, проголодался ведь, как и мы.

Ишь ведь...
Все равно молчит, чистит картошку, бросает в чугун с водой.

— А как он коров сгоняет, ты бы только видела! Это уж Генюс. Голос тонкий, как у девочки. Ничего, погрубеет. Не все сразу. Сам-то рослый, только голосишко девчоночий. Сколько ему? Мал еще.
А не успеешь оглянуться — и уже басок, как у Пятрюкасы.

— Кто таков? — спросила наконец. — Откуда? Как звать?

И была в материнском голосе насмешка, и таким скрипучим был голос, что ребята замолчали, ничего не ответили.

А ей уже было невмоготу. Хотелось вскочить с порога, отшвырнуть картошку.

Упереть бы руки в бока и закричать во все горло:

«Может, его Юозука-сом зовут, а? Может, взяли да прислали мне Юозукаса из Неметчины? Или как? Точно такого же, каким был. Не-высокого, коренастого, и нос горбинкой. Такой же, даже не подрос ни-сколько, чтоб узнала. Что? Не так? Отвечайте, когда я спрашиваю. Что?»

Но она молчала.

По-прежнему чистила картошку, с плеском роняла картофелины в чугунок с водой.

Разве дети поймут?

Разве втолкуешь им?

Больно зелены еще, мало в жизни видели.

— Он только поест и уйдет... Ведь тебе не жалко, я знаю...

Это уж Танин голосок. Мягкий, ласковый.

Ему и отказать не можешь.

— Мое, что ли... — ответила. — Тут на всех на вас. Хотите — делитесь.

Обсели чугунок и мигом управились. Будь еще столько же, все равно умяли бы. Ели сухую картошку, и вкусно им и хорошо. Она ничего не сказала, а ведь был еще кусочек сала у нее припрятан — думала, сегодня пустит на сковородку. Воскресенье, как-никак, праздник, а у них все стадо и стадо от зари до зари!

Но не вынула того сала.

Не изжарила. Еще чего!

Ребята тоже больше ничего не сказали, не спросили.

Поели и увели немчонка.

И слава богу.

А только куда ж они поведут его, куда? Не в кузню ли? В кузню. Пускай. Жалко, что ли, кузни! Стоит заброшенная, никому не нужная, никто туда не ходит. Да и чего ей вмешиваться, пусть что хотят, то и делают. Лишь бы здесь, в доме, не путался.

Через два дня опять вчетвером вернулись, все с тем же.

Смолчала.

А они ничего и не спрашивали больше, каждый вечер приводили его, а после ужина все вместе провожали.

Можно ли привыкнуть к человеку?

Ведь и к собаке, и к кошке, и к жабе привыкаешь. Только одну, бывает, погладишь, другую покормишь, а третью шугнешь.

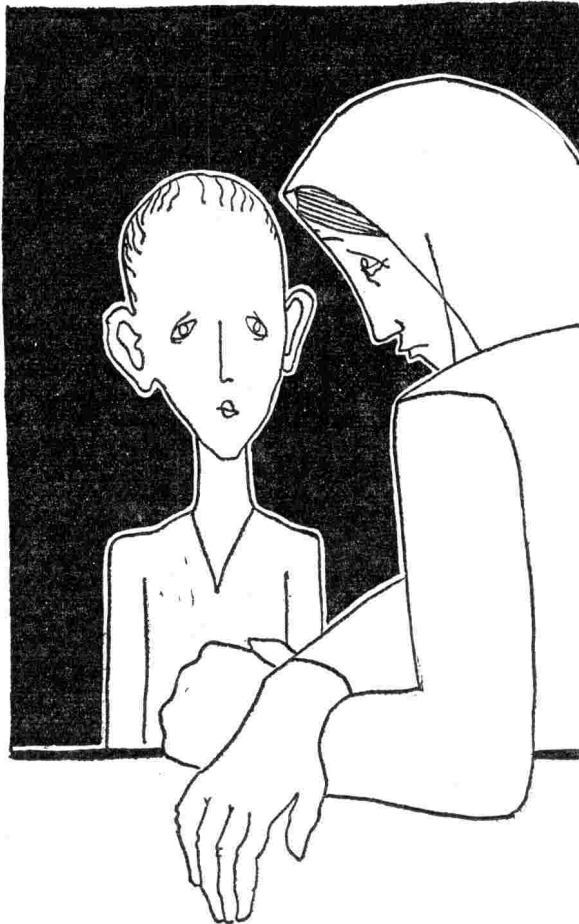
Похолодало на дворе.

Скоро и в школу.

Что ж они сегодня только втроем явились?

Она все поглядывала, беспокоилась, словно ей чего-то не хватало, а потом не выдержала, спросила:

— Ну, где же тот? Куда его подевали?



Ребята довольно переглянулись.

— Придет сейчас, придет, — отозвалась Таня. — Помогает кривому Кинартасу коров развести.

Пришел. Куда он денется?

Ужинали теперь уже в доме: на дворе было зябко. Сидят на лавке, подпирают стену, усталые, разомлевшие от горячего.

— Мама... Можно ему с нами спать сегодня? — тихо спросил Пятрюкас. — Места хватит...

Она испуганно смотрела на них.

Уже и ночевать впусти? Уже и насовсем прими?

— Да нет, не дома... На сеновале, там сено есть. Я ему пиджак дам укрыться. — Это Генюс подхватил своим девчачьим голоском.

Она все еще не могла опомниться.

— Мам... а? Мама...

Шальная девчонка, хоть бы уж ты молчала. Где там!

— Кладите.

Только и сказала.

Повели.

Уложили.

Потом сами легли.

А ей было не до сна. Накинув платок, она вышла во двор. Смотре-

ла в небо, синее-синее, унизанное мерцающими светлячками. На дворе было свежо, и небо было холодное, и звезды моргали, как холодные рождественские огни. Никакого тепла. Один свет. Далекий, недостижимый.

Она долго глядела в небо, потом зажгла фонарь и тихонько пошла на сеновал.

И здесь был холод.

Хорошо овце при шерсти. Как в шубе.

Вошла, осмотрела все. И сколько сена, хватит ли на зиму. И сколько хворосту припасено, и дров сколько заготовлено.

А немчонка разве на сене? И не на сене вовсе. Лежит на земле, на соломенной подстилке, обняв овцу. Спит. Прижался к скотине, будто к родной матери. Будто к матери...

— Вставай, — сказала она, тряхнув мальчишку за плечо. — Вставай.

Он моргал спросонок.

— Вставать? Уже утро?

— Вставай. Пойдем.

Он встал, с опаской поглядел на женщину, на фонарь, на крошечную тьму вокруг.

— Пошли.

Привела его домой, посадила за стол. И фонарь на стол поставила. Сама села напротив и посмотрела прямо в глаза ему.

Смотрела ему в глаза и думала про себя, молча. Будь ты уже взрослым, большим мужчиной, без

рубца ли, с рубцом ли на правой щеке, какую бы ты бумагу написал? Можешь мне ответить? Какую?

«Скажет ей, ошен не карашо убираль комнат».

«Ошен», да?

Она молча смотрела в глаза мальчишке и спрашивала у самой себя:

«Будь ты взрослым мужчиной в зеленой форме и с железным немецким автоматом, куда бы ты приставил приклад этого автомата, стреляя в мальчишка, которого я вскормила своей грудью, в моего Юозукаса, бегущего через дорогу? Куда? К плечу? К животу? К сердцу?»

Тот ведь сидел тогда и спокойно щелкал семечки. Она огляделась.

О, будь у нее под рукой подсолнух, она дала бы его этому мальчишке, этому еще не выросшему мужчине! Хотела посмотреть, как он лушит семечки.

После тот ринулся в огород и с хрустом жрал огурец.

Огурец!

Она увидела на окне небольшой вялый огурчик. Вскочила, подала ему.

— На, ешь...

Не сводя с женщины глаз, он откусил, в его маленьких челюстях хрустел и хрустел вялый зеленый плод.

А он не вскочит, так же, как тот, не ринется в огород искать еще? Еще огурцов?!

Она снова смотрела ему в глаза, смотрела на его исхудалое личико. Поняла, что скоро, очень скоро будет опять сидеть во дворе и ждать, когда ребята воротятся из школы. И будет ждать уже не троих, а четверых. И потому она молчала и спрашивала саму себя:

«Кем бы ты был, если б стал взрослым мужчиной?»

Она смотрела ему прямо в глаза, и мальчишка вскрикнул:

— Мама, мама... Мне страшно...

— Иди... Иди ложись с ребятами... — сказала она, отводя взгляд, и склонилась над столом.

Но все еще видела, как стоит она за дорогой с воздетыми к небу руками, измазанными землей и кровью, и клянет мир.

Сейчас, тут, она была одна. Только закопченный фонарь на столе да холодное синее звездное небо за окном.

Она была одна. И вдруг прорвалась молитва:

— Господи! Боже мой... Устала я, ой, устала!..

— Нет, — ответила она. —
Они всегда рядом.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Если стоишь у гроба, хоть он и не тебе уготован, разве не хочется поразмыслить и над собственной жизнью?

Разве не хочется спросить себя, почему ты жив, и спросить человека, почему он мертв?

Если рядом оружие, винтовка, разве не думаешь: зачем? Для чего?

А если стоишь у пяти гробов?

У пяти сразу.

И если чуешь потом серый маслянистый запах длинной винтовки?

В своем доме, в руках у своего ребенка.

Не часто ли они вместе?

Оружие и гроб.

Гроб и оружие.

Не слишком ли часто они друг возле друга?

Вот и война прошла. Слава богу, кончилась.

Чего ж еще?

Чего еще надо?

Уже вроде и поутихло все. Того, четвертого, Вальтера, окрестила. Разыскала старого ксендза-алтари-ста (живой еще, только еле ноги таскает), ни за что не хотела к другому. Отыскала и упросила:

— Лучше вы, отец, окрестите. У вас рука легкая. Своя.

Виктором нарекли.

Нет, не так уж важно было в католики его обратить. Нет. Эка важность! Все равно один бог в целом мире, как ни назови его, как ни славь. Нет, не так уж важно было в католики, как имя сменить.

Вальтер?

Кто знает, кто сказать может, кого еще Вальтером звали?

Кто?

Кого?

Красивое имя — Виктор. И звучное и...

А проще того — Витя.

— Витя! Вить!

Обернется, шмыгнет вздернутым носом. Доволен. Так и знала ведь: теперь четверых провожала утром, прикрыв ладонью глаза от раннего солнца, а после школы ждала всех четверых к обеду.

И песни новые появились. Грустные и веселые.

Были выборы. Проголосовали за кого положено.

А не так давно приходила мать.

Состарилась.

Она смотрела на лицо матери, на ее трясущиеся руки и видела, как бежит время, видела, что и сама уже не молодеет. Только плывет, плывет, как в лодке по реке. Кажется, и лодка утлая и весла маленькие, а берег все знай мелькает, знай мелькает, и все мимо, мимо.

— Слышь, дочка, — сказала мать. — Может, домой вернешься? И землю снова дали. Зовет отец. Ребят растить, говорит, поможем. А ведь сколько их? Четверо? И меня обскакала. Будь ты с нами, и у меня бы четверо было. Может, вернешься в дом, дочка? Теперь и места хватит. Усадьба Бернотасов нам отошла. Так и вовсе рай... Развалюха-то наша, сама знаешь, совсем в землю ушла, только солома и торчит. А потом, говорит отец, когда колхозы откроют, никто уж больше землю не отнимет. Так, может, воротилась бы домой, дочка?

Не вернется она. Куда уж ей.

Слава богу, им там хорошо, и у нее от этого на душе легче. Пускай себе живут, пускай радуются. Хоть раз как люди.

Землю больше не отнимут.

Некому отнимать.

Да и попробуй, отними ее теперь!..

Верно говорил тогда пожилой солдат на дворе.

Не вечно ведь горе мыкать, должен человеку и лучший день прийти.

— Тебе видней, дочка. Как знаешь... Если тебе так лучше, то матери, думаешь, иначе? Все не так душа болит. А мало ли болела за столько лет... Столько лет! Смотри сама, дочка, тебе видней.

А недели две спустя прибежала с почерневшими от страха глазами девчонка Ятаутасов — Маричюке. Запыхалась, сама не своя от страха, слова сказать не может. А потом как прорвало ее:

— Идемте. Скорей. Всех убили бандиты, никого в живых не оставили. Идемте, тетя! Вчера ночью.

А сегодня утром зашел кто-то, видит: лежат все на полу, друг за другом, рядком.

Накинула черный платок, хотела только Петрюкаса с собою взять, остальных, меньших, дома оставить. Не дошла до большака, до самых деревьев, и вернулась.

Что ты скроешь от них, хоть они и меньшие?

Жизнь скроешь?

Кривду утаишь?

Горя им не выкажешь?

Вот и стоят они все вместе возле пяти открытых гробов. Возле отца и матери. Возле сестры и братьев.

Отца давно не видела, а узнала сразу: рот и горло землей набиты, и лицо серое, землистое.

Всю жизнь земли желал.

Шли за теми пятью гробами до кладбища ближнего села с ксендзом, и с крестом, и с красным флагом впереди. Ксендз отпевал покойников, а люди бросали в глубокую, большую яму горсти той самой земли. И речи говорили, призывая к борьбе за справедливость и к мести бандитам. А толпа стояла молчаливая, с опущенными головами, и те, кто призывал к мести, старались не показывать слез.

Обезлюдела усадьба, мертвая, с раскрытыми настежь дверьми и распахнутыми воротами.

Опустела усадьба Бернотасов, где когда-то стояла она у калитки, прижавшись горячим лбом к прохладной глиняной крынке, где в субботу, после бани, уминали бабу, заливая молоком, сметаной и кое-чем покрепче, а во дворе надсаживался пес и гуси, целое стадо, гоготали, почуяв чужого.

Опустело последнее пристанище родителей, их рай, последний дом их с раскрытыми настежь дверьми и распахнутыми воротами, куда она пришла с четырьмя детьми, чтобы отдать последний долг, посмотреть на всех пятерых, убитых ночью, исподтишка, увидеть отцовы зубы, затупившиеся от земли.

Оружие и гроб.

Они всегда рядом.

Всегда ли рядом?

Смотря в чьих руках оружие.

Смотря над кем заколачивают гроб.

Оружие и гроб.

Не слишком ли часто они теперь друг возле друга?

Ведь и война прошла. Слава богу, кончилась.

Чего же еще?

Что еще надо?

— Не пушу! Не пушу в дом! — вся дрожа, кричала она, встав на пороге и раскинув руки, чтобы он не прошел. — Не пушу! Не пушу в дом! Уноси, откуда принес! Не пушу!

— Мама... — тихо упрешивал Петрюкас.

Но она все равно не пускала.

Стояла на пороге, вся дрожа и раскинув руки.

— Мама...

Голос был уже совсем мужской, и она боялась, что может уступить.

— Не пушу! Не пушу в дом!

Раньше она думала: оружие и гроб.

Уже тогда знала, что должно быть и по-другому: гроб и оружие.

Но не могла она... Сама? Своими руками благоговейно дитя на смерть?

— Не пушу! — кричала, заслонив руками дверь. — Брось это... брось... Брось ружье, говорю!

Петрюкас поставил винтовку за угол и сел на лавочке под окном. Знал ведь, что так будет. И во

двор пробрался, как вор, пряча за спиной, обеими руками придерживая винтовку. Но мать сразу увидела. Она почуяла, уловила серый маслянистый запах оружия.

— Петрюкас... Пятрас... Это ведь не твое, мужское это дело. Тебе и шестнадцати еще нет...

— Я сказал, что уже семнадцать. Поверили.

— Тебе учиться надо. И так сколько лет за войну пропало.

— Нет, не могу я, мама. Раз уж взял винтовку — не отдам.

Он посмотрел на ее лицо, мокрое от слез, и опустил голову.

— Петрюкас... Пятрас!.. — говорила она. — Сам ведь знаешь, как берегла тебя... Ведь от верной смерти ушли, из самого ада вырвались. Война-то кончилась. Другие, постарше, с бандой справятся... Из такого ада вырвались, а сейчас, когда бояться больше нечего, убьют тебя кулаки в лесу или в канаве! Убьют!

— Не надо. Не надо, мама... Я все отца твоего вспоминаю. Хорошо ему было землю грызть, пока зубы не посерели, пока все лицо не стало серым? Не сердись, что говорю это, но ответь мне: хорошо?..

— Пятрас... Петрюкас мой!..

Она сникла на лавочке под окном, смотрела куда-то вдаль, на большак, за деревья, может быть, туда, где земля сливается с небом, — темная, почерневшая земля, голубое, светлое небо.

Кто поймет материнское сердце?

Вырви, покажи его — все равно не увидят, не поймут.

Теперь ей дважды провожать, дважды встречать. Троих ребят — в школу, а его, защитника, — с винтовкой. С оружием, от которого разит серым маслом.

Тех-то троих легко встречать. Всегда вовремя придут из школы.

Одного его, защитника, дождешься ли?

Когда?

Ненастной ночью?

Морозным утром?

А если вместо него другие придут, с черными от страха глазами, как Маричюке Ятаутасов?

Гроб и оружие?

Они всегда вместе.

Гроб и оружие.

Возвращался Петрюкас грязный, заросший, измученный.

Она уже не пряталась в избу, завидев, что он шагает по дорожке, усталый, сгорбленный. Пусть смотрит, если охота. А может, и не замечает уже от усталости? Будто ей не все равно. Будто она про это думает.

Пусть только возвращается.

Пусть всегда возвращается.

Беда, что грязный? Теплая вода в котле.

Беда, что заросший? Побреется. Она бы и сама побрила, да не позволит он.

Усталый? Ничего, лишь бы отоспаться вволю, и ладно.

Пусть только возвращается. Пусть всегда возвращается.

И что бы ни было — ясный день или кромешная тьма вокруг, — она укладывала его и тут же затворяла все ставни, запирала дверь на засов. Окраина. Не дай бог... Если придут, если во сне застигнут. Прямо из постели... Сохрани господь.

Детей, всех троих, загоняла в другой конец избы. Чтобы не шумели, дали наконец отдохнуть человеку.

Смотрела на него, спящего, и на винтовку, стоявшую в головах. Как же так? По плечу ли тяжкая ноша? Ребенок ведь...

Вечерело.

Уже и ребята разгаделись.

— Мама!

— Мам!

Это у них значит: есть давай.

Захлопотала.

Большое хозяйство — дом, когда четверо детей при тебе. Правда, теперь Пятрюкасу жалование платят, так что на жизнь хватает. Но все равно овцу продать надо. Что с нее? Шерсти несколько горстей. Надо овцу продать и купить какую-нибудь козу, что ли. Все стакан-другой молока, хоть бы младшие по очереди пили, да и Пятрюкасу тоже не мешало б. У козы молоко густое, жирное, хоть и немного его. Только разве выберешься на базар, если все время ждать надо. Жди и жди. Вернется или не вернется?

— Мама...

— Что? — вздрогнула она.

— Мне пора.

— Снова?

Снова.

Беда, что грязный вернется?

Беда, что заросший?

Может, плакать, если голодный придет?

Пусть только возвращается. Пусть всегда возвращается.

Пусть сам возвращается. Ей гонцов не надо. Хватит с нее Маричюке.

Гонцы — еще чего придумала...

Гонцы?

Вот они, тут как тут. Рядом. Только не пешком и не одни.

Двое сидят на повозке, свесив ноги, гонят лошадь к дому. С большака уже свернули, по дорожке катят, лошадь кнутом нахлестывают. Вот-вот прямо на нее наедут.

— Где? — кричит она. — Где он? Где оставили?!

— Жив... Живой ведь... — говорят они, опустив головы.

— Живой?! Где же он? Где?

— Садитесь... Подвезем... В больнице.

И гонят теперь уже троим.

По дорожке.

По большаку.

В больницу.

На нее натягивают халат, но она выскальзывает из белых рукавов и бежит; вбегает и видит его наконец. Видит среди марли пол-лица. Глаза, нос, губы. Руки застывшие. Она берет их в ладони и дышит, дышит, чтобы согреть.

— Ничего... — говорит он. — Я все-таки вернулся... Почти что вернулся... Правда?

Улыбается он, или ей только кажется?

— Молчи, молчи! — говорит она.

Снова греет его руки, берет их в ладони и дышит, дышит своим теплом.

Улыбнулся он, или ей только показалось?

Она выпрямилась, посмотрела в окно и вздрогнула.

Там цвела сирень. Красная, буйная, как самой лучшей весной.

Она зажмурилась.

Не могла понять, почему сирень цветет такая красная.

— Нет, — ответила она. — Он уже не первый.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Времени теперь было вдоволь. Ну, разве что в город, в больницу сбежать. Долго ли... На заработки не ходила больше, ни полоть, ни стирать на чужих не надо. Времени было вдоволь.

Продала овцу. Выбралась на базар с детьми. Они еще прижимались, гладили курчавую шерсть. Жалко. Еще бы не жалко. Привыкает человек и к собаке, и к кошке, и к жабе пучеглазой.

Все-таки продали, и, кажется, неплохому человеку. Не зарежет: все про шерсть справлялся, хорошо ли.

Вот и козу купили. Наконец-то...

Тут уж свои радости пошли.

Генюс помогал матери тянуть за веревку.

Витя шел, держа за рога.

А Таня то летала вокруг, то обгоняла их и скакала задом наперед, как через веревочку, хлопая в ладоши.

Теперь и молоко будет.

Молоко!

Детям, может, по полстакана.

Пятрюкасу — полный.

Его надо на ноги поставить. Козье молоко густое, жирное.

И впрямь молодец козочка. Два с половиной стакана — как отмерила. Но зато какое! Сколько жира в нем! Густое, как сметана. Только глянешь на него — слюнки текут.

Времени теперь было вдоволь.

А сколько еще будет!

Вот выйдет Пятрюкас из больницы, может, и винтовку сдаст. Не нужна больше; говорят, уже последних бандитов выловили, чисто в окрестных лесах. Сможет она теперь с детьми посиживать и грамоте дальше учиться. Теперь уже сможет. А то ведь если не посидишь с ними, не присмотришь, так один стишок не выучит, другой домашнее задание не приготовит. Веселее им, что ли, когда всем скопом, вместе с ней садятся за большой стол. Теперь уже, конечно, за детьми не поспевает. Вон как далеко ушли. А раньше, когда только-только грамоте учились, и она, бывало, какую-то букву схватит.

Хочешь не хочешь, а пора подумать, кем будет каждый, кем вырастет. Время-то, как берег реки. Кажется, и не торопко гребешь, а берег только знай мелькает, знай мелькает.

А потом...

Потом разлетятся, поди.

Кто куда.

Кто куда...

Придет пора — и разлетятся. Что ж такого? Твое солнце — на закат уже, а у них только подымается, восходит только.

Придет пора — пускай летят.

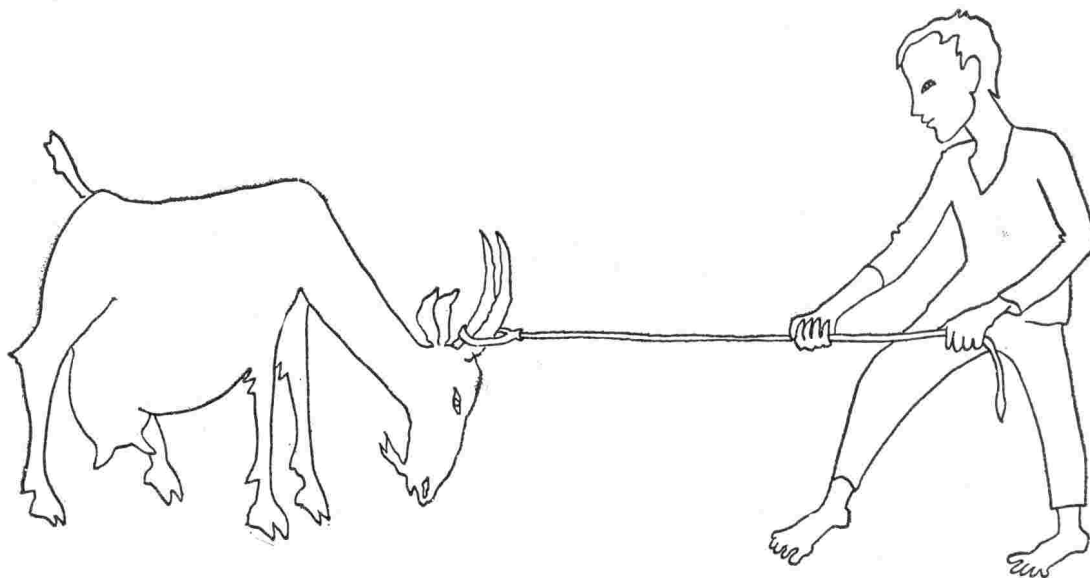
Лишь бы не раньше времени.

Это птица толкает, выбрасывает детенышей из гнезда. Человек — нет. И руками и крыльями гнездо заслоняет, не хочет, чтобы улетали его птенцы. Но заслоняй не заслоняй, настанет пора — и разлетятся. Не убережешь.

Ладно.

Лишь бы не раньше времени.

Так уж хочется. Очень хочется, чтобы так было. Только не подвластны тебе ни люди, ни жизнь.



— Нет,— ответила она,—
это всегда страшно.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Поздний вечер. Стемнело. Прибежали Витя с Таней. Торопились: знали — влетит, что так поздно.

— Мама... Знаешь, где Пятрюкас?

Где ему быть? Пошел гулять с приятелями.

— На вечеринке!

Ну и что? Пускай посидит с молодежью парень.

— Мама... Не сидит он. Танцует. С такой кудрявой, длинноволосой...

Что ж. Все бывает... Может, и потанцевать пора пришла, ведь не мальчик уже.

— Ма... А они, знаешь, что?..

Она молча ждет.

— Давай, на ушко скажем...

Она наклоняется к детям, а сердце так и тукает уже.

— Целовались...

— На дворе...

— За кустами...

— Целовались...

Она выпрямляется и кричит на детей. Кричит, как будто это они вышли во двор, укрылись за кустами и...

— Хорошо это? Красиво? За старшим братом, как хвост, таскаетесь!

Кричит на детей, а сердце — тук-тук.

Она не дожидается Пятрюкаса. Разве дожدهшься, когда он вернется? Детей спать погнала и сама ложится. Устала, умаялась за день, поспать бы!.. Но веки не смыкаются, не закрываются. Полный месяц так и льется в окно, а она лежит, смотрит вверх и считает потолочины. Одна, две, три... восемь, девять, десять... Побурели доски, вон паутина блестит, надо будет смахнуть завтра. Одна, две, три... Генюса увели... Шесть, семь... Теперь на Пятрюкаса кто-то зарится, лапы тянет... Десять, одиннадцать, двенадцать... Кажется, дом в чистоте содержит, и откуда

Вот стоит она, простоволосая. Стоит и платочком машет. Того, что козу на веревке тянул, проводила.

Вернулись старые соседи — сын нотариуса Эугениус с женой Бируте. Вернулись из далекого края — и прямо к ней. А как же иначе? Столько лет! Разве выдержит материнское или отцовское сердце?.. Раньше письма читала нехотя, все Пятрюкасу жаловалась. Но вот вернулись Эугениус и Бируте, и надо принять их как дорогих гостей. Приняла. Только ребенок смотрит, точно зверек испуганный: силится понять, да невдомек ему, что тут происходит, как все обернется.

Много слов было. Много слез. Радостных.

Уж как хотелось и ей слезу смахнуть! Ой, хотелось! Да нехорошо, небось. Что ни говори, чужая она, верно? А они родители. Кровные.

В гости приглашали. Тут же, в городе, осели. Она зайдет, а то как же...

Ну вроде бы и провожать пора. Только все никак не встанет из-за стола, то одним, то другим потчует гостей. Трудно встать. И не диво. Видать, возраст, годы долгие гнетут, не дают подняться.

Все уже на дворе. Уходят. А она опять в избу вернулась и снова вышла, будто забыла что-то.

Потом обняла Бируте, шепнула на ухо:

— Мед он любит... У нас-то редко бывало.

Они уже шли со двора.

— Пятрюкаса не забудешь навестить? Ну, то-то! Знаю... Это я просто так,— шепнула ребенку, в последний раз прижимая к груди.

Вот стоит она, простоволосая. Стоит и платочком машет.

Может, радоваться надо? Ведь теперь на двоих младших полтора стакана молока останется. Все на несколько глотков больше, верно? Полезное оно, жирное.

А еще? Чем бы еще себя порадовать?

Неужто нечем?..

Птица сама детенышей из гнезда выбрасывает, а человечьи птенцы и без того разлетаются, разбегаются, как ни заслоняй гнездо крыльями. Не убе-режешь.

Лишь бы не раньше времени, а?

А кто это время отмерит, кто верный срок укажет? Вот и снова...

здесь паутина взялась? Встать бы сейчас, смахнуть, да так славно лежать! Век бы не вставала!

Одна, две, три...

Скрип двери. Осторожные шаги. Боится разбудить. Воротился. Уже поздно, а может, рано. Месяц переместился. Паутина не блестит уже, но потолочины хорошо видны. Восемь, девять... Могла бы встать, подсесть к нему на край кровати и спросить. Да что тут спросишь? Уже мужчина, надо полагать. С ружьем ходил, кровь проливал. А может, сам придет... придет, когда понадобится. Одиннадцать, двенадцать... Побурел потолок. А с чего бы? Вроде и дыму не напускает...

Давно затихли младшие.

Молчит Пятрюкас.

И она ни слова. Многие хотела бы узнать: кто, да как, да почему? Но молчит.

— Здорово, кума! — еще с дорожки кричит человек, поднимая руку.

А-а... Знакомый. Старый знакомый, еще с войны. Лапкаускас — двоюродный брат очкарика-учителя, того, что клеть спалил, когда Катерина с немцем...

— Дай, думаю, зайду проведаю, — говорит он, шагая по двору, и руку тянет.

— Немытые у меня... — говорит она и трет ладони о передник.

И молчит.

Встретила его однажды, не так давно. Лапкаускас нынче в город перебрался. Дом построил и живет себе. Работа у него приличная, на лесопилке. Чего ж еще? Землю сдал. Сколько там ее было? Семнадцать гектаров. И свою сдал и двоюродного брата. Коль для народа — ему не жалко. Сразу после войны, еще и разделов никаких не было, пришел в волость и заявил: берите. С него достаточно навоз месить. Пускай другие ковыряются, кому охота. И двоюродный брат, будь он жив, не стал бы спорить. Настоящий советский человек был, царство ему небесное, живьем немца сжег и сам погиб от немецкой пули. Разве кулак он был? Вот и он, Лапкаускас, какой он кулак? Пока шла война, объединил хозяйства, свое и двоюродного брата. Не бросишь ведь на божью волю. Дом, скотина, деревья. А теперь ему ничего не нужно. Слава богу, отмаялся. Жалко, нет больше Катерины. А то бы рассказала, как они с двоюродным братом укрывали семью советского офицера, не допустили угнать в Германию, как пленного содержали, точно родного, и все такое прочее.

Да что он ей рассказывает? Будто сама не знает. Разве не ее с двумя детьми приютили, когда податься было некуда? Хвастаться здесь нечем, конечно, он и не хвастает. Просто к слову пришлось... Не знал он, что ли, какого мальчонку в пастухи берет? Что ли, в кузнице не бывал до войны? Ведь Пятрюкас — вылитый кузнец с лица, не обознаешься.

Да. Однажды она уже встретила Лапкаускаса.

Но зачем он сегодня явился, не поняла.

Может, опять что-нибудь не так?

Может, в свидетели звать? Не похоже. Веселый из себя.

— Ну, так как живете-можете? — спрашивает.

— Спасибо...

Следовало в дом пригласить, все-таки гость...

— А мы и здесь посидим, потолкуем, да пойду я, — говорит он, будто поняв ее. — Где же Пятрас? Где зять-то? — И сам смеется, еще веселее смотрит,

А ей все невдомек, в шутку он, смехом или по правде.

— На работе. В исполкоме.

— Гляди-ка, в большие начальники выбился! А?

— Какой он там начальник!..

— Ну-ну! Думаешь, завидую? На здоровье, пускай. Ведь, бог даст, и породнимся вскоре. Наша Лаймуте все уши мне прожужжала: Пятрюкас, Пятрюкас!

Вот как... Вон оно что... Наконец-то уразумела.

— А что, кума? Чем не родня? Мы его от оккупантов, можно сказать, уберегли, немца живьем сожгли. Он за нас с бандитами сражался, кровь проливал. Чем не герой? Ведь пуля прямо в лоб угодила, а, слава богу, все равно поднялся. Для кого ж, как не для них, и Советская власть?

Сидит она, смотрит на гостя и думает: до чего же верно все, до чего правильно говорит, как по-писанному шпарит.

Вот и «кум» уже объявился. Чем не кум? Можно обняться, поцеловаться.

— Всяк по-своему хорош, — говорит она. — Да нам-то что... Оставим это им, детям. Как сами порешат, так и будет.

— Ну да, ну да! — на лету схватывает Лапкаускас. — Вот и покалякали. Пойду, пожалуй, а то дел по горло. Веранду к дому прилаживаю, большую, стеклянную.

Он вроде поднимается. Только как-то нерешительно, видно, вертится на языке еще что-то.

— А что, кума... Неважно, конечно, не имеет значения! А все же как он, крещеный, нет ли?

— Крещеный, — отвечает она. — А что?

— Да нет, ничего! Какая нам разница! Просто взбрело на ум, вот я и...

Теперь уже действительно встал, сует руку на прощание.

— Вот, заговорила... Так и не вымыла, что ты скажешь, — говорит она и опять вытирает руки передником.

И опять молчит.

Из избы выглядывают дети, она зовет их:

— Подите-ка сюда, подите!..

Одну голову к одному плечу прижала, другую — к другому. И хочет сказать:

«Женится Пятрюкас, и останемся мы одни...»

Но не говорит. Думает. Думает о «куме», который только что был здесь, и о Пятрюкасе, который все никак не придет, не расскажет, не спросит.

Тук-тук-тук.

Пятрюкас косу на дворе отбивает. Только что вернулся с работы, сейчас пойдет в овраг траву косить. А она — в огороде. Прополоть надо. Только на минутку привстала, заслышав, что идет кто-то. Привстала, увидела девушку с распущенными волосами и сразу смекнула, кто это и к кому. Снова на корточки присела, спряталась между гряд и дальше полет. Не ее гость. К кому пришла, пусть тот и принимает.

Тук-тук-тук.

Чего он там стучит, почему не отложит косу? Не видит, что ли?

Тук. Тук.

— Пятрюкас!.. — слышит она.

Тук. И снова — тук.

Что же он косу не отложит? Не видит, не слышит.

Пятрюкас...

— Чего тебе?
— Разве не видишь, какая я...
— Не вижу.
— Посмотри... Посмотри... живот какой!
Тук-тук-тук.
А потом:
— Ну и что?
— Пятрюкас, твой ребенок ведь...
— Откуда я знаю?
— Твой... ты знаешь...

— Не знаю. Ты... не девушка была.
Сидит она в борозде, нагнув голову, а у самой волосы дыбом. Еще коса эта! Хоть бы косу отложил! Тук. Тук. Тук. Не видит, не слышит. Чертополох застрял в ладонях, колется, но она никак не может выбросить. Страшно ей, а кого боится, сама не знает. Пятрюкаса, кума, эту, что пришла, или себя, саму себя.

Тук. Тук.
— Женись на мне!.. Отец убьет, не пожалеет!
— Не убьет.
— Пятрюкас!..
Бренчит отброшенная в сторону коса, гремит, падая на косу, молоток.
— Зря пришла.

Та, видать, молчит. То ли к нему, то ли к столбу прислонившись. Потом снова:
— Убьет! Пожалей меня!..
И бас Пятрюкаса, злой, надсадный:
— Ладно. Скажи... скажи... любишь меня? Скажи! Она подымает голову от земли.
Та, пришла, и впрямь прижалась щекой к столбу, молчит.

— А может, Стяпаса? Гимназиста того, а?
Это Пятрас орет, а та отрывается от столба и пятится к дороге.

— Скажи! Любишь меня?
Та все пятится, пятится. Как бы не грохнулась! Пятится, обхватив живот, и что-то шепчет. Не слышать, но, должно, все то же:
— Женись на мне, Пятрюкас!.. Женись!..
И убегает по дорожке к большаку.
Тук.

Снова, падая, бренчит коса, гремит брошенный на косу молоток.

— Мама! — зовет Пятрюкас. — Мама!
Вот когда мать понадобилась!
Поднялась от грядки, подошла.
— Что скажешь? — спросила, глядя в глаза.
— Мама... Я... видишь...
— Ладно. Молчи, — сказала. — Я все слышала.
— Мама... Что делать?

Мужчина ведь. Говорит басом, с ружьем ходил, кровь проливал. А теперь — мама. Может, мама и виновата, а?

— А ты сам, — ответила. — Как ум и... совесть велят.

Помолчали.
— Не любит она... Мама, а он кулак?
Она поняла.
— Кулак, — ответила.
— Как же так: землю отдал — и все равно?
— Не знаю. Ты учнее. Тебе лучше знать.
— Оставили мы его, не выслали, видишь...
Она ничего не ответила.

Весь вечер больше не разговаривали.
Ночью, лежа с открытыми глазами, смотрела в потолок, освещенный полным месяцем. Много порыхлых досок. Одна, две, три, четыре... Хотела ду-

мать только о меньших. О меньших. Вите надо штаны залатать. И где он только успевает! Шей не шей, весь зад, как решето. Тане ленты выстирать... Таня одна теперь, как котенок. Девять, десять, одиннадцать... Паутина блестит. То ли новая, то ли так и за-была смахнуть тогда. Новая, небось.

За стеной скрипел кроватью Пятрюкас. Затихнет — и снова.

Потом сам пришел.
Приоткрыл дверь, остановился.
— Спишь?
— Нет.
Сел на край постели.
— Не сердись, мама.
— Чего мне сердиться?
— Не женюсь я на ней.
— Твое дело.

— Не женюсь. Не любит она меня... Любила дру-гого...

Она молчала.
Потом сказала:
— Ладно, ладно... Ступай. Я спать хочу.
И снова одна.
Смотрела на рыжий потолок, на блестящую паутину. И видела, как сама, молодая, валялась в ногах у Антанаса:

«Женись на мне, Антанас!.. Женись!..
Смотрела в потолок. Одна, две, три... До двадцати.
Кололо в левом боку, в плече, и левая рука замле-ла, как неживая.

— Нет, — ответила она, —
это не я при фонаре смотрела.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Пять?

Вот и опять...
Стоит она простоволосая. Стоит и платочком машет.

Пришла девушка, такая молодая, красивая. Проводит Витю до границы. А там уже мать дожидается. Родная.

Конечно, разве родная мать выдержит?
Говорят, письма писала — сотни писем, тысячи пи-сем, — и письма эти были мокрыми от слез. Помо-гите, люди, помогите ей сына разыскать. И до их города те бумаги дошли, и вызвали ее, спросили:

— Виктор сын тебе? Или нет?
— Сын...
— Сын-то сын... Но, может, и сын, да не твой?
— Видно, так.

Ну, еще говорили и еще расспрашивали. Даже надоело рассказывать.
И вот увели.

Молодая, красивая такая девушка до границы про-водит, в руки матери передаст.

Еще хорошо, что к Пятрюкасу успел сходить по-видаться.

— На, Витя, — сказала, подавая краюху хлеба и ло-моть сала. — Чтобы хлеб у тебя всегда был... Как приедешь, так сразу и скажи: черный хлеб — самый лучший. Хотя, скажи, и он не всегда бывал.

Вот стоит она и машет платочком.
Кто теперь придет, кто скажет: «Мама... Ты знаешь где Пятрюкас?»

А она:
«Хорошо это? За старшим братом, как хвост, таскаетесь?..»

Или тот вечер...

В жизни не забудет того вечера.

Уже спали все. Только он не ложился. Подвел ее за руку, посадил за стол. Свет погасил, зажег фонарь, поставил рядом, а сам напротив сел.

— Смотри на меня.

Она еще не поняла.

— В глаза смотри.

И она посмотрела в глаза.

— Я знаю, почему ты тогда, ночью, на меня смотрела. Смотри, теперь я не боюсь. И никогда больше не буду бояться.

— Иди спать, — сказала она. — Быстрей!

А теперь вот платочком машет.

Боже мой! На Таню — полтора стакана молока! ведь радоваться надо. Что, не так? Полтора стакана Тане — больше, чем Пятрюкасу. И ей надо. Пусть растет быстрее, пусть щечки румянятся, косички толстеют. Говорят, надо звать Танюшей. Нет, ей кажется, что лучше — Таня.

— Таня, доченька!.. Уроки сделаны? Смотри у меня! Одна теперь осталась, придется больше стараться. Но ты не бойся. И я с тобой буду уроки учить. Хорошо? И не скучно будет. Разве со мною скучно?

Конечно, нет.

Чего ж еще?

Только вот...

— Нет, — ответила она, — человек не ягненок.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Держа Таню за руку, она подошла к большому, самому красивому в городе зданию, несмело огляделась, а потом стала просить, чтоб ее впустили. Объяснила часовому, кто она и зачем пришла. Она бы ему всю свою жизнь рассказала, но он только мотал головой, не впуская, а потом разозлился и крикнул:

— Посторонись!

Она нагнулась к девочке:

— Таня, ты проси!..

Девочка подняла свое худенькое глазастое личико и стала просить:

— Дяденька, пропустите!.. Нам к самому главному! Дяденька... нам очень надо!

Тогда часовой приказал перейти на другую сторону.

Перешли.

Сели на траву на той стороне улицы и не сводили глаз с большого дома напротив, трехэтажного, самого красивого в городе, с коричневой вывеской. С двумя коричневыми вывесками у входа: одна — слева, другая — справа от двери.

В тот день, едва придя с работы, Пятрюкас сказал:

— Мама, я вступаю в партию.

— В партию?

— Сегодня подал заявление.

— Комсомолец ты, молод еще... Мог бы подождать...

— Нет.

Она долго молчала. Потом ответила:

— Ты уже не ребенок, сам знаешь, что делаешь. Я тебе ничего не запрещала, хоть и вечно боялась за тебя. Вступай, если это нужно тебе, Тане, всем людям. Не спорю я, нет.

Она не знала, что такое партия. Знала, что такое Советская власть. Для нее это было одно и то же — партия и Советская власть. Она не отделяла их.

Каждый день радио говорило и газеты писали, но все слушать, все читать не успевала, потому что и так хлопот по горло, а тут еще Витю отняли, и осталось пустое место — еще одним пальцем меньше. И забот прибавилось, и уставать стала.

Все спали, когда загремела дверь.

Господи, кто?

Кто там?

Бандиты? За Пятрюкасом пришли?.. Господи! Но ведь лес давно очистили, давно нету их!..

Может, недобитый какой-нибудь? Отомстить пришел?

Долго не отпирала, все прислушивалась.

Подошел Пятрюкас с топором в руке.

— Пусти.

Слава богу, обозналась. Свои. Все страх. Все этот застарелый страх несусветный.

Но и эти — за Пятрюкасом.

Не может быть. Не может быть!..

За Пятрюкасом?

В одной, в другой комнате порылись, Танины тетрадки, книжки разворошили. Бумаги какие-то искали. Письмо от дяди Пятрюкаса в карман спрятали.

— Это ерунда, чепуха какая-то! — улыбался Пятрюкас. — Не бойся, мама. Ерунда!

Она шла сзади, как была, босая, натянув только юбку и накинув платок. Те ругались, но она все шла за ними, поотстав немного, пока не дошла до того дома, большого, самого красивого в городе.

День прождала, ночь, пересчитывая потолочные доски. И так — целая неделя. Когда же эта чепуха, ерунда эта кончится?

Она сидела в чистой комнате — в кабинете самого первого секретаря, сидела в мягком кресле, перед бывшим «лесником» Юодейкой. Кресло было такое мягкое, что даже неловко. И на душе посветлело малость, отлегло от сердца.

— Что?! Пятрюкаса? — усмехнулся Юодейка.

Он же знает его, они ж еще с войны знакомы, с той поры, когда Юодейка переправлял людей к партизанам.

Разве не он и рекомендацию Пятрюкасу давал?

Он позвонил по телефону, посмеиваясь в прокуренные усы, а потом уже и не говорил почти, слушал только. Затем трубку положил, глаза потупил.

Поняла она, что надо вставать, уходить.

Он тоже встал, поцеловал ей руку, все не подымая головы.

— Не бойся. Не отчаивайся. Подождать придется. Подождать... Так быть не может, сама ведь видишь, понимаешь ведь. Надо ждать, вернется Пятрюкас.

Он говорил тихо, по-прежнему не подымая головы. Так тихо, что она с трудом разбирала слова.

— Если неприятности будут, если понадобится что-нибудь, приходи, я всегда...

Знала: можно прийти к нему.

Но какие могут быть неприятности хуже той, что с Пятрюкасом?

Ждать?

Ждать она привыкла. Может и еще подождать, только знать бы, чего ждешь.

Что она делает сейчас?

Ждет.

Сидит перед большим домом с коричневыми вывесками и ждет самого главного. Если к нему, внутрь, не пропустили, она может здесь посидеть, подождать, покараулить.

Как он будет домой идти, она и подойдет, поговорит, все ему выложит.

Человеку в жизни и не столько ждать приходится. Что там час, другой?!

Уже могли бы кончить ерундой-то заниматься да отпустить Пятрюкаса...

Смотрят они с Таней на плотно завешанные окна в доме напротив и не знают, что там творится, чем там люди заняты.

Не знают, что стоит Пятрюкас вон в той комнате, у стены, на вопросы отвечать должен. А он не отвечает, молчит.

Не знает, что сказать, не понимает, что случилось.

Хотел все с самого начала выяснить.

Посмотрел человеку, который вызвал его, прямо в глаза.

— Товарищ капи...

— Был, пока ты там, по улице, ходил.

И тогда он замолчал. Замолчал — и ни слова. Порой и хотел бы заговорить — не может.

— С какой целью подделал документы?

— Согласно костельной метрике?

— Кто ее выдал?

— Не тот ли викарий, который все двадцать пять отхватил?

— Оклеветал честного гражданина Лапкаускаса. Он первым землю отдал, первым на выборы приходит, изо дня в день трудовое задание перевыполняет. А ты обманул девку и хотел свои грехи на Советскую власть списать! Советский строй дискредитировать!

— Мы теперь все распушаем... Мы докопаемся, почему в твоих колхозах дела не идут на лад. Мы все знаем. Признавайся, тебе же лучше будет.

— В партию хотел пролезть? За партийным билетом спрятаться?

Затем тишина. Такая хорошая. Вот бы длилась так без конца, прогнала бы страшные мысли!

— Разрешите мне позвонить по телефону. Я вас очень прошу... Пожалуйста.

— Кому?

— Юодейке, первому секретарю.

— Юодейке? Что еще ты знаешь о нем? Говори. Быстро! Что еще?!

Сидели они с Таней перед плотно завешанными окнами и ждали главного.

Откуда им было знать, что там, в комнате, у стены, Пятрюкас должен отвечать на вопросы, что порой он и сам рад бы ответить, да не может вымолвить ни слова.

Дождь наконец, увидела: на той стороне главный выходит. Перебежала через улицу, держа Таню за руку.

— Добрый день... — сказала.

Он не остановился.

Тогда догнала его и осторожно взяла за локоть.

— Как Пятрюкас, почему так долго не возвращается?

— Не знаю, не знаю. Это дело я еще не смотрел.

— Дело? Ведь нас тут каждый знает, я сама все рассказать могу, всю жизнь, если надо...

— Не надо, не надо. Если понадобится, вызовем.

— Я вам все могу, что только хотите...

— Не мешайте, мамаша. Отойдите, пожалуйста.

Она нагнулась к девочке.

— Таня!.. Ты скажи, попроси!..

— Дяденька! Почему Пятрюкас не приходит домой?

— Посторонись, мамаша!

Чужало материнское сердце.

Сразу поняла.

Не ерунда это и не чепуха какая-то.

Еще Лапкаускас недавно встретился.

— Нет худа без добра... Иль нет, кума? Вишь, не женился, а? И слава богу, и ладно, а то ведь загремел теперь. И кто бы мог подумать?! Лаймуте-то наша ничего, оправилась, и ребеночек, слава богу, неживой родился. Не бойся, кума, много не дадут. Может, десятку, а может, и все пятнадцать. Нет худа... А?

А на этой неделе приезжал Юодейка.

Вылез из «газика», подошел к ней.

— Здравствуй!

— Здравствуй!

— Как живешь, как держишься?

— Так и держусь.

— Может, надо чего? Скажи, мне ведь можешь сказать.

— Чего же мне понадобится...

— Ждешь?

— Жду.

— Жди.

— Буду ждать.

— Может, все-таки нужно что-нибудь?

— Ничего. Не трудись. Не езд. Сама ведь вижу.

Если бы ты мог! Не можешь...

— Ну, бывай...

— Счастливого пути!

Прижала Таню к груди. Вот оно как! Одна при ней осталась.

Разве подумала бы когда-нибудь? И во сне бы не приснилось такое.

Только что ведь полон двор был и шума, и гомона, и разодранных штанов. И вот уже одна девчушка.

Никогда не думала...

Такое и во сне не снилось.

— Он вернется?

— Вернется, детка, а как же?

— Надо ждать?

— Ждать?

Что ж еще, как не ждать?

Уже и привыкнуть бы, казалось, надо. Разве нет? Ведь всю жизнь ждала. То одно, то другое.

Ждать...

Всякое бывает ожидание.

Бывает радостное.

Бывает тревожное.

Бывает со слезами на глазах.

Бывает с улыбкой у рта.

Страшно ждать, когда ребенок уходит с ружьем и подолгу не возвращается.

А как ждать, когда в тюрьме?
Как смотреть на дорогу, может,
десять, а может, и все пятнадцать
лет?

Чего хотела она, на что надея-
лась, дважды в день ковыляя по
дорожке до большака и обратно?
Разве это тебе ягненок?

То, казалось, вот-вот зарежут,
а то вдруг раз — и все солдаты
выстроились: «смирно!».

И виноватый стоит, трясется пе-
ред всеми.

И кричит ему человек в погонах
со звездами, опаленный солнцем,
овеянный соленым ветром.

Кричит ему:

«Трибунал!»

Но ведь то ягненок.

Все равно?

Ягненок и человек?

— Поди сюда, Таня. Поди, дет-
ка. Потри-ка мне левую руку. За-
млела вся. Вот так, хорошо. За-
млела, и в плечо отдаёт, стреляет,
будто иголкой колет.

Надо ждать.

Ждать.

Она знает. Много знает.

— Нет, — ответила она, —
своего счастья другому не от-
дашь.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

А это что еще?

Отец?

Отец зовет.

Уже и в газетах было.

Не раз.

Нет, ошибка, не иначе.

Мало ли Антоновых на свете, а?

Она не выходила из дому, си-
дела, примолкнув, съездившись,
как мышь под метлой.

И девочке ничего не говорила.

К чему ребенка дразнить, мо-
жет, это еще ошибка какая-то, пу-
таница?

Только долго ли будешь мол-
чать?

Не мышь ведь. Не под метлой
сидишь.

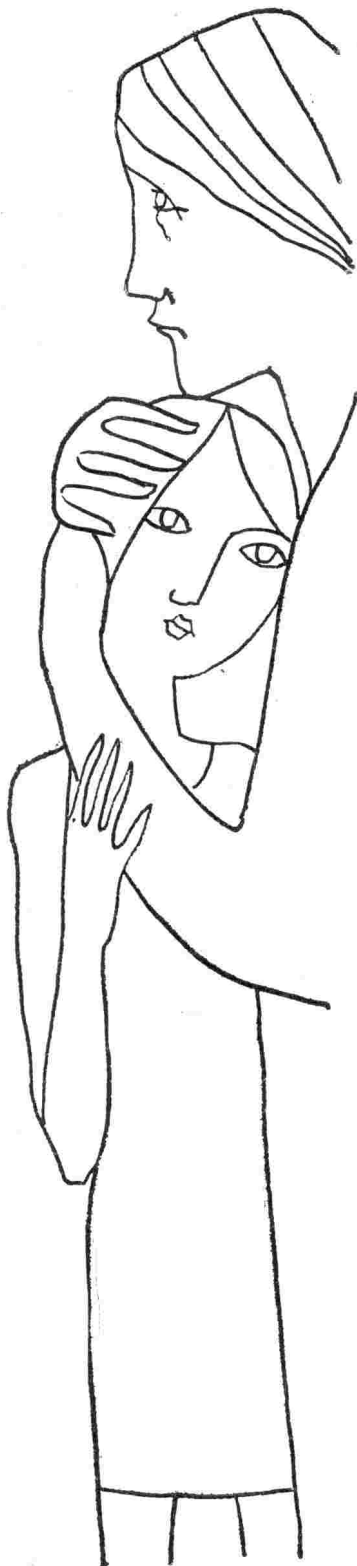
Стоит она, простоволосая, с рас-
трепанной седой косой.

Стоит и платочком машет.

Отец ведет Таню по дорожке,
вот сейчас за деревья, на большак
свернет.

Ведет отец, а она все бо-
ком, боком — оборачивается, ру-
кою машет и косичками машет,
двумя синими лентами.

Не дождалась девушка Пятрю-
каса.



И проститься не смогла.

Ведь не станет ее отец ждать
тут десять, а может, и все пятна-
дцать лет.

— Берегите девочку! — проси-
ла. — Она такая хрупкая. Не за-
будьте ленту заплетать и молоко
давайте вовремя. Любит молоко-
то! А еще если козье! Жирное
оно, полезное. У нас-то не всегда
было, что поделаешь! Зато теперь
уже есть.

В самом деле...

Вот стоит она, платочком ма-
шет.

И останется вечером молоко —
два с половиной стакана. Радо-
ваться бы человеку. Только нечего
радоваться. Может, Пятрюкасу
отнести? Разве отнесешь?.. Будет
стоять, киснуть, куда девать по-
том? А ведь немало, чуть ли не
три стакана.

И вдруг вспомнила. Господи бо-
же мой! Как она могла забыть?

— Таня! Танюша! Таня! По-стой!

Побежала в избу, нашла тот
желтый конверт — грубый, после-
военный, что был засунут в бук-
варь. Стиснула в руке.

Догнала, запыхавшись, обняла
еще раз.

— Бери, детка, храни на сча-
стье!.. Пока вырастешь, а там и
пока состаришься. Самый краси-
вый цветок для последнего дер-
жала. С шестью лепестками. Бере-
ги, не сломай. Сухой он, цветок.
Свежих ведь не найдешь сейчас.

Потом вернулась в дом. Пове-
селела чуток. Ведь еще минутку
с Таней побыла, еще слово ска-
зала. Еще минуту вместе, не одна.

Только, известное дело...

Стоит она, простоволосая, с рас-
трепанной косой.

Платочком машет.

Долго машет.

Долго.

А в сарае коза блеет.

Чего ей? Вроде доить не время
еще.

— Нет, — ответила она, —
человек — не птица.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Ждать?

Хорошо, когда знаешь, чего
ждешь.

Слава богу, знала теперь.

А газеты пишут, а радио гово-
рит!

И слово такое вышло: «реабилитация».

Сидит она в большом кабинете, в мягком кресле, таком, что даже неловко как-то, а Юодейка ей подмигивает и телефон крутит. И уже не спрашивает, а сам кричит в трубку:

— Как там? Да, да, насчет того самого! Нельзя ли ускорить? То-то! Для себя стараетесь. Для людей стараетесь. То-то!

Только вдруг опустились руки Юодейки, и трубку положил. Поднял отяжелевший взгляд, на нее смотрит. Еще улыбнуться пробует. Только улыбка кривая вышла...

Подождал, руки ей гладит, говорит:

— Прости меня!.. Прости нас... если можешь! Реабилитирован он, да только... умер он...

— Что?! — кричит она. — Ты что это выдумал?.. Нет!

Господи боже мой!

Хорошо, когда знаешь, чего ждешь.

Она знает, знает все. И все равно пытается прожить за сына не прожитую им жизнь.

Вот видится ей, он шагает от большака. С торбой на спине.

Запыленный, должно быть, усталый, голодный.

Беда, что запыленный? Ждет котел горячей воды.

Беда, что голодный? Стол всегда накрыт, и хлеба досыта.

Ну и что, если устал? Кровать постелена, лишь бы отоспаться дали.

Только бы вернулся! Только вернулся бы наконец!

Вот стоит она, прикрыв лицо ладонью от утреннего солнца. Бежать бы навстречу, да с места не сдвинется. Крикнуть — в горле пересохло. Сухо в горле, а глаза мокрые.

Потом уже и ноги начинают слушаться и горло.

Бежит по дорожке. Седая коса упала, по плечам бьется.

«Сынок!.. Сыночек мой!..»

Он сбрасывает торбу, обнимает ее сухие плечи.

«Видишь, я говорил, ерунда, чепуха какая-то».

Она улыбается, хоть видит морщинки на лбу и у рта.

«Еще какая чепуха-то!» — отвечает она, пальцами глядя его лоб.

Чепуха? Как для кого...

Кто за материнскую обиду воздаст? Кто сыновьи морщины разгладит?

Может, тот? Ну, тот — «посторонись, мамаша!»

Встретила позавчера. В цивильном ходит, на промкомбинате заготовщиком теперь. Поклонился в пояс.

— Добрый день, мамаша!

«Молчал бы уж... — думает она. — Молчал бы лучше!»

Замолк.

И снова слышится ей голос Пятрюкаса:

«Мама, завтра собрание. Принимают меня».

Смешные эти дети, нет? Ну, скажите. И мужчинами вырастают, а все равно смешные.

Будь еще другие здесь, будь хотя бы Таня при ней. Все-таки иное создание, женское.

«Разве нам вдвоем плохо? Ма... Ведь нам с тобой хорошо. Снова вместе».

Конечно, разве плохо вдвоем, вместе... Чего уж там!

Только вот...

«Мама, идти ли мне в колхоз?»

Она только руками всплескивает.

«Куда тебе, сынок!»

«Предлагают мне тут, неподалеку. Председатель там очень нужен».

«Какой же из тебя председатель? Хватит, что я с малых лет по полям на коленках ползала. А в войну? Мало довелось тебе? Мало? Хоть бы усы отрастил. Не стыдно было бы стариков учить, которые получше твоего разбираются. Молод ты еще, парень».

Но смотрит на его лоб в морщинах, на складки у рта.

Молчит.

«Осталась я одна с тобой. А с тобою-то самое и горе».

Она знает все. Знает, что нет Пятрюкаса. Но продолжает жить его непрожитой жизнью.

Знает, что не один он в колхоз хочет.

Не успел погулять — и уже! Годы молодые, что ли. Мог бы найти себе моложе, красивее. И без ребенка. Без пересудов людских. Подумаешь, докторша. Поди пойми, что там у него: любовь или жалость? Вытащил из воды, когда она с моста бросилась, а ей только того и надо было. Сразу на шею парню. Так не скажешь, конечно, может, и хорошая женщина. И жаль ее... Только как же это вдруг, сразу?

Знает мать, что не один он в колхоз собирается.

Сам ведь говорил:

«Там доктор требуется. И ей подальше от города будет лучше».

Хочет она спросить, очень хочет:

«Может, доктор там больше председателя требуется, а?»

Но молчит.

Ведь не скажешь: может, жалость-то проходит, а за ней приходит другое что-то.

Видно, такое уж его счастье.

Какой парень!.. Мог бы моложе. И без ребенка.

Теперь лишь наездами бывает.

Может, и чаще приезжал бы, да времени все в обрез.

Наездами.

Вымоет его, носки выстирает. Не важно, грязные они или чистые. Выстирает, а чтобы высохнуть успели, утюгом сушит. Не беда, угли раздувать не надо. Штепсель воткнула — и гладь.

А Пятрюкас все про то же. Уши прожужжал. То не посеял, это не уродилось, то посеял уже, а это вот-вот уродится...

Смотрит она на его сапоги, грязные, стоптанные, смотрит на загнанную лошадь с впалыми боками, смотрит на лицо Пятрюкаса, побуревшее, обветренное, потрескавшееся.

Спрашивает у него:

«Ну, скажи, сын, будет ли лучше жить людям?»

«Поехали со мной, увидишь».

Но она не едет.

Только провожает его, как в тот раз, когда с семьей проводила.

Проводила их до большака.

По дорожке шли медленно, хотя у деревьев давно ждал грузовик. Шла между Пятрюкасом и той, с дочкой на руках. Разговор не клеился. Может, вспомнила только, что уже не первого провожает и не второго, не третьего. Последнего. Ладно, что сама не едет. Кто бы тогда проводил? Некому было бы. А так она и проводит и в машину посадит. Пусть сами поживут. Свыкнутся, обживутся, может, аист еще ребеночка принесет, вот тогда она и приедет посмотреть, как да что, свою руку приложить. Добро бы зять был, а то свекровь с невесткой, невестка со све-

кровью. Что, не верно? Приедет, успеет еще, никуда не денется. Хочется подольше пожить тут, где когда-то все были — совсем все. И мальчик и Юозукас.

Пыталась шутить:

«Может, и мне замуж? А что? Найдется жених какой-нибудь...»

Так что же пожелать Пятрюкасу, а? Хорошего сева? Или доброй жатвы? Полновесного трудодня? Что пожелать ребенку, если он ни с того ни с сего — председатель?

Отвела ее, ну, ту, в сторонку, шепнула на ухо:

«Ноги у него потеют. Носки ему каждое утро меняй...»

И опять стоит она, прикрыв рукою глаза от солнца.

Накинув платок.

Холодно.

Дрожат губы. Узкие, сплюснутые годами.

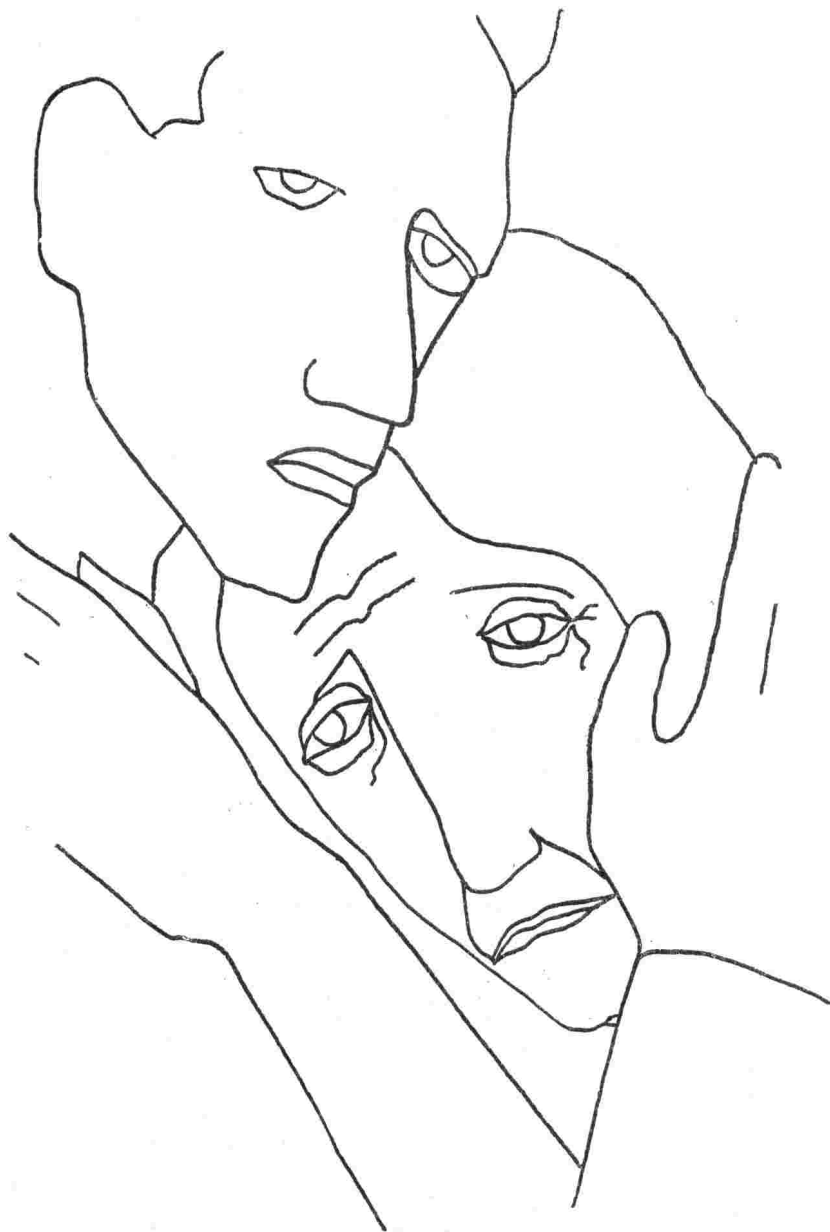
Вздрагивают щеки.

Она знает, знает и все-таки не хочет знать, что вправду есть и было, а что сама придумала. Видно, так ей легче.

Стоит одна. Ждет.

Холодно.

Осень уже.



— Нет, — ответила она, — никому нельзя убивать.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Едва ступив на порог, сунул ей коробку конфет, схватил руку, поцеловал. Она и опомниться не успела. Снял шапку, и блестящая лысина осветила сумрак сеней. Объяснил:

— После тифа, так и не отро-сли больше.

Сам, не дожидаясь приглашения, шагнул в избу.

— Угощайся. Вкусные, — показал на конфеты.

Подшел к столу, сел, поправил ворот, чтобы не давило шею.

— Садись, чего стоишь? Я здесь гость, не ты.

Села и она. Напротив. Спихватилась, что в руках у нее конфеты. Бросила коробку на стол. Засмотрелась на два цветка и трехслойную мармеладину на крышке.

— Видишь? Гора с горой не сходятся, а человек с человеком...

Она оторвалась от коробки и снова опустила глаза.

— Ты что? Я давно уж под другой фамилией, честным человеком стал. В Ионаве, на строительстве тружусь. Там большой завод строят. А может, что стар, не нравлюсь? Так и ты уже не молодка. Одна, стало быть, коротаешь век?

— Одна.

— Видишь. Билась, билась, а на старости лет одна.

— Одна.

— И сына нашего не сохранила.

Тут она вздрогнула.

— Не виню я, нет. Время такое было. Не по своей же воле тогда шел к тебе. С немцем. Макс ли, Ганс ли. Разве всех упомянешь! И я вот один живу. Все посматривай, поглядывай по сторонам: не знакомый ли? По всей Литве народ разъехался. Так и жди. За каждым углом. На ночь ставни заперешь, свет погасишь, только тогда и вздохнешь свободно. И то — один. Не с кем слова сказать!

Он протянул руку через стол, хотел взять ее ладонь, но она подвинула конфеты.

— Сам пробуй. Говоришь, вкусные.

— Только ты вот и осталась,— выговорил шепотом.— Может, не веришь... А я все время о тебе думаю. Ставни запру, свет выключу, вытянусь на постели, глаза закрою и вспоминаю молодость. Себя, парня молодого, и тебя, девуку, словно молоком омытую.

Она все так же смотрела на крышку с двумя цветками и трехслойной мармеладкой.

— Все по молодости дураками были. Не думай. Когда я с белой повязкой ходил, тоже немного зла делал, не то что другие. В карьере тогда, может, и прикончил кого-нибудь. Споили. И приказ такой был. Или, скажем, после войны, в лесу. Так я все в бункере стсжимался. Было два-три дельца. А то как же? Из леса бы выгнали или самого к стенке. Не со зла я это.

Она снова оторвала глаза от крышки и снова потупилась.

— Ежели насчет... насчет своих думаешь, так это уж точно не я. Просил—не надо, на коленях умолял. Да разве они посмотрят! Убили—и все тут. Не я, провалиться мне на этом месте, не я...

— А твои как? Вернулись?—спросила она.

— Мои? Бог знает. Может, померли старики. Наверно, померли. Что ты! Разве будешь доискиваться? Говорю ведь, фамилию сменил, честным человеком стал, на стройке тружусь. Большой завод строим. Конечно, власти теперь помягче. А только все один да один, не с кем словом перекинуться. Только ты вот и осталась. Может, не веришь? А я вправду... Если нет, разве показался бы в своих местах?

Замолчал. Погладил голый, блестящий череп.

— И еще тут дельце есть одно. Небольшое. Ну, это попозже. К вечеру. Подождем, когда смеркаться начнет. Может, пособишь мне, а?

— Что еще?

— После, после. Не горит, и не так уж важно.

— Ну, угощайся... Говорил, вкусные,—снова подвинула к нему коробку.— Я пойду. Убраться надо.

Выбежала во двор. А там уж и не знала, за что взяться. То ли траву косить, то ли козу доить, то ли картошку копать или собирать пожелтевшие помидоры... Потом взялась за топор, стала рубить хвост. Дело к ужину.

Уже кучка хвороста.

Уже куча целая.

Уже и на завтра, и на послезавтра, и еще на день.

А так славно рубить, так славно, и в избу не хочется.

Только все равно надо.

Тот же хворост занести. Детей нет, помочь некому.

Вернулась в дом, стала у порога.

— Садись. Какой разговор стоя? Или гостя ты в своей избе?

Присев к столу, снова смотрела на коробку, уже открытую, на красивые трехцветные мармеладки, облепленные белыми крупинками сахара.

— Ты не думай... Мне на жизнь хватает, зарабатываю. И тебе хватит, если вместе захочешь. Еще и приданое будет. Такие времена пошли: уже не бабы, не женщины, а мужики приданое несут. А? Хе-хе. Коли вместе не пожелаешь, пополам разделим. Видишь... У меня там, возле карьера, жестянка зарыта. Думаю, не проржавела бы, а? Зачем пропадать добру? Вот и сходим, откапаем. А?

Она вынула из ровного ряда ломтик мармелада, стиснула, и конфета прилипла к пальцам.

— Угощайся, угощайся, вкусные.

Хотела выбросить, потерла пальцы, а они еще больше слиплись.

— Не думай, мне на жизнь хватает, зарабатываю, да вот... У тебя спокойная старость будет, до гробовой доски обеспечу. И мне... рубль-другой сгодится. Хе... Помнишь, сколько лошадей мы держали? Не помнишь? Семь. Это у меня слабость такая, хе, никак не отделаюсь. Запираюсь вечерами и шорничаю. На трех лошадей сбруя готова, а на остальных не хватает. Видишь... Непокорно в мире нынче, ой неспокойно.

Он гладил блестящую лысину и, пряча ухмылку, хитрым глазом исподлобья смотрел на женщину.

— Может, сходим, а? Откопать пособишь, принести. Когда вдвоем, никто и не подумает. Кому в голову ударит? А сосенки там еще растут?

— Растут.

— Вот и ладно. А домов поблизости не строили?

— Нет.

— Никто не увидит?

— Наверно.

— Так и думал.

— Как есть.

— Смеркается. Пойдем, пожалуй, а?

Она кивнула.

— Возьми платок какой-нибудь — банку завернуть. А мне — лопату.

Взяла платок.

На дворе дала ему лопату.

У колоды, где хворост рубила, он увидел топор.

— И топорик прихвати. Может, корни рубить придется.

— Ага.

Пошли.

— Говорил я... Одна ты осталась,— промолвил он, глянув на женщину.

Вышли на большак.

Прошли по вечерним улицам.

Миновали город — и снова большаком.

Вроде бы недалеко, да уже старость, видно.

Запахалась. Передохнуть бы.

Еще топор оттягивает руку. То и дело перекладывая его из руки в руку или бери в охапку, как младенца. Легче.

Недалеко уже.

Сосны виднеются.

Недалеко.

Сразу за поворотом — и карьер.

— Сядь, отдохни. Я сейчас... Намечу.

Подбежал к одной из сосен, отсчитал несколько шагов.

Подбежал к другой — еще отмерил.

И от третьей пошagal, что-то считая.

Скинул пиджак, шапку.

За лопату взялся.

— Ты сиди, отдыхай,—говорил, обливаясь струйками пота.— Если будут корни,—обрубишь.

Может, час, может, два все копал и копал.

И радостно было ему, что земля жесткая, нетронутая, проросла травой.

Потом вроде лопата о железо звякнула. Он выпрямился. Посмотрел по сторонам. Прислушался.

— Есть...—проговорил.—Вот корень — руби. Давай руби корень.

Подождала она.

Яма была мелкая. Только широкая. И длинная.

Смотрела, как он присел, нагнулся.

— А? —спросил он, освобождая корень пальцами.—Звенит? Рубай!

Замахнулась и ударила, рубанула. Хотела еще раз топор поднять, да застрял в лысой голове.

За соснами, далеко, за всей землей, садилось багровое солнце.

И сильный ветер поднялся.

Стояла она, уронив руки, а ветер трепал ее волосы — белые, как лен, мокший-перемокший, сохший-пересохший, как столетний лен.

Она смотрела на багровое солнце.

Может, вспомнила сына, Юозукаса?

Может, мальчика, которого своим молоком вскормила?

Таню?

Витю-Вальтера?

Пятрюкаса?

Отца с набитым землею ртом?

Может, девушку, понесшую от Пятрюкаса, ту, что стояла, обнявши столб?

Может, того, в мундире — «посторонись, мамаша!»

Четыре сбури, которых не хватило до семи?

Себя.

Стоящую возле дома, за дорожкой, вскинув руки, измазанные землей и кровью, посылая проклятие. Черное проклятие.



На суде было бы так.

Зал встает. Молчит.

Люди долго слушают, слушают все сначала, но ждут конца.

Вот и конец.

Приговор:

Бернотас Антанас, сын Казиса, приговаривается к смертной казни.

Решение суда окончательное.

Приговор исполнен.

— Нет, — ответила она, — человек должен жить.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Я редко бываю здесь. Почему?.. Иногда мне кажется, что пешком пришел бы. А иной раз хочется все забыть, будто не был рожден на свет, просто взял и явился откуда-то такой, как есть, и никогда тут не жил, и всегда был таким, как сейчас.

На бывшей базарной площади разбит зеленый сквер. В бывшей гимназии, некогда красной, а ныне побуревшей, какое-то учреждение, а может, и не одно. Где-то здесь была лавочка, в которой продавали «казенку». Дальше — лавка со сладким печеньем, белыми кругляшками, обсыпанными сахаром, и с пирожными. Сперва по десять центов штука, после по двадцать пять копеек, а потом...

Длинное шоссе — автострада — главная улица города. Двухэтажный ресторан. С большими окнами. Стекло и металл, стекло и... Оба комитета в одном здании — прямые линии, уже без колонн и завитушек.

Всякие мысли приходят, когда попадаешь в родной город. Хорошие и плохие, веселые и не очень. Порою умные, а порой...

Я думаю, что здесь, в центре города, на бывшей базарной площади, посреди цветущего скверика, могла бы стоять высокая статуя женщины. Я не знаю, как она должна выглядеть, не знаю даже, как ее назвать. Я назвал бы ее...

Всякие мысли приходят, когда попадаешь в родной город.

Я выхожу из автобуса.

Оглядываюсь.

Люди уже не те и не такие. Далекие, потому что я для них чужой. Все меняется.

Есть за городом одно место — постоянное, неизменное. Там мне все знакомо.

Но это — позже. Чего торопиться на кладбище?

Может быть, сперва заглянуть туда, где стекло и металл в два этажа? Заказать что-нибудь покрепче: три звездочки или пять, а может, белой, казенной...

Пожилая женщина останавливается на тротуаре и смотрит на меня, слегка нагнув голову.

Я поворачиваюсь к ней и вздрагиваю.

Да, это она: Вероника.

Я беру ее руку. Целую. А она не дает. Ей трудно, потому что я держу крепко, а пальцы у нее — сухие, тонкие, обессиленные, только суставы разбухли и в прозрачных венах беспокойно пульсирует кровь.

— Здравствуй, — говорит она.

И медленно, будто поправляя волосы, проводит свободной рукой по моей голове, притрагивается к лысеющему лбу.

— Выросли все. И у Петрюкаса волос редеет. Такой густой был, гребни ломались, а нынче... Взрослые. Ну что ты смотришь? Или нет у меня такого права, чтобы хоть немножко легче было?

— День добрый, Вероника, — говорю я наконец.

И мальчишеское желание: взять ее за руку, повести в сияющий магазин напротив, купить... Что? Может быть, платок? А может, материю на платье, красивую, какой у нее в жизни не было? Может, серьги? Или янтарные бусы? А может...

Она слегка улыбается и сама берет меня за руку.

— Идем. Я теперь тут рядышком живу, поблизости. Квартире мне дали, с отдельной кухней. Как барыне.

Я иду за ней.

— Как дочурка? — спрашивает она. — Здорова?

— Здорова. Нынче в школу пойдет.

Она смеется:

— Ишь, какая уже. Так ни разу и не видела ее. Хотя привез бы погостить когда-нибудь. Клубники пару грядок посадила, землянику собираю. Сходили бы с ней по ягоды.

— Вы же знаете, зачем я приезжаю...

Она останавливается перевести дух.

— Могилы могилами, сынок. А мы живы, живем, жить и надо.

Мы сидим за небольшим столиком у нее на кухне. Она подала тарелку клубники, сочной, брызжущей румянцем. На скорую руку помыла, обсыпала сахаром, залила молоком и поставила передо мной, еще отрезала черного хлеба ломоть.

Хлеб пахучий, молоко холодное, а ягоды красные, сочные, так и тают во рту.

Она молча посидела напротив, потом встала, прошла в комнату. Я видел, как она остановилась перед зеркальной дверцей шкафа. Сняла платок, причесалась, поправила жидкую косицу, свернула ее, заколола, снова повязала платок и уже хотела было вернуться на кухню.

Да еще на минутку задержалась.

Посмотрела в зеркало.

Я заставил себя забыть, что это она, Вероника, и увидел сутулую спину, высохшее с годами тело, се-

дые волосы надо лбом и сбавившееся морщинами лицо.

Сколько лет этой женщине? Сто? Двести? Только вот глаза сбивают с толку. Так сколько ей лет? Столько же, сколько нашей земле?

Иногда надо уметь считать и считать правильно. Не думать о четырех временах года, о трехстах шестидесяти пяти или шести днях.

Она смотрела в зеркало, неуверенно пытаясь разгладить морщины у рта худыми пальцами.

Что она видит там, в зеркале?

Совсем недавно я тоже долго вглядывался в зеркало. В зеркало своих мыслей.

Я моложе Вероники, и, надеюсь, она простит меня, если увидел что-либо не так, как было на самом деле.

Правда, Вероника?

Она уже возвращается.

Правда?

Я снова вижу ее глаза, и, наверное, в шутку она рассказывает, что хочет выхлопотать пенсию.

Скоро и аист в гости: Пятрюкас сына ждет. Почему именно сына? Так ей хочется. Она давно собирается к Пятрюкасу и уже поехала бы, только как же так — на все готовое? Ведь теперь государство платит пенсию. Может, и ей что-нибудь положено? Конечно, с бумагами беда будет. Никаких бумаг у нее нет, никаких писулек. Только раз в жизни была у нее бумага, давно это было. Нет ее уже. Да и что в ней проку сейчас?

Ну так как, сударь?

Сударь что-то обещает. Конечно же, он постарается. Разумеется, он все сделает. Но, прощаясь, он думает о другом.

Что оставил я Веронике? Что?

А унес с собой много.

Не станет ли ей холоднее, если столько дала мне?

Ведь я-то ей — ничего. Ничего не оставил.

Может, нет у нас?

А может, не умеем давать?

На кладбище я не думал о ней.



На кладбище думают о мертвых.

Я думал о своих родных, думал и о Пятрюкасе, единственном, кто остался ей, Веронике, хоть его и нет в живых — не вернулся. И, не зная, где его могила, я видел ее здесь, на этом кладбище, среди родных и близких.

С кладбища я вернулся в зеленый сквер. Сел на лавочку, задумался.

Я еще не знаю, как будет выглядеть памятник и как его назвать. Да это и неважно. Есть у меня просьба.

Ничего, что она зовет меня «сударь». Все равно я здешний, тут родился.

Был я... которым я был в семье Ятаутасов? Тринадцатым?

Когда наступят выборы и вы пойдете голосовать, пожалуйста, выберите меня. Хочу побыть однажды хозяином в родном городе. Я на мгновение останавливаю бег жизни.

И давайте все вместе поставим

на зеленом сквере памятник.

Они ведь не только мертвым.

Иногда их надо ставить и живым. Самым живым из всех.

Если нет, то скажите мне.

На чем держится мир?

— Нет! Не надо памятников живым! — крикнула она. — Уже было это.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Я молчу.

Если б это сказал мне кто-нибудь другой, не она.

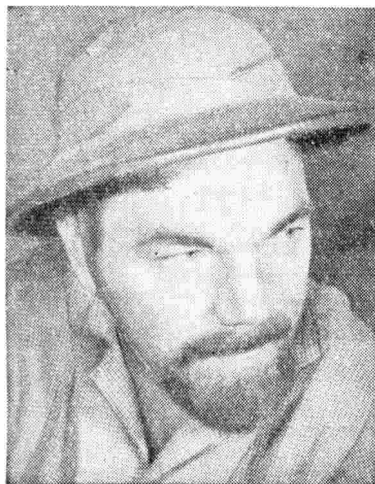
Я молчу.

Я ведь не спрошу ее так, как вас:

— На чем держится мир?

Авторизованный перевод
Феликса ДЕКТОНА





**Илья
Фоняков**

Земля и небо Вьетнама

СТИХИ ИЗ БЛОКНОТА



Лишь стоит к ночи задурить ветрам,
Я вновь на память не найду управы:
Опять мне снится Северный Вьетнам,
Тревожные ночные переправы...
Солдат мигнул карманным фонарем.
Всплакнул ребенок — и утих, зевая.
Огромный, словно облако, паром
Плывет по звездам, звезды задевая.
Он весь живой, хоть сбит не на авось,
И, прислонясь к перилам, очень просто
Ты можешь в нем расслышать каждый гвоздь,
Любую доску мокрого помоста.
Пищит в щелях зажата вода,
Наклонный трос уходит в сумрак мира,
И все молчат, и только иногда
Слова команды слышатся с буксира.
Мне снятся лица, шлемы и штыки,
Зенитный пост на берегу отвесном...
Я не могу дописывать стихи,
Которые прервал перед отъездом.

Четвертая зона

И. Саввичеву

Пришел. Хозяев дома нет.
Их нет, поскольку дома нет.
Где дом стоял, торчит одна —
И та пробитая! — стена,

И, бесполезная теперь,
Скрипит незапертая дверь.
Я уважаю этот дом!
Я не войду через пролом,
О нет, чужую чья беду,
Я постучусь, и в дверь войду,
И, как положено в доме,
Свой шлем тропический сниму...



И. Щедрову

Ночная темь едва-едва
Проколота лучом.
Идет солдатская братва —
Циновка за плечом.
Еще дорога далека,
Еще далек рассвет,
Нет победителей пока,
И побежденных нет.
Но есть воронка у моста
И, видная окрест,
В поселке церковь без креста:
Снесен осколком крест.

Есть кровь, и пыль, и этот путь
Без края и конца,
И ветвь, объявляя чуть-чуть,
На шлеме у бойца.

Рассвет

Е. Кобелеву

Розовеют крылья лодок,
Перепончаты, как зонт.
Затуманен и нечеток
Азиатский горизонт.
Спит, на облачко похожий,
Над рекой плодовый сад,
И, лишенные подножий,
Горы в воздухе висят.
В мире тихо, в мире пусто
В эти ранние часы.
На стволе зенитной пушки —
Капли зябкие росы.
Хорошо солдатам спится!
Время близится к пяти,
И, застрыв, трепещет птица
В маскировочной сети...

Город Винь

1

Словно горсть орехов, расколот
Этот город. И на ветру
Ощущается смертный холод
Сквозь тропическую жару.
В черный плат по-вдовьи одета,
Тишина приходит сюда,
И в воронке у горсовета
До рассвета мокнет звезда.
И лежат развалины, красной
Мелкой пылью в глаза пыля,
Потому что совсем напрасно
Доверяла небу Земля.

2

Жизнь поругана и разбита.
Нужно склеивать, собирать.
Под ногами — осколки быта:
Чайник, чашка, шляпа, тетрадь.
Школьник недорешил задачу
[Кровь текла по карандашу!].
Я мужчина, я не заплачу,
Только в книжечку запишу
Это страшное и простое —
Конспективно: словом, значком.
...Оглянусь — на пороге стоя,
Муза трет глаза кулачком.

Прощальное

Прощай, вьетнамская земля,
Где вдоль дорог попарно,
Как по России тополя,
вышагивают пальмы.
Прощайте, солнцем и войной
иссушенные лица,
Прощай, Хонгай, прощай, Ханой,
военная столица.
Прощай, любезная душе
гостиничная крыша,
Прощай, болгарский атташе,
красивый парень Миша!
Прощай, провинция Нге-Ан,
где, как стрекозы, лодки,
Где по утрам сырой туман
цепляется за локти.

Где возникает и плывет
над синевой лесочка
Американский самолет —
мерцающая точка.
Где, вдруг рассорясь с тишиной,
построясь в ряд по нитке,
В жестоком кашле, как больной,
заходятся зенитки.
Где плачет речка под мостом,
обрубленным нелепо,
Где под банановым кустом
я прятался от неба...



Возвратился. Развесил по стенам
Сувениры: плетения, лак.
Привыкаю к зиме постепенно:
К ранним сумеркам, к теням в углах.
Привыкаю, свой день отработав,
Видеть улицу в свежем снегу.
Только заново гул самолетов
Все никак полюбить не могу.



«Порой почти неуловимо,
В домах, в цветах, в питье, в еде —
Тревожно-тонкий запах дыма
Здесь ощущается везде.
Он бродит в поле, в зале школьной,
По всем фабричным корпусам,
А там, где нет его, невольно
Его домысливаешь сам.
Он в каждой поре, в каждой складке,
В плаще твоём и в пиджаке...»
Я это записал в тетрадке
От наших сосен вдалеке,
Там, где, лаосскими горами
И морем теплым стеснена,
В туман одетая утрами,
Простерлась узкая страна.
Страна, чей контур — словно ветка
В рассветных капельках росы,
Страна, чье имя четверть века
Не сходит с первой полосы,
Чьим будням отданы страницы
Политиздатовских брошюр.
Страна, которая дымится.
Дымится, как бикфордов шнур.

ПО ТУ СТОРОНУ ДОБРА

Рисунок И. Блиоха.

14

Уже стемнело, но все еще было душно. Идти в избу не хотелось. Стрехов сидел на гладких, но полированных досках крыльца. Дверь в сарай была распахнута. Андрей смотрел, как Даша кормила свиней.

Потом она вышла во двор и позвала кур. Те бросились к ней, кудахча, протискиваясь под забором, роняя перья. Даша рассмеялась и, перестав сыпать корм, выпрямилась.

— Томка наша, — Андрей знал, что у Ивановых, кроме сына Антона, есть дочь Тамара и что сейчас она гостит у бабки, — как-то сказала мне: «Мам, а знаешь, почему курочка кудахчет? Она ножку ушибла, а почесать нечем...» Ох, уж эти ребята! Выдумают такое! — Она опять закричала: — Цып! Цып! Цып!.. Ну, кажется, все... Что-то вы невеселый, Андрей? Устали? — Он ничего не ответил. — А я так рада, что сегодня Саша дома и что у нас гость. Привыкла, что все время кто-нибудь ночует. Всегда разговоры, шум за полночь. А позавчера одна осталась и никак заснуть не могла: уж очень тихо было. Включила радио чуть не на полную катушку. Только тогда и заснула.

Даша взглянула на Стрехова, и вдруг лицо ее стало грустным.

— Ругали Сашу на собрании?

Андрей пожал плечами. Что ей ответить? «Ругали» не то слово. Даша вздохнула, подошла к нему, села рядом.

— Наверно, его и надо ругать, — тихо сказала она.

На небе не спеша зажигались звезды. Вдалеке прокукарекал петух. Хлестко, как выстрел, ударил кнут пастуха.

— Я думаю, Андрей, самое главное в человеке — доброта, — видимо, отвечая своим заветным мыслям, сказала Даша. — Если человек добр, он не может

быть ни ханжой, ни подлецом, ни предателем, ни лентяем. Правда? — Серые глаза ее, минуту назад печальные, улыбались. Она сидела, подсунув под себя руки, чуть пригнувшись.

— Может быть, — ответил Андрей.

— Не может быть, а точно, — убежденно сказала Даша. Помолчала немного и вдруг спросила: — А вы знаете, как я замуж вышла? Саша не рассказывал?

— Нет.

— Из-за бельчонка!

— Как из-за бельчонка?

— Если бы не бельчонок. Саше меня ни за что бы не уговорить!.. Я ведь геолог, знаете? — Андрей кивнул. — Как-то летом маленького бельчонка поймала, так он и рос у меня. Никого к себе не подпускал — сразу кусаться. Только меня не трогал. Ну, а знаете, как у геологов: двадцать мужиков и одна женщина. Все за мной ухаживают. Шутки ради я возьми да и скажи: кого бельчонок полюбит, за того и замуж выйду. Недели через две, не позже, за каким-то там мотором какой-то там замначхоз с соседней стройки приехал. Ребята рассказали ему эту историю. Он — в палатку. Почесал за ушком моего бельчонка, шепнул что-то, и тот к нему на руки, на плечо, даже ко мне не идет! — Даша рассмеялась счастливо. — Так мы и познакомились... Я подумала: может, это судьба? А потом... — Она опять рассмеялась. — Потом настоящая феерия была! Вы же знаете Сашу! Он ведь добрый, правда?

«Хорошо ли это? — думал Стрехов. — Наверное, если человек только добрый, то для себя одного. Наверное, надо быть и злым. Не об этом ли говорил Куприянов: «Он любит приказ. Думать сам не умеет»? Добрый человек по доброте своей, из боязни обидеть другого, может с любой пакостью согласиться. Закроет глаза, и все!..»

Андрей вспомнил то давнее солнечное утро в Таджикистане...



«Где добро? Где зло? Сегодня я выступал против Иванова. Это я-то! Который чуть не погубил Иванова и которому Иванов спас жизнь! Если бы он погиб тогда, я бы мучился всю жизнь. А он спас и простил меня».

Даша что-то говорила. Голос ее был как ровный, успокаивающий ручеек. Стрехов не слушал. «Двадцать пять лет,— думал он,— а я, как юнец, чего-то жду. Можно ли жить просто? Хорошо ли быть добрым?.. Что такое ответственность?.. Всякий ли приказ хорош?.. Четверть века жил, как телок! Только сейчас прозреваю... А как живет Сашка? Или он все для себя давно решил? Даже Куприянов не смог его пронять. С него как с гуся вода...»

— Андрей! — Голос Даши прозвучал резко. — Вы не слушаете меня!

— Слушаю, Даша. Простите...

— Я спрашиваю, вы ведь с Александром раньше встречались? Он вам как будто жизнь спас. Это правда?

— Правда.

— Он прихвастнуть любит,— задумчиво сказала Даша. — Я иногда не знаю, верить ему или нет... Вам я почему-то верю, Андрюша. Почему, не знаете?

— Не знаю.

— И я не знаю... Может быть, потому...

Но Андрей так и не узнал почему. За забором раздался крик. Даже не крик, а рычание:

— Да-ша!

Калитка распахнулась, Александр Степанович шагнул к крыльцу и остановился посередине дорожки.

— Да-ша! Я кулак! Понимаешь? Кулацкое хозяйство развел. Я барин! Пиявка на теле рабочего класса!

Волосы Александра Степановича были взлохмачены, расстегнутая рубашка выбилась из штанов.

— Саша! Что ты?

— Это я кулак, да? К черту! — Он ворвался в сарай, мощным ударом сапога выбил дверцу закута. — К черту! — Свины завизжали. Иванов схватил лопату и начал бить их черенком, выгоняя во двор. — В столовке будем жрать! И ты, Даша, в столовке! И Антон в столовке! И Кузьма в столовке! — Свины шарахались от стены к стене. Чем громче они визжали, тем оглушительней кричал Иванов. Под ноги ему попала ку-

лица, он и ее поддел носком сапога так, что она, кудача, пролетела через весь двор и упала за забором. — Андрей слышал! Это я кулак? Барин?

Свиньи наконец выбрались из закута и, испуганно визжа, обгоняя друг друга, бросились в распахнутую калитку.

— Где эта овсянка чертова? Где? — кричал Иванов. Увидев в углу сарая мешки, он взвалил их на плечи и, пытаясь, потащил на улицу. — Козла в вашу рожь!..

Даша стояла на крыльце и тихо, тайком от мужа смеялась, на глазах ее были слезы, и она восторженно шептала Стрехову:

— Видите? Он всегда такой! Сумасшедший человек! За что я его люблю?..

«Проняло его все-таки!» — тоже улыбаясь про себя, думал Стрехов.

Выбросив мешки прямо в дорожную пыль, Иванов, должно быть, успокоился.

— Пусть все видят, какой я кулак! — крикнул он не очень уверенно, вернулся во двор, закрыл калитку, сел на крыльцо и платком стал вытирать пот. Настороженно взглянул снизу вверх на жену, спросил грозно:

— Ну что?

— А что? — ответила она просто. — В столовке так в столовке. Мне привыкать, что ли?

— Вот так! — весело заключил Александр Степанович и добавил примирительно: — Иди, готовь ужин.

Даша ушла. Стрехов рассмеялся.

— Ты что?

— Зачем же ужин? Пойдем в столовую.

Иванов только крикнул.

— Ох, Саша! Ну и позер ты! Чего психуешь?

— Позер? — В голосе Иванова Андрей услышал и обиду, и усталость, и, главное, искренность. — Думаешь, я не понимаю, что все это значит?..

Стрехов помолчал.

Иванов махнул рукой и отвернулся. Сидел он, опершись локтями о колени, согнувшись, опустив лохматую голову. Даже в темноте видны были седые волосы у висков.

— Все, кто начинает стройку, как правило, ее не кончают, — заговорил он спокойно и горестно. — Поначалу всегда неразбериха. Не хватает материалов, техники, людей. Шваль всякая воду мутит. Перебои с продуктами, аврал, не выполняется план, все шишки на голову валятся. Это закон! Чтобы все стало в свою колею, нужен срок. Чтобы побежать быстро, нужно разбежаться. Это все понимают. Но виновного-то нужно найти? Первый начальник — будь то начальник участка или стройки — заведомая жертва. Его наверняка снимут, чтоб искупить грехи. А новый придет на готовенькое, премии да славу зарабатывать! С начала и до конца редко кто остается. — Иванов помолчал. — Куприянов останется. А я... Знаешь, Андрей, я по профессии жертва. Я всю жизнь начинал! В каких только дырах не был! Но ни одной стройки не кончил! Не знаю почему... Думал, хоть эту ЛЭП доведу до Таежного. Куприянов меня давно знает, поймет! Нет! И он готов мне вивисекцию устроить. Секатор!.. Это проще, понимаешь? На него ведь тоже жмут. А он скажет: «Было плохо, но я принял меры, снял с работы виновных, и стало хорошо». К этому и гнет. Зря он, что ли, собрание так настраивал?..

— Обожди ты панихиду петь раньше времени!

— Панихиду? Ну нет! — Он рассмеялся и сразу стал прежним Ивановым, должно быть, даже во сне

беспредельно уверенным в себе. — Я так просто не дамся! Я еще покажу, кто такой Иванов!..

Он говорил еще что-то бравое, а Стрехов думал о том, что обычный Иванов, самоуверенный и хвастливый, нравится ему больше, чем Иванов растерянный и жалующийся. Чудной он человек! Далекий и близкий одновременно. Нет, он не просто авантюрист, не просто хвастун, не просто себялюб, как могло показаться сначала. Попробуй разберись в нем! А разобраться надо. От него, Стрехова, теперь в чем-то зависит судьба Иванова, как и судьба многих-многих людей на трассе, как и судьба самой трассы. Тут мало разобраться! Тут надо решать, надо помочь человеку почувствовать себя не исполнителем, а хозяином.

Только сейчас Стрехов ощутил новое, тяжелое бремя ответственности, которое свалилось на него вместе с должностью парторга.

И странно, от мыслей этих сидевший рядом человек, в одно и то же время растерянный и самодовольный, стал ему особенно близок. Он даже обнял Иванова за плечи.

— Ничего, Саша! Главное — держать хвост морковкой! — Стрехов сказал это то ли Иванову, то ли себе самому.

— А я и держу! Знаешь, что я с дорогой придумал? Они еще поймут, кто такой Иванов!

— Что придумал?

— Сейчас не скажу: это я сам должен сделать!.. Пойдем, парторг, ужинать. Последний раз будем ужинать дома!

15

В Наноканно все сложилось как нельзя лучше. В день приезда Коля Сафронов попросил колхозников собраться. Вечером в клубе, тесном бревенчатом здании, похожем на сарай, сошлось, наверное, все село. Одна старушка пришла даже с котелком ухи, не успев поехать дома. Каждому жителю села хотелось послушать земляка, который строит город «голубых камней» и ведет через тайгу электричество. До сих пор в Наноканно знали только керосиновые лампы.

Колю усадили на председательское место, поставили перед ним, как положено, графин с водой. Судя по всему, его здесь уважали и любили. Первым в селе он ушел из привычного круга жизни — охота, оленьи пастбища, лисья ферма, рыбалка — в большой мир и сумел в нем стать наравне с другими людьми. Колю любили, но почти каждое его слово встречали с настороженной улыбкой: вот сейчас он что-нибудь учудит!.. Поэтому даже сам Николай думал: односельчан придется долго убеждать. Но как только он кончил рассказывать о Таежном, о ЛЭП, о том, кто его друзья и зачем они приехали сюда, председатель колхоза встал и сказал:

— Ты нас знаешь, Коля, мы тебя знаем. Хороший, хороший человек приехал! Приехал за важным делом, товарищи! Голубой камня — дорогой камня. Он везде нужен: и в промышленности и для женщин, чтоб красивый был. Правда, наша женщина и без камня красивый, — тут собрание посмеялось, — но раз другим нужен, какой разговор! Надо помочь. Почему не помочь?.. А то к нам приехал другой человек, шибко сердитый, никак не мог объяснить: зачем бригада нужна? Я думал, он совсем сумасшедший: у вас лес кругом, а он сюда за лесом приехал. За-

чем?.. А раз только листовка нужна, я знаю: в Се-
ребрянном Ключе ее нет, а у нас много. Почему не
помочь? Правильно я говорю, товарищи?

Собрание ответило дружным одобрением.

Так были созданы две бригады: одна — рубить лес,
другая — заготавливать прутья тальника и ельника,
жерди, мастерить весла, клинья, рулевые скамьи —
все необходимое для сплава. Лесорубами стал
командовать Егор Исаич Перетолчин, а сплавщика-
ми — Коля Сафронов.

Збарского и Мишу Жадова Егор Исаич поставил
отдельно — в дальней лиственничной роще. Жадов
стал отказываться: очень уж не хотелось ему быть
все время вдвоем со Збарским. Егор Исаич, человек
дошлый, сказал ему:

— Старшим будешь. Хорошо?

— Старшим? — Лицо Жадова расплылось в до-
вольной улыбке. — Что же я с ним делать буду? Мо-
жет, он засачкует.

— Чтoб все было в порядке. Ты отвечаешь.

Жадову это понравилось.

На постой они встали тоже вдвоем — у старого
охотника Степанова, который жил со своей вдовой
снохой Тамарой. Степанов считал себя русским. Он
говорил, что дед его был одним из первых казаков-
землепроходцев, завоевывавших эти земли для царя.
По-русски он действительно говорил почти без
акцента, и глаза у него были на удивление голубые,
неправдоподобно чистого, небесного цвета. Был он
на голову выше всех наноканцев и шире в плечах.
Только угластые скулы да прямые черные волосы
выдавали в нем звенка. Степанов был радушен, и
постояльцы распоряжались в его доме, как в своем
собственном.

Вообще Жадову нравилась жизнь в Наноканно.
Нравилось, что он вернулся в бригаду. После ссоры
Михаил был уверен, что кто-нибудь придет за ним.
Уж Варя-то наверняка придет. Шли дни, недели, но
никто не приходил. Недоумение сменилось обидой:
неужели он такой уж никчемный? Когда Михаил уже
готов был плюнуть на все и сойти с круга, Варя при-
шла. Стрехов позвал его. Теперь уверенность в себе
возвращалась.

Ему нравилось даже само словечко — «Наноканно».
Было в нем что-то игрушечное, по-детски доброе.
Нравилось и то, что пока он предоставлен самому
себе и не надо ничего решать сразу. Нравилась
Чара, которая здесь разлилась широко и лежала
спокойно, совсем как средне-русская река, в невысо-
ких берегах, огибая на стрежне плоские, блистающие
на солнце тальниковые острова. Нравилась листвен-
ничная роща, которую они рубили, ровная, светлая и
сухая. Нравилась тихие вечера и разговоры со ста-
риком охотником, когда они усаживались на согре-
тую солнцем колодину рядом с домом и сидели так
до темноты. Правда, дед был не особенно разгово-
рчив, и вызвать его на какой-нибудь долгий рассказ
мог только Коля Сафронов — он наведывался сюда
часто.

Уж очень любил Степанов слушать транзисторный
приемник, который подарили Коле геологи (он два
сезона ходил проводником) и до сих пор высылала
батарейки. Коля всегда приносил его с собой. Старик
любил русские песни. Он слушал их молча, закры-
вая глаза и почесывая подбородок. Видимо, музыка
действовала на него вдохновляюще: вдруг он
начинал то ли сказку придумывать, то ли быть вспо-
минать.

— Который день это я по тайге двигаюсь. Где ночь
пристигнет, там и заночую. То лежачок сделаю, а то
и так, в траву фуфайку брошу, сам на нее — и засну.
В одно утро просыпаюсь — глянь, медведь на про-

гулку вышел. Идет вроде как подвыпивший ма-
лость, качается. Хватанул, видно, по какой-то при-
чине. Может, у них тоже свои, медвежьи празд-
ники есть... Медведь добрый, волос гладкий, но так
мне в него стрелять не хочется! Жалко ему ве-
селье портить. Пойми: ты с вечерушки идешь, песни
допеваешь и опять вроде с подружкой обнимаешься,
с друзьями хлеб-соль ведешь, а тут тебя из-за угла
дубинкой хлест по голове! Ну, куда это годится?..
А он, дурень, идет прямо на меня. Ишо наступит,
думаю, спяну-то. Поднял ружье и в него — вторую,
третью, четвертую пулю. Побежал мой медведь.
Я — за ним. Но что-то надоело и не стал догонять...
Через неделю наткнулся я на муравейник разворо-
ченный. Это мой недострелыш устроился. Зверь зве-
рем, а в уме ему не откажешь. Палочек сухоньких
наломал, на них травы разной навалил. Чтoб уми-
рать, значит, полегче было. Ах ты, думаю, зверюга,
зверюга! Не хочешь без свидетелей, в одиночестве
на тот свет отправляться, так к муравьям приплелся.
Жалко мне этого медведя стало. Он уже и головы
поднять не может, я ему хлебушка в яму бросил,
ягод насобирал, бросил, еще кой-чего — может,
оправится?.. И ушел.

Збарский усмехнулся и спрашивает:

— Придумал, Степанов? Скажи честно, придумал?

— Как это честно? Я не умею честно, у меня все
нечестно, — с подковыркой отвечает охотник, и глаза
его улыбаются.

— Ну, придумал?

— Какая разница: придумал или нет? Вышло
складно — и ладно.

— Все-то ты в простачка играешь! — восклицает
Збарский. Его почему-то злят рассказы Степанова.
Последнее время Збарский вообще стал раздражи-
тельным.

— Жалко медведя-то, правда, — грустно говорит
Коля Сафронов. — Не надо было стрелять.

Степанов смеется, ласково гладит его черный
стриженный затылок.

— Ах ты, Колюшка! Всех-то тебе жалко... Заведи-ка
лучше музыку свою.

«А мне не жалко», — спокойно думает Жадов.

Из далекого концертного зала опять приходят в
тайгу звуки скрипки и мягкий женский голос. Потом
аплодисменты. Приемник от них чуть потрескивает.
Наверное, оттого, что не видно им сейчас этой
грустной женщины, и оттого, что где-то есть боль-
шой, людный город, а здесь вокруг них тайга, Жадо-
ву становится чуть-чуть одиноко. Но чувство это,
пожалуй, даже приятное. Он смотрит на Колю
Сафронова и завидует ему. Жадову смешно: он
завидует Николаю! Но хочется Михаилу, чтобы
и его так же ласково гладили по волосам, так же
любили, как любят Колю и в деревне и в бригаде.
Впрочем, Жадов уже приметил: в деревне не толь-
ко любят Колю, но и посмеиваются над ним. Даже
для земляков Коля какой-то чересчур праведный,
что ли: водку не пьет, никогда не ругается,
на охоту не ходит, потому что жалко ему стрелять
зверей...

От реки с двумя полными ведрами воды подни-
маются к дому сноха Степанова Тамара, еще моло-
дая, крепкая деваха. Муж ее в прошлом году раз-
бился вместе с лодкой на порогах Чары. Взойдя на
крыльцо, Тамара быстро оглядывается, раскосые
глаза ее блестят в темноте, коса падает с плеча.
Озорно улыбнувшись, — не поймешь кому, — она
входит в дом, оставив дверь открытой. Слышно, как
она ходит там, туго стуча по полу босыми пятками.

Збарский смотрит на дверь, и в глазах его блудли-
вый огонек.

Михаил уж в который раз замечает это и говорит:

— Эй, студент!.. Не туда смотришь.

Жадов говорит тихо, чтобы ни Степанов, ни Коля не слышали.

— А ты что, дорожный указатель?

Жадов знает, что он и сам не праведник. В другое время он, может, и приударил бы за молодой вдовушкой, но сейчас — нет. Сейчас ему спокойно и не хочется спорить со Збарским.

— Иди ты к черту! — лениво говорит он и опять слушает музыку. Вспоминает Варю. Мысли о ней тоже спокойные. Михаил уверен, что теперь все будет хорошо.

Ему уже немного надоело безделье. Но вечером тут податься некуда, и он думает: скорее бы утро, хоть топором помахать.

Утром Жадов будит Збарского, и они идут в свою рощу лесною тропой. Тропа эта проторена ими. Сперва пришлось кое-где обрубить сучья с деревьев и кустов. Потом примялись под ногой кочки, и в траве появились первые проплешины. Петляя меж кустами, тропа ровно, накатисто спускается к Чаре.

За пущей черемухника, за темной замшелой елью их роща открывается сразу. Почти нет в ней подлеска. Лиственницы — одна к другой — стоят просто. Солнце бьет наискось, воздух становится суше и звонче. Михаил задирает голову к небу, кричит:

— Га!

Роща отвечает ему троекратно:

— Га-а!.. Га-а!.. Га-а!

Звуки, опускаясь, улетают к Чаре. Она сейчас, наверное, такая же радостно-синяя, как и небо.

Жадов подходит к дереву и стучит по нему обухом, пробуя силу. Кора мягко вминается. Есть еще силушка! Жадов хочет, а потом внезапно умолкает и, опустив руки, опять слушает эхо. Все-таки жалко рушить эту беспредельную тишину. Жалко вонзять топор в податливую живую кору. Михаил опять задирает голову, оглядывает дерево. Оно высокое, прямое и просвечивает насквозь, снизу хвоя кажется темнее. Жило оно лет сто, не меньше, и вот сейчас упадет... Жадов вспоминает вчерашний рассказ про медведя-недострелыша. Теперь он вдруг понимает: медведя действительно жалко, и Михаилу радостно оттого, что он понимает это.

Но Збарский сзади уже тюкает топором, тишина уходит. Жадов с силой вонзает отточенное лезвие в ствол.

Проходит полчаса, час. Звения ветвями, падают деревья. Все они будто бы одногодки, одной высоты. Но по хвое, по цвету коры можно угадать более молодые, — их Жадов обходит и Збарскому хочет обходить. Сейчас он хозяин в роще, и ему не хочется рушить ее всю, целиком. Пусть стоит и после них.

Збарский давно уже сидит на пне.

— Жадов! Хватит тебе трудовой энтузиазм показывать! Иди покурим.

Но Михаил не бросает топор. Дурак он, Збарский! Ничего не понимает!.. Жадову приятно думать так, приятно знать, что он сильнее Збарского и работает лучше. Он еще себя покажет!

Вообще все хорошо. Только напарник его раздражает. Михаил и сам не понимает почему. То ли из-за прошлой ссоры, то ли сам по себе. Уж очень он хочет показать свой верх над Жадовым: по вечерам что-то пишет у керосиновой лампы, все время лезет к Степанову с рассказами о своем городе, пытается доказать, что жизнь — там, а тут — так, прошлое столетие. Жадов никогда не был в больших

городах, спорить о них не может, он забыл, когда в последний раз брал ручку с пером, но жизнь в Наканно ему нравится.

Наконец он садится рядом со Збарским и, вытирая пот, говорит весело:

— Ох, и сачок ты!.. Только и умеешь к бабам приставать! — Такие разговоры он заводит теперь каждый день, чтобы хоть как-нибудь досадить Збарскому. — Да зря зенки палишь: жидковат ты на это дело.

— Это почему?

— Бабы прямогу любят. Чтoб с чистой душой к ним идти. Придешь и скажешь: «Нá тебе! Может, дам и меньше, чем какой другой, но то, что дам, вот на ладони!» А ты хитрозадый. Они это ох как чувствуют!..

— Тоже мне! — Збарский улыбается почти добродушно. — Душа чистая!

— Чище тебя. Хотя и в грязи купался, а чище. — Жадов темнеет лицом. — По крайней мере в своем доме воровать не стану. С меня других хватит.

— Ты меня за руку ловил?

— Не ловил, а вижу.

— Что ты видишь? — деланно зевая, спрашивает Збарский. — На Тамарку засмотрелся, да? Мне ее и не надо, хоть она и рада была бы.

— Врешь, надо! Да только не испачкаешь ты ее... А ну тебя к черту! — вдруг заключает Жадов, ложится на спину и смотрит в небо.

Збарский вдруг скучнее и по-прежнему лениво, но с тоской в глазах начинает рассуждать сам с собой.

— Господи! Как мало нужно человеку! Ванюшка-дурачок — и тот жар-птицу ловил. Где вы, дедовские сказки? Где же ты, моя старушка?.. Или опять забрался Илья Муромец на печку, и не про кого больше сказки сказывать?..

Жадов не понимает его и отмалчивается, а Збарский вдруг кричит:

— Вставай, проклятьем заклеянный! Тебе же надо горы с места на место двигать, реки поворачивать. А ты лежишь! — И первый уходит на свою делянку.

Опять они валят лес, а Жадов все вспоминает лицо Збарского, вытянувшееся от злости, некрасивое. У него возникает ощущение, что он прикоснулся к чему-то заповедному в душе Збарского и за это тот должен теперь мстить ему. Придет же в голову такая блажь!.. Но ощущение это не проходит, а, наоборот, становится острее. Жадов успокаивается только тогда, когда несколькими сложными маневрами отстает от напарника и выходит ему за спину. «Так-то верней будет! — думает Жадов. — Самый что ни на есть психованный. Еще хряснет сзади лесиной по горбу — и крышка!»

16

Неделю Стрехов ездил по трассе. Иванов дал ему лошадь со странной кличкой — Афиша. Была Афиша стара и худа. Когда Андрей гладил ее по бокам, рука дребезжала по ребрам, как по планкам забора. Всю свою жизнь Афиша провела в тайге. Как Стрехов ни понукал ее, как ни посвистывал соловьем-разбойником, она никогда не переходила на рысь, никогда не поднимала головы: должно быть, боялась споткнуться о корни. Афиша давно уже не ходила под седлом. На нее навьючивали канистры

с бензином для дальних бригад. От этого белесая шерсть ее по бокам вылезла, и теперь Афиша была какой-то пятнисто-сивой масти.

Стрехов понимал, что в своей латаной и тоже пятнистой от пота ковбойке, в заскорузлых рваных сапогах он выглядит на этой кобыле смешно, но не ходить же пешком! Кроме того, Афиша была упряма и могла идти без отдыха хоть целый день.

Собственно, из-за нее и загорелся сыр-бор.

На закате Стрехов выбрался таежной тропой на просеку. Проезжая мимо штабелей сосняка, он заметил уже позади себя бульдозер и людей рядом с ним. Бульдозер был двухсотпятидесяти сильный, а люди щеголяли в новеньких комбинезонах. Судя по всему, это были не лэповцы. Мало ли людей бродит сейчас по тайге! Стрехов решил не останавливаться, но его окликнули:

— Эй, лыцарь! Лошадка-то твоя как бы не упала! — Стрехов промолчал. — Эй, обожди! Табачком не богат?

Стрехов едва шевельнул поводьями. Афиша тотчас стала. Останавливалась она всегда с готовностью.

К Стрехову неторопливой походкой подошел парень лет двадцати пяти, с веселым круглым лицом, в кепочке набекрень. Пока закуривали, он похлопывал Афишу по тощему задку и посмеивался:

— Ах ты, Росинантушка! На живодерню пора, а ее все по тайге гоняют... Где только откопали такого одра?..

Стрехов нахмурился.

— А ты, видать, говорок... Только язык у тебя не туда подвешен.

— Брось! Уж больно ты грозен, как я погляжу! — Парень прищурил карий, большой, как у лошади, глаз. — Не иначе из войска Иванова! — Он неожиданно выругался.

— Ты его откуда знаешь?

— Кто ж его тут не знает? Лучше бы его в гробу знать. В тапочках и с газетой «Кремнистый путь» в руках!

Парень уже уходил.

— Постой-постой! Чего ты так на него?

Остановившись, парень подозрительно оглядел Стрехова.

— Ты кто ему будешь? Зять? Кум? Бедный родственник?

— Парторг участка.

— Парторг? — Парень изумился. — Торгаш ты, а не парторг!

— Что-о?

— Семечками на базаре вам торговать! Спекулировать на чужой беде! — Он подскочил к Стрехову и взмахнул кулаками у его носа.

— Вот псих!.. Ты сам-то кто?

Стрехову пришлось долго успокаивать парня, пока тот не объяснил, что он прораб дорожного механизированного отряда, который пробивает постоянную дорогу к Таежному. На одном из перекатов Чары застряла баржа. Дорожники сидели без горючего и пришли к Иванову просить солярки. Иванов заявил: «Я — вам, вы — мне. Взаимовыручка! Сделайте мне десять километров подъезда к ЛЭП...» Дорожникам ничего не оставалось, как выполнить его требование.

Стрехов об этом ничего не знал.

— Я зачем институт кончил? — горячо говорил прораб. — Зачем мне технику и людей доверили? Чтобы у дяди пни дергать? Чтобы двухсотпятидесяти-сильными бульдозерами ваши бугры ровнять? У нас же квалификация! Мы можем такую автостраду по-

строить, как Минское шоссе. Почему же нам нельзя просто одолжить солярку? Ваш Иванов, наверно, и жену на толкучке выменял! Какая там у вас совесть! Дельцы!..

Возразить Стрехову было нечего, оправдываться тоже не имело смысла. Он слушал молча, только желваками на скулах играл, когда ругань прораба становилась вовсе нестерпимой. Вдруг прораб притушил недокуренную папиросу — аккуратно, стараясь не уронить ни крошки табака, — и сунул ее Стрехову.

— На! Возьми! Не хочу я твоего табачка! Потом скажешь: давай взамен бутылку спирта. Возьми, говорю!

Повернувшись на каблуках, он зашагал к бульдозеру. Окурок остался в руке у Стрехова. Он pokrutil его и зачем-то спрятал в нагрудный карман. Сев на лошадь, он так сильно дернул поводья, что Афиша, невозмутимая Афиша повернула к нему голову. Глаз ее, такой же большой и карий, как у прораба, недоуменно косил.

— Но-о!.. Шевелись ты, пропастина! — зло пробормотал Стрехов и опять сильно дернул поводья. Афиша опустила голову и пошла неторопливо, размеренно.

«Я ему скажу! Я ему все скажу! — подумал Стрехов об Иванове и вдруг вспомнил: — А пилю как он нам дал? За что? А бульдозер?.. Как он меня самого покупал! Завалился с Долоновкой — выручи, Стрехов, пошли ребят в Наноканно, а тебе за это — бульдозер! Завалился с горючим — нате вам горючее, а вы... Я ему скажу: «Ты живешь, Иванов, за счет чужих бед. Прав прораб: семечками тебе торговать на базаре! Не умеешь организовывать производство, вот и спекулируешь, выворачиваешься. Если бы у других все было в порядке, что бы ты тогда делал? Как выкручивался?.. Пошел бы, наверное, на любую подлость, только чтоб устоять! Чтоб на поверхности удержаться!..»

Да, Иванов удачлив, но его удачи — за счет других! Ему, наверное, кажется, что все другие — нуль, что они лишь довесок к каравану. Поэтому можно прощать себе все, даже то, что прощать нельзя. Он привык отвечать только за себя... Но почему, почему все сходит ему с рук?..

Привык отвечать только за себя... Хотя ему кажется, что он заботится обо всей трассе.

Чувство ответственности всегда как бы делится надвое: за определенное дело и за нечто гораздо большее, может быть, за все человечество. Бросая зерно в землю, пахарь отвечает не только перед самим собой или своей семьей за то, какое растение вырастет из этого зерна. Он отвечает перед всем человечеством точно так же, как все человечество отвечает перед ним. Для пахаря это зерно — единственная реально существующая нить, связывающая его со всеми людьми на свете.

Все мы, какой бы труд ни был главным в нашей жизни, такие же пахари на земле.

Казалось бы, чего проще: круши лес на Долоновке, гони бульдозеры на дорогу — все средства хороши, лишь бы новое зерно дало всходы. Но не так-то все просто! Может случиться, тебе скажут: «Нужен хлеб. Паши глубже». Ты послушаешься. На следующий год тебе скажут то же самое. Ты опять послушаешься: хлеб-то действительно нужен!.. Но пройдет еще год-два, земля истощится и уже не сможет дать будущим твоим собратьям столько хлеба, сколько им понадобится.

Так и в любом деле. Поэтому далеко не все средства хороши для достижения твоей цели. Поэтому

твоя мнимая правота может обернуться чем угодно, даже подлостью.

Нет, Иванов не подлец, не торгаш. Но подлецам и торгашам с ним легко и удобно.

Стрехов вспомнил вечер после партийного собрания, сбитое из гладких, вековых плах крыльцо, опущенную книзу седую голову Сашки и его глуховатый голос: «Я по профессии жертва. Я всю жизнь начинал! В каких только дырах не был! Но ни одной стройки не кончил!..»

Афиша неторопливо шла по просеке. Солнце уже сваливалось за огорожу тайги. Темнело. Стрехов покачивался на седле и при каждом толчке ощущал в кармане окурки, круглый и твердый, как винтовочный патрон.

«Я ему все скажу! — думал он. — Решительно все!»

Стрехов приехал в Серебряные Ключи затемно. Село уже погрузилось в сон. Только в окнах конторы горел свет. У крыльца стоял «газик», подфарники его брезжили тускло, за рулем спал шофер. «Куприянов! — догадался Стрехов. — Он поможет разобраться во всем! Сейчас и разберемся...» Он спрыгнул с лошади и бросил поводья. Привязывать Афишу не надо было.

Войдя в избу, Стрехов увидел, что большая стрелка на фанерном циферблате уперлась в надпись «Трасса». Он распахнул дверь и увидел сидевших за столом Куприянова и Святяева, бухгалтера участка. Куприянов поднял голову.

— Наконец-то! Хотя один хозяин появился. Иванова на трассе не видел?

— Нет.

Начальник строительства недовольно засопел и взглянул на часы.

— Четверть часа у меня еще есть. Садись, рассказывай. Ознакомился с делами?

— Ознакомился, — мрачно ответил Стрехов. — Мародерствуем мы тут, Семен Петрович.

— Ишь ты! Признание, достойное мужчины.

— Я без шуток говорю. Сейчас у дорожников был...

— Вот в чем дело! — перебил его Куприянов и улыбнулся. — Ты про горячее? Я о нем давно знаю.

— А вы? — Стрехов повернулся к бухгалтеру. — То же знаете?

— Конечно.

— И молчите?

Святяев пожал плечами. Скуластое лицо его было невозмутимо.

— Вы понимаете, что это — воровство? Из одного кармана крадем, в другой перекаладываем. Понимаете? — Стрехова вдруг осенило. — Послушайте, а пилы? Помните, нам в бригаду пилы дали? Откуда они?

Святяев открыл толстую папку с документами и достал из нее какую-то бумажку.

— С пилами все улажено. По суду деньги возвращены леспромхозу.

— Семен Петрович, как же так? Вы и это знали? Больше того, сами толкали Иванова на подлог?

— Ох, и бойкий парторг оказался! — Куприянов поморщился, но глаза его еще улыбались. — Слова-то какие: «воровство», «подлог»... Ну, а если толкал? Я тогда не мог достать тебе пилы, а Иванов достал. Как? Не знаю и знать не хочу. Я за вашими блохами бегать не буду. Ясно?

— А дорожники? Вы же понимаете, что...

— Понимаю, — голос начальника строительства стал жестким, — и ты понимаешь. Ты парторг. Тебе

зачем власть дана? Этикой ты командуешь, а я — производством. Ясно?

Стрехов только развел руками. Снова улыбнувшись, Куприянов встал. От улыбки грубые черты его лица становились неожиданно добрыми.

— Мне ехать надо. Опять ночь в дороге. Ах, жизнь-жестянка! — Он подошел уже к двери, но остановился и повернул голову к Стрехову. — Ты, парторг, «Войну и мир» Толстого давно перечитывал?

— Давно.

— Перечитай про Бородинский бой. Кутузов понимал, что солдат иногда может сделать больше полководца. Если ему не мешают. Вот и я тебе мешать не хочу. Няньки чаще вредят, чем помогают. Ну, все. Через недельку заскочу к вам. — Он кивнул и вышел из избы.

В окно видно было, как лучи фар прыгнули далеко вперед, косо рассекли село надвое и исчезли.

— Кипятки ты, Андрей Васильевич. Зачем? — спросил Святяев. Узкие глаза его ласково щурились. — Все документы в порядке. Вот приказ о горячем, вот — о пилах, вот — о механизации. Иванов все подпisał. Зачем мешать? Правильно Куприянов сказал: не надо мешать. План выполнять будем — нас хвалить будут.

— Значит, и ты мешать не хочешь?

— Что я? Иванов — начальник, ты начальник, Куприянов — начальник. Я человек маленький! Какой приказ будет, так и сделаю.

— Если тебя только приказом проймешь, — жестко сказал Стрехов, — будет и приказ. На партсобрании обсудим. А сейчас — спать.

— Вот и ладночко! Вот и ладночко! — торопливо повторял Святяев, собирая на столе бумаги.

17

Начались дожди. Жадов и Збарский пришли в лиственничную рощу в последний раз.

Поверженные деревья были уже очищены от ветвей, раскряжеваны на бревна, свалены в кучу. Жадов хотел еще собрать и сжечь сучья. Он знал: так полагается в лесосеках. Правда, эту работу никто здесь не собирался оплачивать. К тому же бригады спешили. Из Серебряных Ключей прислали радиограмму: на ЛЭП нет опор. Чара разлилась — видно, в верховьях бушевали сильные ливни. Сплав с каждым днем становился опасней. Перетолчин строго-настрого запретил Жадову возиться с сучьями и велел помогать на вывозке. Но Михаил не мог этого сделать.

Збарский ушел с ним. Не то чтобы он рвался работать задаром. Его просто забавлял Жадов.

Он шел и подтрунивал:

— Тебе давно надо в начальники произвести. Смотри-ка, я один у тебя в подчинении, а ты уж правдоверней митрополита стал. А если бы тебе бригаду дали? Ты бы землю носом рыл!

Михаил не отвечал. Им владело сейчас строгое и ясное чувство, которое нельзя было разменивать на споры.

Роща стояла унылая, мокрая.

До полудня они молча сгребали сучья. Жадов старательно обшарил все кусты, цепляясь за них шароварами. Потом проверил сделанное Збарским.

Запалили костры. Сырая хвоя кукожилась, скручиваясь в завитки. Кора шипела и никак не разго-

ралась. Тогда Жадов понатаскал в каждую кучу щепок поспомлистее, от них пламя сразу побежало по веткам. Только дымки успели подняться, как выглянуло солнце. Михаил выпрямился и не узнал своей роши. Лиственницы стояли теперь просторно, будто бы прямой стали их веселые ветви, на них золотыми блестками сверкали капли воды. Сизые дымки тянулись к грустному небу и сливались там с облаками. Несмотря на облака, роща казалась светлой, проглядывалась насквозь, а вдали, над рекой, рдели багрянцем листья осинника, оттененные снизу красными куртинами тальника.

На своем недолгом веку Жадов исходил немало лесных троп. Бывал он в сумрачных таежных урманах, сквозь которые не продерешься без топора. На севере путался сапогами в корневищах кошкарника и низкорослых, чахлах берез. Бродил по берегам сибирских рек, поросших буйными зарослями ветлы, сшибал тяжелым колотом шишки в кедрачах, пропитанных дурманящим запахом смолы, сухих трав и ломкой прошлогодней опады. Но ни одно дерево, ни одна пуща не будили в нем такого праздничного и вместе с тем печального чувства, как стоявшие сейчас перед ним лиственницы.

А этот щенок Збарский все твердил ему обидное, блатное словечко «начальничек». Пусть его! Мели, Емеля... Жадов еще походил по роще, собрал десятка два забытых сучков, бросил их в костер, а потом зачем-то пересчитал бревна в рассыпанном штабеле. Их оказалось сто двадцать восемь штук. Все они были гладкие, веселые, словно бы сытые, с желтыми смоляными срезами и затесами.

Только после этого они пошли в деревню. Жадов шел позади и часто оглядывался, каждый раз удивляясь щемящему сладкому чувству, которое владело им. А роща, удаляясь, становилась все гуще и нарядней. Михаил взглянул на нее в последний раз, и вдруг ему стало тоскливо, словно он навсегда терял что-то случайно найденное, неведомое, дорогое. Раньше он никогда не испытывал ничего подобного. Он разом вспомнил всю свою жизнь: детский дом, воровские хазы, лихие пьяные ночи, вросшие в землю бараки колонии и ту страшную ночь, когда они пытались бежать. Там тоже были находки и потери, была тоска, но даже она нисколько не походила на нынешнюю, в которую — странно! — вплеталась еще и непонятная радость.

Нечто похожее было только с Варей. Потеря, которая несла в себе находку. Но Варю-то он никогда больше не потеряет — это Жадов знал твердо. Не потеряет, если даже придется отказаться от самого себя. Он и на это пойдет!

Но что же случилось сегодня?.. Он припомнил обидные словечки Збарского и поморщился. «Показывать трудовой энтузиазм», «носить землю рыть» — такое было и в колонии. Один раз, один-единственный раз — да, в ту самую ночь попытки побега! — он работал, забыв себя, ворочал многопудовые балки, лез в пламя так, что волосы на голове трещали. Но то было из страха. А здесь, в лиственничной роще, из удовольствия!

«Чепуха все это!» — вдруг решил Жадов. Улыбнувшись, он зашагал быстрее. Такой роши больше никогда не будет, она только его, Мишки Жадова, роща, потому так радостно и горько думать о ней, а во все не потому, что труд — это какое-то там благо...

Но, подумав так, он тут же ощутил неприятную фальшь, и, чтобы прогнать ее, сорвался на бег, и, загоговав, пронесся мимо оторопевшего Збарского.

Следующие два дня Михаил помогал на вывозке леса, цепляя бревна к передкам пароконных теле-

жек. Ему было почему-то скучно среди людей, которые с нетерпением ждали, когда работа кончится. На утро третьего дня он уговорился со стариком Степановым пойти на рыбалку. Это было как бы продолжением его прежнего тайного праздника.

Они вышли из дому до рассвета. Над рекой еще плавали хлопья тумана. Вода в Чаре, особенно у берегов, была темная и густая, как солярка. Лодка, казалось, совсем не раздвигала ее, а скользила по самой поверхности.

Жадов греб, стараясь не плескаться, а Степанов укачивал ему проходы в залавках — бурунных порожек у берега, где торчали из воды громадные плоские камни, а за ними лежали строгие темные омуты с круговой водой.

— Тут, у сухоплитников, самая рыба стоит, — объяснял Степанов.

Они придерживали лодку, бросали на дно горловинами по течению «морды» — большие плетеные корзины с берестяными наплавами — или ставили частые неводные сети.

Когда объехали семь или восемь таких залавков, Степанов приткнул лодку к берегу и велел ждать.

— Лучше бы с вечера снасть поставить, — сказал он, — но и то ничего. Часок постоим и на котел всегда возьмем.

Потом он стал рассказывать, как поздней осенью, когда по Чаре идет шуга, здесь бьют рыбу острогами. По ночам таймень, стерлядь отдыхают в ямах, стоят друг над другом ряда в четыре. Если осветить воду лучиной, видно на несколько метров вниз. Тут и бери снулых рыб острогой. Жадов представил себе: темень хоть глаз выколи, а по реке кружат десятки лодок с костерками на носу. Людей не различить, только лохматые, переменчивые силуэты, и, кажется, огни вьются сами собой. Но вот они сбились в кучу, вот фигуры ловцов выделились из тьмы, и вот уже на зубьях острог трепещут, блестят мокрые серебряные рыбы...

— Рукавицы суконные, заколдобит их, скользит рука. В воду ее сунешь и опять за острогу. Такой азарт поднимается, одним часом живешь. На заберегах горы рыбы лежат, давно уж перепутал, чья рыба где, а все спешишь: на целую зиму добыть надо. Ночь, две, три — и точка. Пройдут косяки. Я всегда больше всех успевал, потому что брал острогу ширше — до восьми зубцов ладил. С ней управляться трудней — водой сносит, удар должен быть сильный. Но у меня силы пока хватает! — Степанов рассмеялся тихонько, как бы удивляясь самому себе. — Хватает! — повторил он.

Жадов слушал его, поглядывая вокруг. Далеко за тайгой взойшло солнце. Хвоя деревьев сразу посветлела. Над рекой взмыли кверху и в мгновение испарились хлопья тумана. Недвижная прежде вода задрожала, заструилась на стрежне, а у берегов заиграла бликами, радужными, как бензиновые пятна. Вскоре диск солнца поднялся над горизонтом и осветил лодку, Жадов аж заюлил лопатками, радуясь и теплу, и тишине, и неторопливому рокоту степановской речи, и тому, что все вокруг нарядное и вечное, такое же, как его лиственничная роща.

Степанов почему-то заторопился. Они стали выгребать вверх по реке, поднимая одну снасть за другой. Сильные рыбы бились у них в руках, пальцы невольно спешили. Покоя и тишины как не бывало. Азарт будоражил душу. Уже через полчаса они были мокры с головы до ног, но и это теперь радовало. Солнце светило ярче и ярче, река синела во всю



свою ширь, просохшая рыба чешуя свинцово блестя на запястьях рук и на лице. Тугое течение отбрасывало весла назад, лодка тяжелела, наполняясь почерневшими от воды сетями, белыми, хлесткими рыбинами. Жадов гоготал, похлопывая себя по животу; Степанов смеялся над ним.

Когда они вылезли на берег, все еще мокрые и распаренные, Жадов тут же бросился в магазин: как не обмыть такую рыбалку, не скрепить дружбу со стариком Степановым, не гульнуть последний раз в Наноканно! Ведь завтра, уже завтра оттолкнут шестами от берега их плоты, поплывут, запляшут на волнах ловкие бревна, гребцы — а среди них Жадов — поднимут тяжелые потеси, дружно ударят ими о воду, и песня полетит над Чарой... Ах, хорошо будет! Жадов представил, как радостно станет все вокруг и как все залюбуются им, Жадовым, потому что он будет грести в лад со всеми и потому что в плотях будут бревна, срубленные, раскряжеванные и очищенные от сучьев им самим!

В магазине таиться было некого, но по старой привычке он крепко обвязал голый живот веревкой и под рубаху, выпущенную из штанов, как в патронташ, набил целую батарею бутылок. Потом побегал домой.

Тамара сказала, что Егор Исаич Перетолчин уже дважды приходил за Михаилом — надо помочь вязать плоты. Но Жадов махнул рукой — некогда, без него управятся!..

Через полчаса они со Степановым уже сидели за столом. Старик сперва сторожил, но потом стал пить чуть не полными стаканами и быстро захмелел. Неожиданно он вытащил из-за сундука балалайку и, неловко тренькая толстыми, негнущимися пальцами, запел. Песня была странная. Чуть не после каждого слова Степанов ломал мелодию протяжными выкриками: «Эх и да-а!» В песне говорилось то о черном вороне («он похитил руку белую, руку белую с кольцом»), то почему-то об Азове, «где кипел кровавый бой», то о «невоенном человеке», который куда-то «пришел с лопатой», то о могилах, о тишине над ними, о женах и матерях, которые напрасно ждут своих богатырей.

Степанов объяснил, что это старая казачья песня. Он слышал ее еще мальцом от деда и половину слов забыл. Жадов почти ничего в песне не понял, но все равно каждый раз подхватывал припев и, где надо, старался отчаянно выкрикивать: «Эх и да-а!»

Потом Степанов пел частушки. Прямые черные волосы падали старику на лоб, он откидывал их крутыми, норовистыми движениями головы, подмигивая снохе в забористых местах. Лицо его разгладилося, голубые глаза стали еще прозрачней. Тамара, пригубив стакан — рюмок здесь вообще не полагалось, — молча посмеивалась у плиты и время от времени подавала на стол белые разваренные куски рыбы.

Потом они поспали часок-другой, а поднявшись, снова сели за стол и снова пили водку. Она шла легко, как вода, приятно согревая желудок и кружа голову. Было много разговоров, но Жадов почти не понимал, о чем, хотя и сам говорил много. Вообще все доходило до него смутно, как сквозь толщу светлой воды.

Пришли Перетолчин, Збарский и Коля Сафронов. Перетолчин сначала ругался, но быстро успокоился и тоже стал пить. И Збарский стал пить. Коля Сафронов к столу не подсаживался. Лицо у него было грустное, ему все что-то не нравилось. Жадов, кажется, кричал, что любит его и что все будет хорошо.

На столе лежал помятый лист бумаги, как будто

наряд. Перетолчин ткнул в него грязным пальцем — грязь навечно въелась вокруг ногтя и в кожу суставов — и сказал Коле Сафронову:

— Тутака все описано: тыща сто двадцать кубов. Самолично полдня в грязе лазил, три раза все вымерил — тыща сто двадцать кубиков, как один. Ты покуль подписывай, а там хочешь, так перемерь. Мне ить завтра же надо аванец лесорубам выписывать.

Коля улыбнулся застенчиво.

— На лесосеках я не был, Егор Исаич, а бревна в плотях считал: восемьсот пятьдесят штук... Как же теперь перемеривать?

— Что ты мне шути суешь! Ты мне кубы подписи: я сдал, ты принял. Тебе сплавлять, не мне.

— А все ли вывезли из лесу?

— Мне врать нечего. Говорят тебе, все, значит, все! — Старик уже хмурился.

— Егор Исаич! — вдруг воскликнул Збарский. — А как же...

И вдруг осекся. Егор Исаич сердито посмотрел на него и даже прикрикнул:

— Ты молчи. Не с тебя спрос!

По лицу Збарского промелькнула недобрая усмешка.

— В жизни все едино есть, — сказал он и отвернулся.

— Спрос? — пьяно заговорил Жадов. — Какой спрос? — Но вдруг куски рыбы, лежавшие перед ним на столе, как бы развалились и сдвинулись опять. — Ребя! — закричал он. — Мы сегодня кита поймали! Смотрите, кит лежит!

Коля смеялся, что-то подписывал, и они опять пили. Впрочем, пили теперь только Жадов и Збарский. Степанов уже похрапывал, привалился к стене, Коля отказывался, а Егор Исаич не столько пил, сколько отпивал, хотя и покряхтывал каждый раз с удовольствием.

Тамара все подавала рыбу, упруго ступая по полу. Жадову она отбирала самые крупные куски, искося поглядывая на него.

— Мишка! — вдруг сказал Егор Исаич. — Вот тебе невеста. Бери, пока не поздно, а то баба перестарок уже, того и гляди в семена пойдет.

Все рассмеялись, а Тамара, совсем как молодница в русской деревне, закрыла лицо рукавом просторного летника, лишь взглянув из-под руки еще более озорно, чем прежде.

Жадов не заметил, как кончился день, как ушли Перетолчин с Сафроновым, как исчез Степанов. Очнулся в полутьме, рядом висела ситцевая, в цветочках занавеска. Она отгораживала пол-избы. Сквозь нее пробивался желтый круг от керосиновой лампы, а в нем, как в театре теней, плавно двигалась тонкая женская фигура. Вот она склонилась над чем-то, опустила руки и на мгновение стала шире, бесформенней, выше. Жадов догадался: Тамара снимала платье, из-за занавески мелькнуло ее смуглое плечо. Вдруг прямо ему в лицо быстро зашептал Збарский:

— Мишка! Миша!.. Ты туда не ходи. Не ходи, Миша! Позволь мне!.. Ну что она тебе? Зачем? У тебя Варя есть, красавица, а эта... Что она тебе? Для счету? А мне...

В его голосе было что-то такое неприятное, что Жадова замутило, перед глазами пошли круги, и он не смог ничего ответить. А Збарский легко вскочил на ноги и неслышно пошел туда, за занавеску, и там, в желтом круге, возникли теперь две фигуры. Женская отшатнулась, а мужская тянула к ней руки. Раздался отчетливый, как удар камня о стекло, звук пощечины. Лампа погасла. Жадов уже хотел вскочить, броситься туда, но опять услышал над собой прерывистое дыхание Збарского. К горлу снова подкатила

тошнота. Михаил промолчал. Збарский лег на самый край сенника.

Так они и не сказали больше ни слова друг другу. Вскоре Жадов забылся сном. На него наплывало что-то огромное, потом оно с мгновенной скоростью сжималось до размеров комара, жужжало, но не исчезало, а снова росло и душно наваливалось на грудь.

Збарский не спал, слушал, как вскрикивает во сне Жадов, отодвигаясь от его потного тела, ругал себя: «Зачем?! Зачем я к ней полез? Она и слова-то путного сказать не может. Дура!..»

Он оправдывал себя тем, что он мужчина и ему нельзя долго без женщины. Покорность, с которой держалась Тамара, будоражила в Збарском желание подчинить себе эту женщину всю, до конца, может быть, издеваться над ней и быть счастливым оттого, что и к этому она отнесется с покорностью.

Он ругал себя: надо было подойти к ней иначе, чуть-чуть поласковой, и он добился бы своего... Но, повторяя это, Збарский в глубине души понимал, что все равно ничего не добился бы. Он сознавал, что его здесь считают чужим, и от этого ему становилось еще обидней.

18

На партийном собрании Иванову вынесли выговор с занесением в личное дело. Это его не удивило и не слишком расстроило. Если разобраться, думал Александр Степанович, у каждого найдутся грешки. Расстраивало его другое. Дела на участке шли не хуже, а лучше прежнего, но все свершалось как бы помимо Александра Степановича, не по его воле, а часто даже вопреки ей.

На собрании Стрехов обвинил его в авантюре с дорожниками. Авантюра? Нет, находка! Его, Иванова, находка! Единственный выход из положения! Александр Степанович ждал: сейчас все посмеются и скажут Стрехову: «Уж это ты, брат, загнул!..» Но собрание неожиданно согласилось с парторгом. Мало того, было решение снова послать к дорожникам Стрехова, чтобы принять у них сделанные работы и рассчитаться за горючее. «Как бы ивановская бухгалтерия опять что-нибудь не напутала», — так прямо и было сказано.

Иванов пригрозил собранию Куприяновым, но Стрехов спросил:

— Саша, ты «Войну и мир» Толстого давно читал? Куприянов решил вести себя, как Кутузов во время Бородинского боя. Все передоверил солдатам.

Переметнулся! Почуял, что пахнет жареным, и переметнулся! Подумать только, что с этим юнцом Иванов когда-то открывенничал, душу выкладывал, в парторги его выдвигал!

Кому верить?

Иванов не знал, как себя вести.

А тут еще сегодня произошел крайне неприятный случай.

Котлованы под фундаменты угловых опор, как и все остальные, били на трассе вручную. Но на углах фундаменты железобетонные, и под каждый из них надо перекидывать кубов пять земли, не меньше. Кузьмин, который сейчас работал на бульдозере, наловчился выпихивать ямы машиной. Вместо суток — полчаса. Вместо пяти человек — один. Вместо трехсот рублей — десять. Правда, котлованы получились не квадратные, а с откосами на две стороны,

но это значения не имело. И все-таки Святяев работу не принял, так как она была сделана не по проекту.

Кузьмин пришел к Иванову. В другое время Александр Степанович просто выгнал бы его из кабинета: ведь он был из бригады Стрехова, одно напоминание о котором уже раздражало. Но сейчас он с трудом сдержался и буркнул:

— Ладно! Ройте бульдозером. Если бухгалтер не разрешает, оплачивать будем ручную копку.

Но Кузьмин вдруг спросил:

— А зачем мне левые деньги? Что я, жулик?

Нахал! Мальчишка! И все-таки... Все-таки Иванов вынужден был с ним согласиться. Потом долго пришлось убеждать Святяева, что Кузьмин прав.

Александр Степанович с раздражением вспоминал о Стрехове: уехал к дорожникам и наверняка собирает там какой-нибудь новый материал. Следовало бы поехать туда, но надо быть в Ключах: сегодня сюда приведут плоты из Наноканно.

Погода стояла шалая. Несколько дней подряд шел снег, и хлопья его становились все тяжелее. Но и тепло держалось. С юга дул порывистый ветер, и снежные хлопья кружили в воздухе, словно боясь упасть на зеленую еще траву. Каждый день к полудню снег переставал валить и быстро таял. Лишь на подоконниках, под заборами, в ложбинках и в тайге оставались лежать его ноздреватые полоски. Земля парила, солнце отплясывало бликами в тысячах луж, воздух густел, наполняясь пьянотой весенней шалостью. Контуры срубов, крыш, деревьев призрачно расплывались. Казалось, они вместе с солнечными лучами плывут в радужном хороводе.

В такой призрачный полдень и привели свои плоты сплавщики из Наноканно. В Ключах их давно ждали. Они круто разворачивали плоты на стряже, наваливаясь грудью на гибкие потеси. Мокрые лица гребцов были счастливыми, а пестрые рубахи сливались в веселый орнамент. Только Чара оставалась сумрачно-мутной и по всей своей шири взбывала серые буруны. Глядя на эти буруны, на палатки, поникшие среди бревен, на черные остатки костров, люди понимали, как тяжело достался гребцам этот переход.

На берег высыпала толпа. Люди махали руками, давали ненужные уже советы. Плоты один за другим туго ударялись в глинистый берег, их чалили к кустам, к маленькой дощатой пристани.

В толпе были и Жадов с Перетолчиным. Егор Исач боялся воды, а Жадова наутро после пьянки Коля Сафронов так и не смог разбудить. Им пришлось возвращаться в Серебряные Ключи берегом. Жадов был расстроен этим, но сейчас, среди взбодороженных людей, и он радовался, суетился, бросался от чалки к чалке, хохотал, обнимал и похлопывал по мокрому спине наноканнцев, неторопливо выходивших на берег.

Но больше всех, должно быть, торжествовал Коля Сафронов. На его узкоглазом, сухоньком лице появилось несвойственное ему выражение важности, он распоряжался строго и немногословно. Только по влюбленным, быстрым взглядам, которые Коля бросал на своих земляков, по тому, как он помогал им, пьяным от усталости, подниматься по скользкой глине, можно было угадать, что Коля гордится ими. Он весь светился застенчивой радостью, что наноканнцы не подвели стройку, что все они такие смелые, ловкие, простые.

А Чара все прибавляла воды. Когда чалили последний плот, первый уже свободно болтался на канатах, бился о берег, грозя развалиться.

Иванов объявил:

— Всем, кто ни есть живой, — на берег! — Он сам пробежал по деревне, выгнав к Чаре даже дряхлых старух. Не успокоившись на этом, послал машины на трассу, за ближайшими бригадами, в том числе за стрелковской («Пусть и они в грязи повозятся!»), велел электрикам установить у пристани прожектор. Он всюду лез первым, помогал тащить прожектор, цеплял багром бревна... Аврал! Такая работка была ему по душе! На время забыв свои обиды, он опять почувствовал себя молодым и всесильным.

Снова тяжело повалил снег, люди скользили по нему, как веселые чудища из сказок. Крючья мелькали, как копы, гулко ударялись друг о друга бревна, чавкала под ногами грязь, сердито бормотала река. Кто-то вскрикнул, оступившись в воду, кто-то, стоя на штабеле леса, командовал, невидимый в белой мгле. Оханье бревен, треск, крики, всплески воды, тархтенные лебедок — все это слилось в одну мелодию яростного труда, и не понять было, чего в ней больше — радости или усталости.

В сутолоке Жадов внезапно столкнулся с Варей, не удивился, а только косо взмахнул руками, пытаясь устоять. Она на мгновение прикинула к нему, притронулась щекою к его мокрой стеганке. Михаил отодвинул ее за теплые плечи и закричал прямо в ухо:

— Веселая работка, Варя! А?.. Чуешь, мои листвянки звенят! Я срубил! Мои!

— Твои, Миша, твои!

Он облапил ее, приподнял, закружил в снеговой карусели.

— Пусти, черт! — смеялась Варя. — Плот рушится, видишь?

Жадов кинулся к сизой воде, бултыхавшейся черными бревнами, обернулся на бегу и воскликнул:

— Коля-то наш, а? Молодчик! — Будто и сам он был причастен к Колиному торжеству.

Маленькая фигурка Коли Сафронова мелькала всюду: он и цеплял бревно на берегу, и ладил разбитые слуги, и ровнял штабеля — нигде никому не хотел уступать первенства. Все признавали за ним это первенство, послушно исполняя любое его приказание.

Иванов крикнул:

— Плот! Плот рушится! Вяжи его!

Но Коля только пренебрежительно отмахнулся. Позвал с собой еще двоих, стал рубить тальниковые связи — «Успеем так вытащить!» — и заплясал на бревнах, подталкивая их к берегу.

Иванов, будто натолкнувшись на что-то с размаху, остановился. Ему вдруг показалось, что он не нужен, не нужен и здесь! Опустив голову, постоял с минуту, повернулся, молча подошел к своему «газике» и уехал.

К утру весь лес был на берегу. В свете прожектора Коля скорее угадал, чем нашел последнее шальное бревно. Балансируя на мостках, он крепко ударил его багром и, напрягаясь из последних сил, прибил к берегу. Здесь бревно сразу подхватили десятки рук и, подкидывая, словно любимое дитя, понесли к штабелю. В искристой от электросвета снеговой пелене бревно зловеще играло черными боками.

Коля выпрямился и только тут понял, как устал. В голове мелко позванивали звоночки, ломило плечи и поясницу. Кажется, плавало бы в реке еще одно бревно, Коля не смог бы к нему наклониться.

Стараясь идти прямо, он сошел на берег.

Потом они спали в пустых палатках у околицы. Мокрые, не обсушившись, разметав руки по голым прутьям коек,

Поднялся Николай поздно. Солнце давно вышло из-за туч, снег перестал, и село снова млело в полдневной призрачной праздничности. Бригада сплавщиков еще спала. Он не стал никого будить и пошел в контору оформлять документы. Коля знал, что земляки его будут спешить домой: осенью в Наноканно множество дел у каждого.

В голове еще позванивали вчерашние звоночки, тело поламывало. Колю узнавали на улице, улыбались, приветливо махали руками. Он охотно отвечал на приветствия, морщил нос, щурил глаза, довольный солнечным днем и самим собой.

Так он и вошел в контору — сияя округлившимся от улыбки лицом, вышагивая споро, но с достоинством. В передней никого, кроме секретарши, не было. Черная стрелка на фанерном циферблате торчала против надписи «Трасса». Но секретарша, почему-то испуганно и жалостливо взглянув на него, сказала быстро:

— Проходите. Вас ждут. — И показала на дверь в дощатой перегородке.

Коля улыбнулся ей и несколько раз благодарно кивнул.

В комнате были бухгалтер Святаяев и Егор Исаич. Бухгалтер сердито щелкал на счетах, а Егор Исаич бочком сидел у стола. В ободранной телогрейке, согбенный, с седыми кочками волос вокруг лысины, сейчас он показался Коле очень старым.

— Здравствуй! — сказал Коля. — День-то какой добрый! — Он кивнул на окно.

— Баской денек, — живо откликнулся Перетолчин. — Садись, Коля. Заждались мы тебя.

— Добрый! Для жуликов, — не поднимая головы, мрачно сказал Святаяев и поморщился.

— Это почему? — спросил Коля.

Святаяев резко сбросил костяшки на одну сторону и поднял голову. Глаза у него были, как у хорька, — черные, навязые.

— Слушай-ка, добренький, — спросил он, — что же это ты липу мне привез?

— Какую липу? У нас липа и не растет! — Коля подумал, что бухгалтер шутит. Повернувшись к Перетолчину, он рассмеялся: — Чудак!

Но Перетолчин опустил глаза и тяжело вздохнул.

— Я тебе дам — «чудак»! Козла в твою рожь! — словами Иванова и с его интонацией прикрикнул Святаяев. — Шутки шутить пришел? Сколько лесу в плотях? — Он поднял над столом какие-то бумажки.

— Что ты кричишь? — удивился Коля. — Я тебе все написал: тыща сто двадцать кубов. Зачем кричать?

— Именно, что «написал»... Нарисовал!..

Святаяев рассмеялся нехорошим, дряблым смехом и тоже повернулся к Перетолчину. Тот задвоил глазами, сказал быстро:

— Тут, Николай, неувязка вышла. Мы сегодня перемерили лес, двухсот пятидесяти кубов не хватает. Может, на реке плот какой отбился?

Николай все еще улыбался.

— Зачем отбился? Не отбивался. Все, что взяли, привезли. Сам последнее бревно из Чары вытащил. — Что ты врешь! — опять закричал Святаяев. — Двести пятьдесят три кубика! Испарились они, что ли?

— Как это «врешь»? — любопытствовал Николай. — Что такое «врешь»? — Хотя он и хорошо говорил по-русски, но, видимо, никогда не задумывался над тем, что означает это слово.

— Ох! — простонал Святаяев.

— Неправду, стало быть, говоришь, — тихонько пояснил Перетолчин. — Да нет! Ты обожди! Куда лес-то мог деться, подумай.

— Я? Неправду? — Николай наконец понял, в чем

его обвиняют, и смуглое лицо его побледнело.— Я никогда неправду не говорил! Что вы!.. Зачем мне неправда? Плохой человек говорит неправду! А я... Я все считал! — вдруг вспомнил он обрадованно.— В Наноканно считал: восемьсот пятьдесят штук. В Серебряных Ключах считал: восемьсот пятьдесят штук. Все правильно! — воскликнул он и опять улыбнулся.

— Что ты мне про шулки талдычишь! Вот наряд, видишь? Твоя подпись?

— Моя.

— Тут написано: тебе лесорубы сдали тыщу сто двадцать кубов. Я им и зарплату начислил. Ты мне в своем наряде тоже пишешь: тыща сто двадцать кубов. А на берегу лежит восемьсот пятьдесят. Куда остальные делись?

— Так я...

— А ну тебя! Что мне с тобой воду в ступе толочь? Сделал я перерасчет. Пе-ре-рас-чет, понимаешь? Вот акт: «Стоимость утерянного в пути следования делового леса отнести за счет бригады сплавщиков (бригадир тов. Сафронов), нанятой по временному найму, и вычесть озаглавленную стоимость из ихней зарплаты...» Понял? На три тысячи триста двадцать пять рублей получите меньше. Понял?

Коля молчал.

— Все! — сказал бухгалтер и встал из-за стола.— Теперь идите. Разбирайтесь сами. Идите, идите! — Он подталкивал их к выходу.— Некогда мне с вами возжаться. Все!.. Можете приходить за деньгами.

Только на крыльце конторы Николай остановился и оторопело взглянул на Егора Исаича.

— Что-то я не пойму, Егор Исаич... Как это — «врешь»? Я все считал! В Наноканно — восемьсот пятьдесят штук. В Серебряных Ключах — восемьсот пятьдесят...

Егор Исаич вздохнул, крепко потер ладонью лису и поднял участливо кроткие глаза.

— Что тут спорить, Коля? Документ ведь! Документ — не то что медведь, а чистый слон! Куда ж ты против слона? Объяснись как ни то со своими... Да и не так уж много вычли, Коля! Раскинь на всех поровну, и хорошо будет.

— Хорошо?.. Выходит, я лес украл, и это хорошо? А теперь бригаду обману? Хорошо? — У Коли мелко дрожали губы.

— Кто говорит, что украл? Голубок! Потерял где, мало ли что?

— Ничего не терял! Восемьсот пятьдесят штук в Наноканно, восемьсот пятьдесят в Ключах! Я не врешь! Я никогда врешь не был!.. — От волнения он коверкал слова.— Я к Иванову пойду, он все поймет!

— Сходи! — обрадованно сказал Перетолчин. Глаза его были по-прежнему участливо-кроткими.— Сходи! Может, и поправится дело... А я тоже пойду. Я еще и не жрал ничего.— Старик нахлобучил вылинявшую кепчонку и засеменил с крыльца. Но отойдя шагов десять, остановился прямо посреди лужи и обернулся.— А лучше не ходи, Коля. Мой совет: не ходи. Хуже будет...

Он будто знал что-то, но не хотел объяснять. Собрался уже уйти, но Коля остановил его:

— Егор Исаич! Погоди! Как же я теперь?.. Один против всех?

Перетолчин вернулся.

— Ты, Коля, как дитя малое... Сядь сюда, успокойся.— Он усадил его на завалинку.— Послухай меня лучше... Я еще мальцом был, староверы показывали мне книжку, расхлюстанную таку, древнюю, годов сто ей было, не меньше. А в ней от руки пропись:

решил какой-то там поклониться Христу не мазаному, не писаному, а животворному и ушел в пустыню. Вырыл в лесу нору и стал в ней жить...

— Какому Христу? Какую нору?

— Обожди, слухай... Я тутакза задумался: кака така пустыня, если в лесу птицы кричат, зверь ходит? На всю жизнь, можно сказать, задумался. Только летось, когда пожил в Таежном, вырешил: лес ли, город ли, село ли, для человека — все пустыня, и он в ней один. Понял? И ничего в этом страшного нет. Только понять это надо.

Коля долго смотрел на него округлившимися, стылыми глазами. Наконец выговорил:

— Нехороший ты, Егор Исаич. Недобрый.

В его тоне было столько презрения, что старик загорячился.

— Недобрый! А ко мне жизнь добрая была? В тридцать втором году все хозяйство отцовское порушили. Пять мельниц было, табуны чистокровок в степи ходили, в Монголию, Китай коней гоняли, целая волость нами кормилась! Все коту под хвост пошло! Добрая, да?.. А я опять поднялся, трех сыновей вырастил. Двое сбегло от меня жизни иной искать. Но один остался, и уж этому я все сделаю, его никому не отдам! Я и в нынешнем времени выход найду. Деньги и сейчас можно взять, много денег! Влагу кругом лопухи торчат, ушами хлопают...

— Какие деньги?

— Какие деньги! Сам-то не о деньгах печешься? Все вы добренькие, пока к вам в карман не залезут!

— Уйди, Егор Исаич. Не то говоришь. Уйди лучше.

— И то верно.— Старик внезапно успокоился.— Нечего с дураком говорить.

Он махнул рукой и зашагал прочь, бойкий, маленький, крепкий.

Коля остался один.

Хуже того, что случилось, ничего быть не могло. Не деньги заботили его — другое! Он, Коля Сафронов, привел лэповцев в Наноканно. Он уговорил наноканнцев помочь стройке. Они верили ему. И он обманул их.

Он, а не бухгалтер Сватяев и никто другой! У бухгалтера документы, а у Коли?.. Коля — лжец. Первый, наверное, лжец в Наноканно.

Николай представил себе, как придет к сплавщикам и расскажет обо всем. Они будут сидеть вокруг него, и лица у них вытянутся, станут строгими, — не разглядеть зрачков в узких прорезях глаз. Потом кто-нибудь медленно проговорит: «Бухгалтер не врет. Зачем ему врать? Он большой начальник, его тыщи людей слушаются. Значит, он хороший человек. Он врать не станет... Кто тогда врет? Сафронов? Сафронов — звенк из Наноканно. Зачем наноканнцу врать? У нас лес есть, охота, рыба, огород, жена, дети. Все есть! Только живи по правде, все хорошо будет.

А Сафронов? Он давно не с нами. Станный человек. Ему не понравилось в Наноканно. Кто знает, как он здесь жил? Никто. Может, жил с плохими людьми и сам стал плохим. Он сказал нам сперва одно, потом другое. Подпись ставил сначала одну, потом другую. Уже плохо! Может, мало-мало врет Сафронов?..»

Николай представил себе Чару у Наноканно, разливистую, веселую, и ладный ряд домов на берегу, и то, как он идет по улице, а старики отворачиваются, пытая трубочками, женщины говорят детям: «Вон идет плохой человек...» И, может быть, сын Климка спросит у него: «Ты лжец, да?» И глаза его будут недоуменными, как поломанные пуговицы.

Лицо у Коли мелко сморщилось, ему захотелось

плакать. Но, вспомнив сплавщиков, он пересилил себя и, боясь встречи с ними, быстро, почти бегом направился к реке. Тут, чтобы отдышаться, сел на сырое, теплое бревно. Штабеля лиственниц были рядом. Он сосчитал бревна. Вместе со слегами, вдавленными в глину, было ровно восемьсот пятьдесят штук.

Чара неслась мимо, мутная, взъерошенная. На ней пенились буруны. Особенно много их было вдоль двух островков посредине реки, она несла вывороченные с корнями деревья, таранила ими эти островки, словно бы стремясь сбить их, но островки с голыми кустами оставались на месте, а река катила дальше, уже безразличная ко всему.

Коля не верил ни в бога, ни в черта. Он не знал и не понимал человеческой подлости. Плохое, считал он, для всех плохое, поэтому оно не может жить долго. Иногда кто-нибудь в Наноканно погибал на охоте. Или загорался чей-нибудь дом. Или дохли собаки. В таких случаях Коля, как и все наноканцы, не доискивался причин, а говорил: «Судьба!» Все охотники были в общем одинаковыми, все дома походили друг на друга, все собаки мало отличались одна от другой. Но беда, непонятная и потому еще более нелепая, находила кого-то одного, обходя других. Это и была судьба. Она не меняла существа жизни. Жизнь, ее радости, ее удачи оставались, как остаются эти островки, а судьба, как река, неслась мимо, унося с собою свои жертвы. Противиться этому не мог никто.

Коле некого было винить в том, что с ним произошло. Святые? Конечно, он прав. Перетолчин? Он ни в чем и не мог быть виновен. Сплавщики? Они сделали все возможное.

Виноват один он, Коля Сафронов. Почему?.. Это невозможно понять. Это судьба.

Где-то за его спиной привычно кричали петухи, мычали коровы, раздавался стук моторов, а здесь, на голом берегу, было пусто и тихо. Только штабеля обсохших и посветлевших бревен высились, как укор. Человек с нечистой совестью всегда одинок, думал Коля. Теперь он никогда не сможет просто подойти к людям, просто поднять глаза, просто заговорить. Он сперва должен будет подумать, не встретят ли его презрением, или снисходительной усмешкой, или настороженным молчанием. И никто, наверное, уже никогда не обрадуется ему.

Дул промозглый ветер. То ли от него, то ли от этих мыслей Коле стало холодно. Потянуло в село.

Нет, не может все кончиться так нелепо! Он дожидается Иванова. Иванов — высокий, голубоглазый и добрый — сумеет оправдать Колю! Он привез в



бригаду пилы, дал бульдозер, оплатил стоимость вещей, сгоревших в палатке на Долоновке.

Коля не помнил, сколько прошло времени. Прячась за избами, заборами, он шел в село, искал машину начальника участка, не находил, возвращался к реке и подолгу тупо смотрел в воду.

Иванов вернулся вечером. Он был расстроен. Оказывается, Стрехов решил не требовать возврата горючего, взятого дорожниками в долг, а пообещал просто списать его. Больше того: сейчас он подсчитывал все, даже самые мелкие работы, сделанные дорожниками на трассе.

Иванов запротестовал:

— Дурак! Зачем самому на себя грузики вешать!

Но Стрехов жестко сказал:

— Мы перед ними виноваты и в долгу не остаемся. А ты... ты рано кипятишься. Это не конец. С тобой особый разговор будет!

При этом, как показалось Александру Степановичу, он многозначительно усмехнулся.

Вспоминать об этом было неприятно.

Коля Сафронов вошел в контору вслед за Ивановым.

Тускло желтела настольная лампа. Свет от нее падал неровными кругами на лица Иванова и Святеева, сидевших рядом.

— Александр Степанович, — начал Коля и замолчал.

— Ты? Сафронов? — спросил Святеев. — Где же ты пропал? Бригада ищет, людям ехать надо, а ты...

— Александр Степанович, беда, большая беда вышла, — сказал Коля и опять замолчал.

— Что с тобой? — Иванов даже испугался, взглянув на Колю бледное, страдальчески сморщенное лицо. — Ты о путанице в нарядах, что ли?

Коля кивнул.

— Что ж ты такой? Лица на тебе нет, в грязи весь! — Иванов встал, обнял Николая за плечи. — Ну, садись, садись!

Усадив Николая, он зашагал взад-вперед по комнате.

— Действительно, Святяев, неудобно как-то получается...

Он подумал, что и Коля Сафронов из бригады Стрехова, но сразу же отогнал от себя эту мысль.

Коля сидел, поджав под себя ноги, чтобы не наследить.

— Ты пойми: они нас здорово выручили, а мы... Черт его знает, куда этот лес делся, козла в его рожи!.. Я вот что думаю: в наряде оставь ту кубатуру, какая есть, стоймость утерянной вычти, а расстояния... Ну, кто их мерил? Ясно? Кто знает, где они там рубили, откуда волокли, откуда сплавляли! Ясно?.. Так прикинь, чтобы сплавщики заработали столько, сколько хотели.

— Ясно, Александр Степанович. Сделаю.

— Ну вот! — Иванов повернулся к Николаю и широко улыбнулся. — Вот и ладно! Так, что ли?

— Как ладно? Не ладно! — Николай опустил ноги, и комок жирной грязи упал с них на пол. — Как я своим покажусь?.. Как объясню?

— Как?.. Так! Хоть горшком назовись, лишь бы в печку не ставили! — Иванов рассмеялся.

— Нет, я так не могу... Надо другое! Тыщу сто двадцать кубов я взял. Тыщу сто двадцать отдал. Я все отдал! Пусть меньше отдал, — значит, меньше и взял?

Он встал и топтался на одном месте, размазывая грязь по полу. Увидев это, Иванов досадливо поморщился.

— Ты чудак. За тыщу сто двадцать лесорубам уже заплачено. Документы ушли. А тут — двухсот пятидесяти не хватает. Где же их взять? Да не все ли равно, сколько! Изменим расстояние — и деньги будут те же!

— Не надо деньги... Зачем деньги? Правду надо! — жалобно сказал Коля.

— У вас в бригаде все такие чокнутые? — Иванов уже злился. — Этот, как его, Кузьмин! Ему денег не надо! Тебе денег не надо! Крутишься, как черт, из яйца лошадь высиживаешь, а вы!.. Козла в вашу рожи! Все! Хватит! Кончен разговор! Иди!

Опустив непокрытую голову — шапку он потерял где-то раньше, — Коля пошел к выходу.

Ветер утих. Шел снег, белый и мягкий. Коля брел по улице, шатаясь, как пьяный, от усталости, обиды и страха. Страх оттого, что он опять остался один. В голове все смешалось, перед глазами плыла белая, как снег, бредовая круговерть — может, это и был снег? — и позванивали давешние звоночки.

Поздней ночью Коля пришел на трассу, в бригадный балок. Он хотел разыскать Стрехова, человека, который смог бы понять его. Но в балке никого не оказалось: бригада осталась на сутки в селе, а Стрехов еще не вернулся от дорожников. Николай нашел ключи и вошел. Было холодно. Не раздеваясь, он лег на койку и долго лежал с закрытыми глазами.

Вдруг ему почудилось, что где-то совсем рядом протяжно и жалобно воеет собака. Откуда здесь могла взяться собака?.. То будто тройка, рыдая бубенца-

ми, пронеслась мимо, и кони храпели. Коля на секунду даже привстал и открыл глаза... Потом ему казалось, что ночной мотылек залетел в комнату и бьется о стекло керосиновой лампы. Лампа не горела, и откуда сейчас взяться мотыльку! Но он не улетал и тихо позванивал о стекло. Николай встал и зажег лампу. Никакого мотылька не было. Но вот он трижды ударил об оконное стекло и зашуршал крыльями. Мотылек, наверное, был большой. Вдруг он упал на лицо, и шершавые липкие крылья скользнули по лбу. Николай вскочил на ноги.

Лампа мигала, отбрасывая круги света, такие же неровные, как и те, в кабинете Иванова. Коля подумал, что теперь никогда и ни во что не сможет верить так же полно и беспредельно, как раньше. Ему стало жалко себя. Хотелось быстрее дожидаться дня, но он знал, что и днем ничего не изменится, все будет таким же бессмысленным, как эта возня несуществующего мотылька.

Он не мог больше оставаться один и пошел к двери. Взгляд его случайно упал на ружье, которое висело над койкой Стрехова. Николай подумал, что Стрехов, наверное, так и не собрался ни разу на охоту. Он постоял, еще подумал, снял ружье, повесил на плечо и вышел. Аккуратно закрыл дверь и положил ключ на старое место.

Снег все шел, впереди ничего нельзя было разглядеть. Николай словно бы нырнул в белую мглу.

19

Жадов и Варя вышли из Ключей раньше всех, на рассвете. Метель отыгралась. На тропе, которая вела к трассе, не было ни одного следа. Снег на лапах ельника блестел ослепительно, а внизу лежал матовый, ровный. Жадов шел впереди, прокладывая дорогу. Иногда он внезапно останавливался и сильно ударял палкой по нависшим над тропой ветвям. Комья сухого снега падали Варю на голову и осыпались по складкам ватника. Михаил счастливо хохотал, а Варя, притворно сердясь, кричала:

— Черт мохнатый! Перестань!

Жадов пел в ответ:

— Жених и невеста из тухлого теста...

Варя тоже смеялась, лепила снежки, но они каждый раз разваливались у нее в руках.

Вдруг Михаил остановился и охнул: у самых его ног в снегу были ясно видны очертания человеческого тела. Рядом торчал, зябко посверкивая инеем, ствол ружья. Жадов выдернул его из снега и тут же узнал стреховский винчестер.

— Варя, — позвал он негромко.

С минуту они стояли над сугробом в растерянности. Варя упала на колени и разгребла снег там, где должна была находиться голова. На нее глянули залубневшие узкие глаза Коли. Михаил тоже бросился разгребать снег.

— Николай!.. Коля!.. — кричал он, не чувствуя холода.

Снег разваливался кровавыми густками, похожими на гроздь брусники. Должно быть, ружье было заряжено жаканом, зарядом на медведя. В груди Николая зияла громадная рваная рана, из которой торчали обгорелые клочья одежды.



— Молчит... Не жулюкнет,— удивленно сказал Жадов и попытался, отодвигая Варю от трупа, загоразивая его. Варя заплакала.

— Как же это?.. Как же это? — бормотала она, сама не слыша своих слов и стараясь приблизиться к телу.

— Не трожь! — крикнул Жадов. — Нельзя... Заявить надо. Что-то тут нечисто. Бежим.

Взявшись за руки, они побежали к селу.

Уже через полчаса все знали о том, что случилось. Единственный на всю округу участковый милиционер тут же приехал на место происшествия вместе с Ивановым, бухгалтером Святиевым и Кузьминым. Обследовав тело Коли Сафронова и все обстоятельства его гибели, милиционер пришел к выводу, что виною всему несчастный случай. Других причин не знал и не мог знать никто. Но Иванов почему-то все спрашивал у Кузьмина и Святиева, когда они в последний раз видели Николая, о чем говорили, зачем он мог пойти в балок, знал ли,

что бригады там нет... Разыскав наноканцев, Александр Степанович и у них тоже долго допытывал, видели ли они своего бригадира накануне и о чем говорили.

Никто Николая не видел и ничего не мог рассказать.

Жадов топтался рядом и все повторял свою нелепую фразу:

— Я — к нему. А он молчит. Не жулюкнет...

Иванов никак не мог успокоиться, был необычайно бледен и сдержан. Он сам отвез тело Сафронова в больницу.

Когда Александр Степанович вернулся в контору, его встретил перепуганный сторож.

— Вечером, как только вы ушли, — сказал сторож, — он приходил сюда. Стрехова спрашивал.

Зачем ему нужен был Стрехов? Почему именно Стрехов? Что он хотел сказать ему?..

Иванов собрал у себя в кабинете всю стреховскую бригаду. Ребята сидели по углам, сгорбившиеся, молчаливые.

— Зачем ему нужен был Стрехов? Зачем он пошел в балок? Кто что думает? Отвечайте.

И тут вдруг заговорил Збарский — быстро и вроде бы даже с некоторой радостью:

— Помните, мы за Долоновку шли, я в речку оступился, а Коля рассказывал про своего друга, охотника?.. Тот оступился на валежнике, под снегом не видел. Ему жакан ногу разворотил, и его собака спасла. Помните? Вот и тут, наверное... Ведь какая пурга была! Ружье не поставил на предохранитель, вот и...

— А ты что шумишь? — мрачно спросил Кузьмин.

— Да нет, я...

Збарский замялся, сел и больше уже не открывал рта.

— Наверное, так все и было, — сказал Иванов. — Но я хочу знать, кого и зачем он искал вчера вечером?

— Конечно, так все и было! — заговорил Перетолчин. — Не сам же он с собой кончил! Парень серьезный, семейный... Почто он тогда нес ружье чуть не до села?.. Да и на кой ляд ему стрелять себя? Не из-за этих же двухсот пятидесяти? Ведь вы же все миром кончили, Александр Степанович?

— Миром, — ответил Иванов и опустил голову.

— Постой-постой! Каких двухсот пятидесяти? — спросил Жадов.

— Не водки же! — Перетолчин хохотнул. — Не хватило у него в плотях двести пятьдесят кубов, а Александр Степанович накинул. Всю стоимость накинул.

— А ты не шуток!.. Почему не хватило? Он же все привел. Сам мне говорил.

Перетолчин пожимал плечами.

— Двести пятьдесят, говоришь? — Жадов вдруг вспомнил пьяный разговор в избе Степанова, когда Коля подписывал наряды и все спрашивал у Егора Исаича, весь ли он лес вывез из тайги. — Двести пятьдесят?..

Он прикинул в уме: сто двадцать восемь бревен лежали в его лиственничной роще — примерно две с половиной сотни кубов.

— Двести пятьдесят? — Он встал, огромный и страшный, как медведь, и пошел на старика, широко ставя ноги. — А ты в моей роще лес взял?

— А ты сам взял? — визгливо закричал Перетолчин. — Ты пьяный лежал! Что ты мне шьешь!

— Я-то пьяный, а ты... В моей роще... Гад! — простонал Жадов и вскинул руки.

Перетолчин испуганно юркнул было мимо Жадова, но тот успел поймать его за шиворот.

Иванов уныло молчал.

— Задужишь, лешак! — хрипел старик.

Ребята бросились к Жадову, он сопротивлялся.

— Стой, Миша, стой! Никуда он не уйдет! Разобраться надо.

Но и без того все уже поняли, что произошло.

— А где Збарский? Студент где? — вдруг спросил Жадов.

Збарского не было. Незаметно он выскользнул из комнаты.

— Я пьяный был, а он знал! Наверняка знал о наших бревнах! — кричал Жадов. — Где Збарский?

— Найдите его сейчас же! — приказал Иванов.

Люди высыпали на улицу. Первым, обрадовавшись, что о нем забыли, выбежал старик Перетолчин.

Иванов остался один. «Если бы я его не выгнал тогда, ничего не случилось бы! — думал он. — Человечек в беде не может оставаться один. Он идет к людям. Вот Коля и шел к Стрехову, к бригаде. Если бы я его не выгнал!.. Деньгами хотел ему душу вылечить. Ах, какая глупость! Так не понять его!»

Дверь рывком распахнулась, и в кабинет вошел Стрехов. Был он бледный, без шапки.

— Андрей, ты?..

Стрехов остановился посреди комнаты.

— Что, Иванов, достукнулся?

— Ты знаешь?

— Мне все рассказали. Все!

— Да, да, — растерянно сказал Иванов, подошел к окну, вернулся к столу, снова пошел к окну, ероша седые волосы, беспомощно разводя руками.

— Что будешь делать? — едва сдерживая себя, спросил Стрехов.

— Делать? — Иванов остановил свой бег. Сейчас он был жалок. — Делать? Что?.. Ах, ну да! Делать... Делать...

Он взглянул на Стрехова и опустил голову.

— Ты что без шапки ходишь? — вдруг спросил Иванов. — Простудишься... Нельзя так, нельзя!.. Что буду делать?..

Секунду он постоял спиной к Стрехову, потом решительно сел за стол и придвинул к себе стопку чистой бумаги. Перо его брызгало, он разорвал два листка прежде, чем написал то, что хотел.

— Вот... — Он протянул Стрехову бумагу.

Андрей шагнул к столу и, не беря листок в руки, прочел:

«Начальнику Таежинского строительства С. П. Куприянову

Иванова А. С.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу освободить меня от занимаемой должности начальника спецучастка ЛЭП, т. к. по своим деловым и личным качествам я ей не соответствую. Больше того, считаю, что дальнейшее мое пребывание на любой руководящей должности было бы преступным».

И размашистая подпись.

— Я давно думал об этом... Но все хотелось дойти до конца, — лихорадочно говорил Иванов. — Понимаешь, кончить линию хотелось. Думал, наладится... Ах, что говорить! — Он снова опустил голову.

— Ладно. Этого пока хватит. А сейчас уходи! — глухо сказал Андрей. — Больше ты здесь не нужен. Дошел... до конца!

— Уйти?

Не поднимая головы, Иванов потрогал стопку бумаг на столе, свое заявление, переставил покрытую высохшими коричневыми пятнами чернильницу, встал, шумно отодвинул стул и вышел. Стрехов устал опустился на лавку и долго сидел так, закрыв глаза.

Он вспомнил свои прежние мысли об Иванове: «Его удача, ловкость — за счет других...» Да, за счет других, даже за счет их гибели... Опять и опять с неутолимой болью Стрехов думал о Коле Сафронове. Тысячи всяких «если бы» и «вдруг» приходили ему на ум, но он понимал, что все эти «если бы» и «вдруг» зависят от нас самих, от нашей доброты и строгости. Надо только всегда знать меру доброты и меру строгости. И меру злости. Да, именно злости. Даже ненависти. На земле идет бой, он идет и в наших сердцах, и любой боец, если он умеет любить, должен уметь ненавидеть. Иногда доброта может обернуться непоправимым злом.

Да, с Колей Сафроновым уже ничего нельзя поправить. Чувства вины и ненависти, переполнявшие сейчас Стрехова, останутся у него на всю жизнь.

Уметь ненавидеть... Все мы слишком верим в добро, верим в силу его и невольно думаем, что добро должно побеждать само собой. Нет! Надо уметь драться за него! Только тогда оно победит!

Все это были мысли простые и далеко не новые, но как дорого заплатил он за них! И не только он сам, но и все, кто был близок ему, за кого он был в ответе. Если бы можно было все их боли принять на себя, чтоб их ничто не коснулось!.. Он опять вспоминал об Иванове, и в душе его не было ничего, кроме безгневной неприязни к нему, к его толстым дрожащим пальцам, к лохматым седым волосам, к скользким глазам.

Уже ничего нельзя поправить! Решительно ничего! По крыльцу затопали сапоги, стукнула входная дверь. Стрехов открыл глаза. Перед ним стояли Жадов и Кузьмин.

— Сбежал, сволочь! — сквозь зубы процедил Кузьмин, лицо его скривилось.

— Я его из-под земли достану! Из-под земли! — твердил Жадов. — Рассчитаемся! И с ним и с Перетолчиным.

— Збарский не мог далеко уйти, — тихо сказал Стрехов. — Сегодня же найдите его. И чтобы — слышишь, Михаил? — без всяких штучек! Понял?.. Приведите его ко мне.

Они долго молчали. Первым заговорил Кузьмин: — Помните, Андрей Васильич, тогда, на Долоновке, я говорил: не надо помнить плохое. Дурак я! Надо помнить! Всегда помнить!..

Андрей молча сжал рукою его плечо и мягко подтолкнул к выходу.

Они понуро, не торопясь, шли по снегу — Кузьмин и Жадов по бокам. Стрехов посередине. Андрей шел все так же, без шапки, лицо его было сумрачно, зубы стиснуты.

Должно быть, они трое лишь сегодня узнали, почувствовали сердцем полную меру ответственности друг перед другом и перед всеми людьми.



● А. Ефимов,
член-корреспондент
Академии наук СССР

НОВЫЕ РУБЕЖИ

Если бы мы захотели найти символы, наиболее точно отражающие научный прогресс в наше время, то вместе с атомом и космической ракетой нужно было бы назвать и планирование.

Известно, что социальная функция планирования состоит, коротко говоря, в том, чтобы заменить анархию и конкуренцию сознательной, целенаправленной деятельностью, перейти из царства слепой необходимости в царство познанных закономерностей.

Карл Маркс писал в «Капитале», что самый плохой архитектор от нанявшей пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове. Планируемая экономика, образно говоря, отличается от стихийной как раз тем, чем отличается деятельность архитектора от деятельности пчелы.

Советский Союз впервые в истории человечества вступил более сорока лет назад на путь планового ведения хозяйства. Это оказало огромное воздействие не только на весь ход исторического развития нашей страны, но и на общественное мнение во всем мире. Американская газета «Филадельфия рекорд» от 7 апреля 1931 года писала: «Пятилетний план Советской России — знакомая фраза, повторяемая в бесчисленных газетных статьях, заголовках, передовицах, речах, научных трудах, брошюрах и книгах — в целом разделе современной литературы. Без конца обсуждаемая государственными деятелями, экономистами, политиками, промышленниками, финансистами, философами — часть современного языка всех цивилизованных наций».

Если вы знаете более известную или более широкую обсуждаемую тему, — назовите ее¹.

С тех пор прошло 35 лет; многое изменилось: страна провела индустриализацию народного хозяйства, одержала победу в тяжелейшей войне с фашистской Германией, были осуществлены в общей сложности семь пятилеток, хозяйство росло, менялись формы и методы управления, но при всех обстоятельствах в

силе оставался плановый принцип руководства экономикой.

Успехи советских пятилеток были лучшей пропагандой плановой экономики. В настоящее время планирование в его различных формах используется в десятках стран Европы, Америки, Азии и Африки.

XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза закончил свою работу. В лице съезда наша партия дала путевку в жизнь новому пятилетнему плану, который явится важнейшей вехой на путях социально-экономического развития советского строя.

Всенародное обсуждение проекта Директив по новому пятилетнему плану показало, что программа нашего экономического развития целиком отвечает интересам народа и ленинским принципам социалистического хозяйствования. Как центральная задача для выдвинута необходимость более полного удовлетворения материальных и культурных потребностей народа. Программное положение партии: «Все во имя человека, все для блага человека» — получило в решениях съезда прямое и конкретное выражение.

Каковы же особенности и черты новой пятилетки?

Главную экономическую задачу партия видит в том, чтобы на основе всемерного использования достижений науки и техники, индустриального развития общественного производства, повышения его эффективности и производительности труда обеспечить достижение новых рубежей в промышленности и сельском хозяйстве и тем самым добиться существенного подъема жизненного уровня советского народа.

Решение этой задачи в начавшемся пятилетии связано, с одной стороны, с колоссальным ростом масштабов производства, с другой — со всемерным повышением его эффективности. Не только больше производить, но производить с наименьшими затратами трудовых и материальных ресурсов — в этом сущность современного этапа экономического развития.

Наша страна располагает огромными по своим размерам и разнообразию средствами производства: оборудованием, сырьем, топливом и материалами. По производству станков и некоторых других видов оборудования, по добыче важнейших видов сырья и топлива мы идем впереди всех других стран. И наше-

¹ Эту цитату приводил В. В. Куйбышев в своем докладе на пленуме Госплана СССР 11 мая 1931 года.

му обществу отнюдь не безразлично, как используется это богатство. Разумно и по-хозяйски использовать его — это значит обеспечить (при тех же затратах) выпуск гораздо большего количества самых различных изделий и, в первую очередь товаров народного потребления. В этом неисчерпаемые резервы повышения материального благосостояния нашего народа. Можно сказать, что повышение эффективности использования производственных ресурсов — центральная задача всей экономической политики в годы пятилетки.

При ознакомлении с заданиями нового пятилетнего плана каждого из нас прежде всего поражает — не может не поразить — масштабность заданий по увеличению общественного производства. Впервые в истории нашей страны намечаются столь громадные абсолютные приросты новых мощностей и выпуска продукции. Например, объем национального дохода в 1970 году в четыре раза превысит национальный доход СССР времен 1950 года. Только прирост его за пять лет перекрывает общий объем национального дохода Италии, Австрии, Канады, Швейцарии, Швеции и Дании, вместе взятых.

Стержнем индустриального развития всех отраслей народного хозяйства была и остается электрификация. Можно с уверенностью сказать, что все ближе к завершению ленинская идея электрификации всей страны. Новый пятилетний план предусматривает увеличение выработки электроэнергии до 850 миллиардов киловатт-часов: прирост энергетических мощностей (еще одно сравнение) превысит суммарную электроэнергетическую мощность таких стран, как ФРГ, Италия, Дания и Норвегия.

В свое время нам понадобилось 26 лет — с 1929 по 1954 год, — чтобы нарастить производство стали в такой же мере, как сейчас намечено на одну пятилетку, то есть на 33—38 миллионов тонн.

Еще более разительны цифры по увеличению добычи нефти, газа, производству химических волокон, пластических масс и синтетических смол, минеральных удобрений.

Особое место занимают проблемы развития сельского хозяйства: от их решения зависит и рост материального благосостояния трудящихся и повышение эффективности общественного производства.

Что явится предпосылкой и основой подъема сельского хозяйства? Во-первых, удвоение государственных капиталовложений, которые достигнут суммы в 41 миллиард рублей. Во-вторых, резко возрастет роль индустрии в формировании материально-технической базы сельскохозяйственного производства. Машиностроение увеличит для его нужд выпуск техники: парк машин по тракторам и зерноуборочным комбайнам, например, возрастет в полтора раза. Химическая промышленность в два раза увеличит поставки минеральных удобрений. Поток электроэнергии на село возрастет в три раза.

Одна из наиболее актуальных задач новой пятилетки — это коренное улучшение качества продукции, увеличение производительности, экономичности, надежности и долговечности машин и приборов, ориентация на лучшие мировые стандарты.

Грандиозные задачи пятилетнего плана требуют и качественно нового подхода к их решению. А это связано прежде всего с совершенствованием социалистического планирования и форм руководства народным хозяйством. Вот почему в настоящее время самое пристальное внимание уделяется неуклонному осуществлению решений партии о совершенствовании системы и форм планирования, экономическому стимулированию производства, расширению инициативы и хозяйственной самостоятельности предприя-

тий, повышению материальной заинтересованности трудящихся в результатах их труда. При этом исключительно важное значение придается правильному сочетанию централизованного планового руководства с развитием хозяйственной инициативы и самостоятельности промышленных предприятий.

Социалистическое планирование не застывшая схема. Оно продолжает развиваться в соответствии с требованиями времени, в соответствии с новыми задачами коммунистического развития.

Новый этап в совершенствовании планирования открыл сентябрьский (1965 год) Пленум ЦК КПСС. Его решения еще раз подтвердили приоритет централизованного планирования экономики страны — этого величайшего преимущества социализма перед капитализмом. В то же время существенно расширяются права предприятий, приводятся в действие экономические рычаги и материальные стимулы эффективного развития общественного производства.

Последовательное и полное внедрение в жизнь решений мартовского и сентябрьского (1965 год) Пленумов ЦК партии явится залогом успешного выполнения заданий нового пятилетнего плана.

Через весь документ, единогласно принятый съездом партии, поистине красной нитью проходит идея великой заботы о повышении уровня жизни народа.

Основной путь повышения благосостояния, намеченный планом, — это рост оплаты труда. Заработная плата рабочих и служащих за 1966—1970 годы повысится в среднем не менее чем на 20 процентов, а денежные и натуральные доходы колхозов от общественного хозяйства — в среднем на 35—40 процентов.

Принципиально новым в оплате труда станет еще более тесная связь с результатами общественного производства. Размер заработной платы каждого трудящегося будет находиться в зависимости и от того, как он потрудился сам, и от результатов деятельности всего предприятия, на котором он работает. Стимулирующая роль оплаты особенно повысится после перевода предприятия на новые методы планирования и организации труда. В этих условиях явно возрастет роль и значение прибыли в повышении уровня жизни.

Надо иметь в виду, что в промышленности создается две трети всей прибыли, которую получает народное хозяйство страны. В 1964 году размер ее составил 22 миллиарда рублей, из которых почти одна треть была дана машиностроением и металлообработкой. В годы пятилетки прибыль промышленности должна увеличиться в два раза.

Проводимая сейчас экономическая реформа предполагает увеличение той части прибыли, которая будет оставаться в распоряжении предприятий и по различным каналам, в том числе через фонд материального поощрения работников производства, будет идти на нужды трудящихся. По предварительным расчетам, за пятилетие примерно две трети всего прироста заработной платы рабочих и служащих, занятых в промышленности, произойдет за счет повышения производительности труда и введения новых поощрительных систем.

Крупным шагом по пути сближения уровня жизни тружеников города и села явится то обстоятельство, что денежные и натуральные доходы колхозников будут возрастать почти в два раза быстрее, чем зарплата рабочих и служащих государственного сектора.

Наряду с ростом оплаты труда важную роль играют денежные выплаты и льготы, предоставляемые населению за счет общественных фондов потребления. Это — обеспечение по социальному страхованию, различные пособия, пенсии, стипендии, оплата

отпусков, бесплатное обучение и медицинское обслуживание, льготные или вовсе бесплатные путевки в санатории и дома отдыха, содержание детских садов и яслей. В прошлом году выплаты этого рода составили 35 процентов к средней зарплате рабочих и служащих; к 1970 году общий объем подобных льгот возрастет не менее чем на 40 процентов.

Рост благосостояния советских людей зависит во многом от работы промышленности. Ей предстоит значительно увеличить производство товаров для населения. В пятилетии поставлена задача создания целой индустрии питания.

Задания по росту выпуска потребительских товаров касаются не только легкой и пищевой промышленности, но и химии, машиностроения, металлургии, лесопереработки. Все отрасли обрабатывающей промышленности должны наладить массовый выпуск высококачественных товаров широкого обихода.

Однако серьезное внимание к вопросам благосостояния и потребления в Директивах съезда вовсе не должно порождать мысль о потребительском подходе к развитию производства. Потребление зависит от производства. Естественно поэтому, что потребности людей будут удовлетворяться больше постольку, поскольку будет более эффективным само производство, поскольку будет повышаться общественная производительность труда.

В Директивах съезда непосредственно связываются цели и средства их достижения. Развитие инициативы трудящихся в деле повышения эффективности производства, внедрение новых экономических методов хозяйствования, улучшение работы предприятия и в связи с этим рост фондов материального поощрения создадут все возможности для значительного повышения уровня материального благосостояния наших людей. Поэтому я хочу подчеркнуть, что сформулированные в Директивах съезда задания по росту материального благосостояния, несмотря на свою впечатляющую силу, отнюдь не являются предельными. Резервы есть огромные. Все дело в нашей собственной инициативе.

Бывает полезно время от времени оглянуться назад.

Еще сравнительно недавно, в послевоенное время, у счастливых обладателей телевизора собирались соседи чуть ли не из десятка квартир; в зимнее время московские окна, как, очевидно, и в других городах, украшались «авоськами» со съестными запасами: холодильников почти не было. Сейчас все эти приборы не экзотика, не роскошь, а привычные предметы обихода. К концу нынешней пятилетки каждая вторая семья будет владеть телевизором и стиральной машиной, каждая третья — холодильником.

Но вот что любопытно: уровень жизни растет, но вместе с ним возрастают требования и потребительские, так сказать, аппетиты. Закономерен ли постоянный рост потребностей при социализме? Да, конечно.

Вообще потребности человека, как духовные, так и материальные, по существу, не знают и не будут знать предела. Рост материальных потребностей находится в прямой связи с общим прогрессом социальной и экономической жизни.

Возьмем, например, естественное стремление человека к путешествиям; удовлетворяя духовные интересы, путешествия, как правило, связаны с материальными расходами.

Если еще недавно венцом летнего отпуска считался дом отдыха, то сейчас все больший размах приобретает туризм. Многие стремятся провести свой отпуск в путешествии по Алтаю или Карелии, в горах Заилийского Ала-Тау или Кавказа, в зарубежных поездках по странам Европы, Африки, Азии.

Спорт и эстетика, литература и искусство, тяга к

разносторонним знаниям все в большей степени заполняют досуг молодежи. А это тоже ведь прямым образом связано с ростом и духовных и материальных требований, предъявляемых населением.

Эти требования велики, закономерны и вполне оправданны.

Молодое поколение рассматривает современное производство и уровень благосостояния, как этап на пути к новым достижениям.

И это правильно. Пятилетний план дает колоссальные возможности для приложения молодых энергий. Намеченный рост общественного производства, развитие науки и техники связаны с вовлечением в эту сферу дополнительно большого числа трудящихся. Численность рабочих и служащих в народном хозяйстве в 1970 году составит колоссальную цифру — 90—92 миллиона человек.

Участие нашей молодежи в общественно полезном труде связано со всемерным повышением уровня ее образованности. За пять лет число учащихся в школах возрастет вдвое, будет подготовлено примерно 7 миллионов специалистов с высшим и средним специальным образованием, расширится подготовка квалифицированных рабочих для народного хозяйства.

В решениях партии и правительства видна большая забота о том, чтобы молодежь получила интересную работу, чтобы максимально использовать в интересах общества полученное ею образование.

Подняты вопросы о размещении производительных сил, о постройке широкой сети новых предприятий, главным образом в средних и небольших городах, для того, чтобы решить проблему правильного распределения трудовых ресурсов и более полного вовлечения в производство трудоспособного населения.

Расширяется фронт хозяйственного строительства, все больше людей втягивается в орбиту науки и техники, горизонты самых различных возможностей расширяются безмерно. Я говорю об этом потому, что мне хотелось бы внушить молодым людям уверенность в том, что у них есть все объективные возможности сделать жизнь свою и общества в целом еще более полнокровной и красивой.

Новые благоприятные возможности для отдыха и учебы открываются перед молодежью в связи с намечающимся переходом на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями. Как показывает опыт, это не только позволяет трудящимся более рационально использовать свое свободное время, но и приносит непосредственный экономический эффект.

Наши дни проходят сейчас под знаком творческого поиска. Характерные качества молодежи — смелость, энергия, задор, желание искать новые решения выдвигаемых жизнью проблем, наконец, ее возросшая образованность — все эти качества пользуются сейчас общественным спросом, как никогда раньше.

...Решения XXIII съезда КПСС получили горячее одобрение всего советского народа. «Свидетельство тому», — сказал А. И. Брежнев в своей заключительной речи на съезде, — огромная почта съезда, поток приветствий и добрых пожеланий в его адрес, оживленное обсуждение съездовских материалов на заводах, стройках, в колхозах и совхозах, в учебных заведениях и учреждениях. Свидетельство тому и всеобщий трудовой подъем в стране. Съезд получил от рабочих, колхозников, представителей интеллигенции много тысяч рапортов об их трудовых успехах. Как предвестник наших грядущих побед прозвучал в дни съезда необычный рапорт. Он пришел из Вселенной. Первый спутник Луны передал на Землю мелодию революционного партийного гимна всех коммунистов — мелодию «Интернационала».

— 111 —



**Ляна
Костенко**

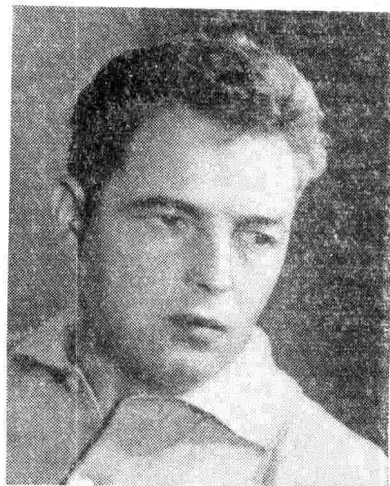


Угасли кострища стоянок,
и в землю ушли племена,
забрали в курган полонянок,
мечи, топоры, письмена.
Померкли браслеты и гребни,
распались монисты во мгле,
на шее у смуглых и древних
звенели они на земле.
Бокалы, и кубки, и чаши,
мерцавшие пьяным вином,
покрылись туманом тончайшим,
холодным туманом времен.
Но, может быть, это ошибка?
И, может, на кубке пустом
сохранны тепло и улыбка,
забытые радостным ртом!
Звеня клинописною цепью,
из праха, из глубы времен,
напев оживает над степью,
напев онемелых племен.



Сон лесной пришел ко мне свободно,
выпил воду, пахнущую льдом.
Все прекрасно. Я засну сегодня,
если сон пожаловал в мой дом.
Я пока не знаю, что приснится:
лепестки завернуты у сна,
видно, тайна там, внутри, хранится —
как досталась нелегко весна.
Как молчали сосны на морозе,
как не спали вербы на земле,
как шумели заросли в предгрозые
и березы падали во мгле.
...Сон весенний вынырнул, как щепка.
Синий, теплый и мохнатый сон.
Сосны спят взахлеб, счастливо, крепко,
Кронами дотронувшись до крон.

Перевод Ю. МОРИЦ.



**Микола
Синяевский**

Триптих

1

В краю высоких сосен
на желтую тропу
звездой усталой осень
падала в траву.
Падала, как птица,
печаль навевала.
Стояла, как криница,
меня подзывала.
Напоила нежностью
на много дней,
чтоб с сыновней верностью
думал я о ней.
Напоила ясностью
мои слова,
чтоб чужою радостью
душа была жива.
О, щедроты осени!
Хлеб на меду!
За шумными соснами
тебя найду.
Ждала меня осень:
не мучь, не карай!
Звала меня осень
в сосновый край.
Туда, где ветер рыщет
среди сосняков,
в мое Шатрище,
в край отцов.
В бригаду хлопцев,
хлопцев-мастеров.
В бригаду солнца,
смеха и ветров.
Туда, где осень сохнет,
падает в траву...
Приезжаю в сосны,
на ветрах живу.

2

Вечерами прихожу я на вокзал,
здесь встречаются, прощаются и ждут.
Только все, что я тебе не досказал,
электрички вместе с ветром унесут.
Встанет вечер, как Софийский собор,
и звезда на колокольню упадет.
Забываюсь, словно давний Святогор.
Может, осень ко мне в гости забредет.
Повстречаю ее хлебом и вином,

с ней за стол усядусь, словно на пиру.
Золотистая березка за окном,
как девчонка, расшумится поутру.
А девчонка вырастает на глазах,
бродит с горькою травинкою во рту,
и грустит она о ласковых руках,
словно в музыку, поверив в доброту.
Скрипка древняя, приди на помощь ей,
упади в ее ладони, как звезда,
завучи в лесу ирпенском веселей,
пусть сквозь вечность пролетают поезда!
Спят озера у Вселенной на виду,
и сосна в ночи от музыки звенит.
Ищет сердце свою добрую звезду,
а она свечою в озере стоит.
Я не плачу, не надеюсь, не зову,
я в мечтах твоею музыкой объят.
А вокзалы разлучают наяву,
и прощально поезда мои гудят.

3

На берегу челны
стоят черным-черны,
среди мрака непробудного,
и ветра ждут
попутного.
Ползут туманы издали,
и осень сыплет искрами.
В моей душе белесою
качается березою.
Ее с собой, челны,
возьмите в край весны!
Меня печаль опутала...
Я тоже
жду попутного!
Я жду любви и верности,
как ждут поэты вечности!
Как лодка ждет весла,
как ласточек — весна!
Как неба — голубки,
как ветра — ветряки!
Как ждет бумаги — стих,
так жду я рук твоих!

Перевод Л. СМЕРНОВА.



**Виталий
Коротич**

С а д ы

Лохматые сады в пальто зеленых
ветвями подпирают небеса,
и катится вдоль улиц приземленных
полночная холодная роса.

Когда лимонной долькой светит месяц
и слышен лепет улицы во сне,
увидеть можно, как деревья месяц
сырую полночь в черном казане.
Я спрашиваю: что же им известно
о вечности под солнцем и луной?
Они молчат, вздыхая повсеместно,
и что-то пишут в небе надо мной.



Благословляю
справедливость гнева,
и звон лопат,
и батников тепло.
Благословляю
плод, упавший с дерева,
и пальцы Ойстраха,
и дворника с метлой.
И снег, и дождь, и вьюги ветровые,
звезды осенней желтоватый глаз,
и речь дверей,
и тайны вековые,
бессонницей терзающие нас.
...А надо всеми —
купол небосвода
и дерева зеленая струя.
И вечно
в полном здравии природа —
бессмертная причина бытия.

Перевод Ю. МОРИЦ.



**Борис
Оленин**

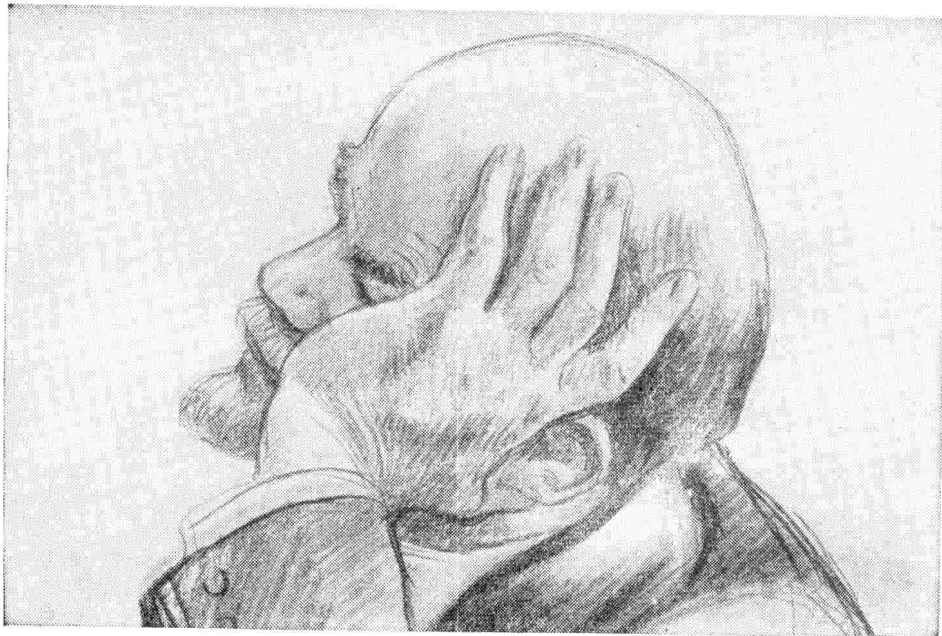


— Ты скажи, откуда очи
у тебя такие!
— Я купался в синей Ворскле
в годы молодые.
— А откуда чуб твой белый,
словно колос спелый!
— Я с отцом косил пшеницу,
вот и стал он белый.
— А откуда смех твой звонкий,
чистый, словно реки!..
— Я ж сказал: у нас плаксивых
не было вовеки!

Перевод Л. СМЕРНОВА.

Н. ЖУКОВ.

Слушая
Бетховена.



● Мария Прилежаева

В МАСТЕРСКОЙ ХУДОЖНИКА

Среди всех картин и рисунков, изображающих Ленина, мне дороже всего «Аппассионата». Гляжу на Ленина, его лицо, освещенное внутренним светом, тихое, с чуть тронувшей губы нежной улыбкой, и никогда не остаюсь равнодушной. Даже если каждый день вижу «Аппассионату». Когда на душе нехорошо и тревожно, я особенно внимательно вглядываюсь в эту картину. Что думаешь в такие минуты? «Бесконечно прекрасен человек. Бесконечно хороша жизнь, трудная, радостная, жестокая, несовершенная, вечно новая, неожиданная и... очень, очень короткая. Надо спешить делать то доброе, что способен ты сделать на земле, человек! Только добро приносит радость. Ленин был человеком, делающим великое добро для человечества. Ленин был жизнерадостен. Любил все дары и чудеса жизни. Природу, книги, искусство. Сильнее всего любил, конечно, людей! Ленин был человечен. У него было горячее, отзывчивое, верное сердце».

Я думаю об этом, когда гляжу на «Аппассионату». Как я благодарна Н. Жукову за то, что он талантливо рассказал в рисунках о человечности Ленина!

Однажды, получив приглашение, я с охотой пошла в мастерскую художника. Какая у него мастерская? Отражает ли характер хозяина? По-моему, да.

На седьмом этаже большая комната с высокими окнами, в которые щедро льется светлое небо. «Он жизнелюб», — поняла я, видя что-то цветистое, яркое на узеньких полочках, опоясавших в комнате

стены. Это деревянные игрушки, куклы разных народов, едва ли не со всего света — Николай Николаевич их собирает.

«Весел», — подумала я, слыша, как обходится он с желтой канарейкой, встретившей появление гостей неучтивым молчанием.

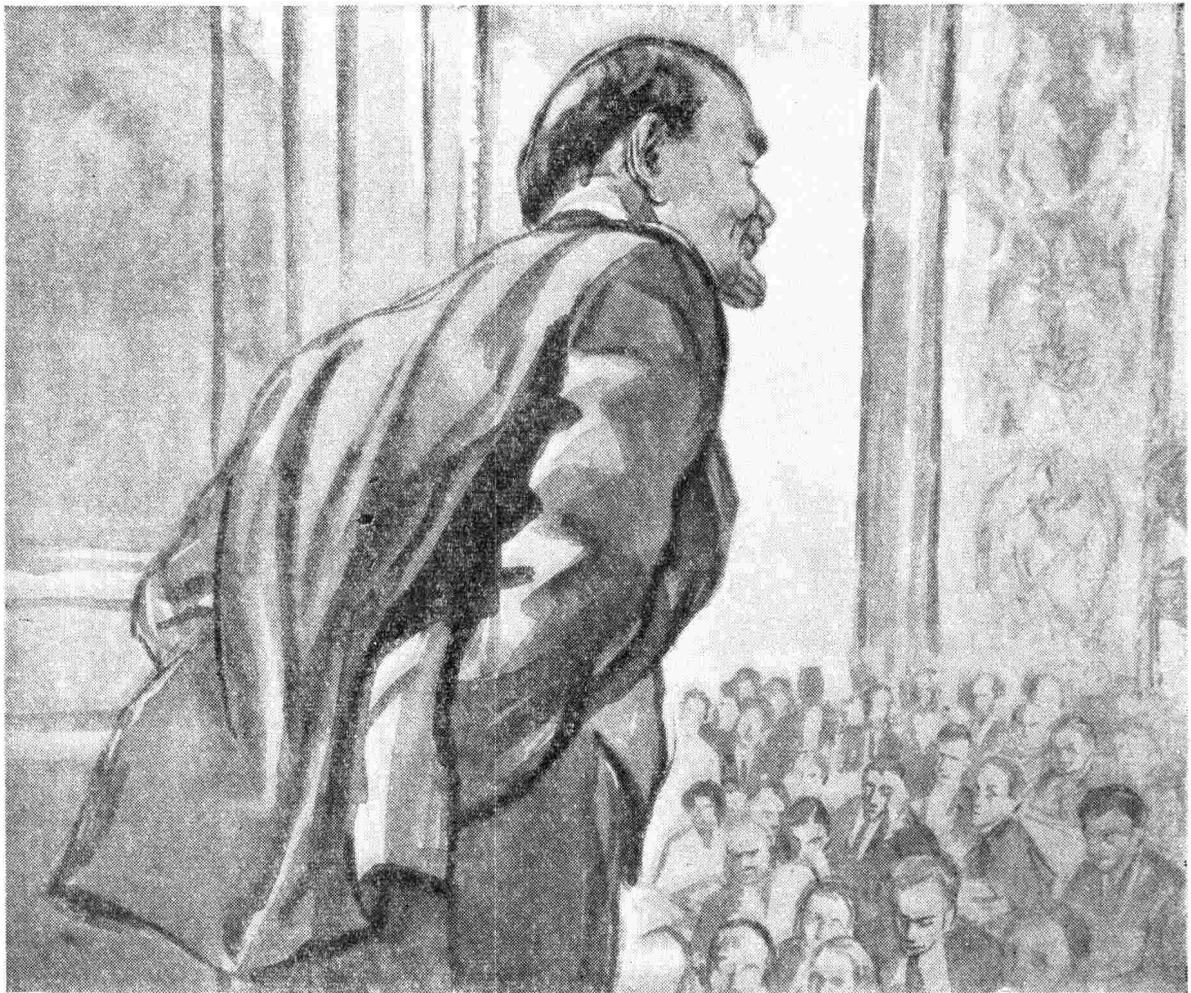
— Не халтурить, Иван Семеныч! — И пичуга откликнулась трелью. «Поэт». Действительно, он поэт, когда рассказывает о своем детстве в зеленом, кучерявом городочке Ельце, с речушкой Сосной, песчаное дно которой бело и твердо, как пол.

Все это душа художника. Всю свою душу он отдает рисованию.

У Н. Жукова есть рисунки о детях, они восхитительны, дети на рисунках живые. Есть превосходная графика. Есть гневные, жгучие рисунки о Нюрнбергском процессе.

Но в этот раз мы смотрим Ленина. Рисованию Ленина художник посвятил двадцать пять лет. За четверть века создано тысяча пятьсот рисунков о Ленине. Конечно, мы могли посмотреть лишь часть. Я видела, как у этого пожилого уже человека, плотно скроенного, с пышными седоватыми волосами, юно вспыхивают глаза, когда он вынимает из папок самое любимое, иногда еще только в наброске и замысле, что и показать еще боязно.

Одно изображение молодого Ленина я полюбила, особенно. Ленин прислонился к книжной полке. Поза свободна, естественна. Думаешь: именно так он



Н. ЖУКОВ.

Выступление.

стоял, погруженный в книгу. Как он читает! С увлечением, упоённо, завидно. Какое наслаждение испытывает он! Мысли кипят в нем. Никто не видит его. Он один. Хорошо удивительно!

Или другое. «Теперь мы самые богатые...» — назвал Жуков картину. Прелестная, тоненькая Крупская стоит над грудой книг на полу, а Ленин, опустившись у книг на колени, держит одну, подняв к жене лицо, такое счастливое и радостное. Верно, богат. Счастлив. Книги. И Наденька.

Когда-то мне случилось познакомиться с Глебом Максимилиановичем Кржижановским, выдающимся политическим и государственным деятелем, с молодых лет другом и товарищем Ленина. Они были близки всю жизнь. Жены их были подругами.

Кржижановский говорил мне о Крупской:

— Знаете, ведь в молодости она необыкновенно была хороша, что-то во внешности ее было привлекающее, одухотворенное что-то. И русское очень. Коса ниже пояса, бывало, ахали в Шушенском...

Художник угадал очарование молоденькой Крупской. Когда смотришь на них вдвоем с Лениным, охватывает атмосфера необыденности и высокого счастья.

Ленин был человеком прямых и сильных чувств. Любовь, дружба, политические и общественные от-

ношения — все было в нем крупно, никогда ничего вполовину.

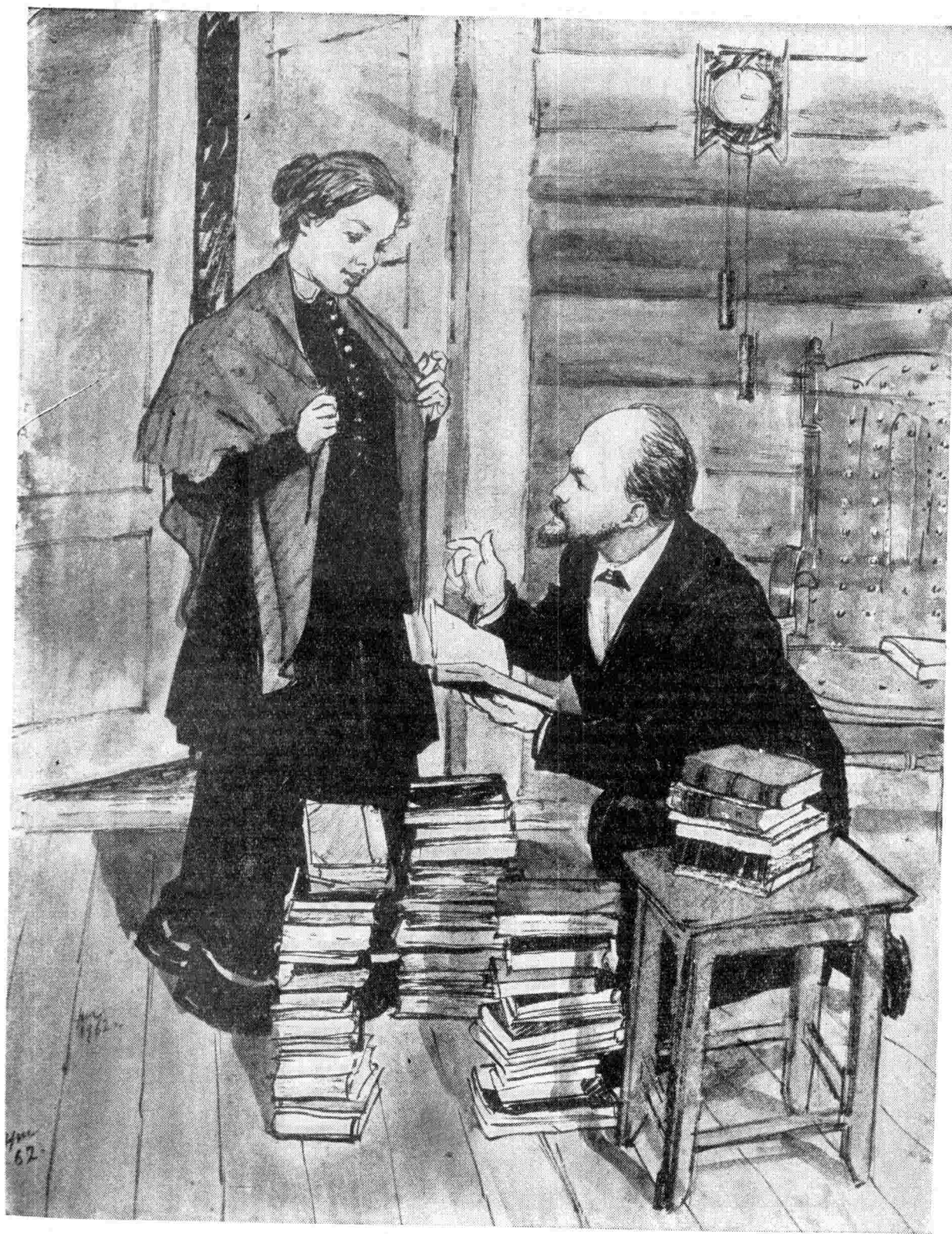
В своей книге воспоминаний о Ленине Вл. Бонч-Бруевич рассказывает: когда в апреле семнадцатого года Владимир Ильич вернулся из эмиграции в Россию, он сразу же поехал на Волково кладбище. Там похоронена мать. Она умерла без него, один год не дожив до революции.

«Дорогая мамочка! — писал Ленин в письмах. — Крепко тебя обнимаю, моя дорогая...»

И вот он приехал на родину и стоит над могилой. Петроградский апрель. Кладбище в глубоком снегу. Резкая, печальная белизна прямых, как свечи, еще зимних берез. И Ленин. И горе. «Дорогая мамочка...»

Это одна из картин Жукова, которую нельзя забывать.

Запомнишь картину, не вполне еще оконченную, поражающую чувством тревоги, ожидания, движения, силы. «В Разливе». Сумерки. Косматое, в тучах, беспокойное небо. Ленин у залива. Ветер гонит по воде рябь. Относит у Ленина полы пальто. Несет в роще ветви деревьев. Кажется, слышишь свист ветра, шум рощи. И шум надвигающейся революции. Здесь, у моря, обдумывает ее Ленин. Последние решения. Близится час.



Н. ЖУКОВ.

«Теперь мы самые богатые...»

У Жукова много картин: Ленин с народом, Ленин-трибун, Ленин с матросами, Ленин среди комсомольцев, Ленин организует, вдохновляет, ведет революцию. Но на картинах Жукова вы не увидите Ленина с вытянутой рукой.

— В жизни был ли у него этот жест? — вспоминает художник разговор с Бонч-Бруевичем. — Был, несомненно. Но тотчас сменялся другим и другим. Ленина нельзя представить монументальным, неподвижным, застывшим. И я, — говорит художник, — ищу жесты, простые, интимные и скромные, которые тоже были у Ленина, которых больше, в которых движение, навстречу которым тянулись сердца.

Смотришь рисунки Жукова, и вот только не хватает слов Ленина. Такой Ленин живой на рисунках, что только нет слов.

Мне нравится картина «Во ВХУТЕМАСе». Весело было мне на нее посмотреть. Она полна глубокого и оптимистического смысла. С застенчивым удивлением, чуть растерянно слушает Ленин, что говорят ему о новом искусстве забияки-студенты, и хочет им верить, и сопротивляется — он любит другое в искусстве, — но... может быть, и они правы, наверное, по-своему правы, пусть ищут, дерутся, спорят, в спорах рождается истина, лишь были бы революционерами-марксистами наши художники, лишь хотели бы пользы народу. Вот что рассказано этой славной картиной художника Жукова.

Вдруг... Горько, грустно. Ленин больной. Худ, без кровинки, а сколько острой, пронизывающей мысли в глазах, как исполнен духовного взгляд!

— Я хотел нарисовать взгляд Ленина, проверяющий совесть, — сказал Николай Николаевич.



Н. ЖУКОВ.

Ленин в университетские годы.

Невольно у этой картины смолкаешь. Строго становится на душе перед взглядом, проверяющим совесть.

Рисунки о Ленине Н. Жукова можно смотреть без конца, ведь их полторы тысячи за четверть века. Они разные и никогда безразличные.

Свой короткий отчет о мастерской художника хочется мне закончить рассказом о картине, которой пока почти еще нет. Меня захватила и тронула идея, увиденная при самом начале. Видя начало, я с восхищением думала о мудрости искусства, о нежности искусства. О том, что без искусства нельзя жить. Что искусство проникновенно умеет высказать самую сложную политическую мысль. Что искусство воюет. Что искусство обороняет добро от зла. А картина, которой пока почти нет, но которая будет, и может быть, превосходной, называется «ГОЭЛРО». Художник долго бился, ища центр композиции, что одно-

временно и центр идейный. Долго бился. Нашел. В сумерках, в полумраке, Ленин говорит с Кржижановским. Электричества нет. Углы комнаты тонут в темноте. На столе догорает свеча. Они обсуждают план ГОЭЛРО.

Когда я уходила от художника Жукова, неожиданно я поняла, что в его пестрой и цветистой мастерской, где много кукол и красок, более всего выделяется и привлекает внимание письменный стол, с книгами, пейзажем зимнего леса, букетиком подснежников в вазочке, — а над всем маска Ленина. Наверное, так и надо, что не аскетическая обстановка окружает Ленина, а жизнь, радость, свет. И творчество. Самозабвенное, ясное, благодаря которому мы видим Великого Ленина как живого. Дорогого и близкого.

—



**Евгений
Виноградов**

Государственность

Я научился понимать
Явления большого ряда...
Меня вела за ручку мать
Туда, на таинство парада...
Сперва пехоты шли полки.
Вдруг пушки — без конца и края!..
И, страшно выкатив белки,
Я только охнул, замирая.
Людей пугая не со зла,
В воинственных доспехах бранных,
Мощь государства снизошла.
В знаменах. В трубах. В барабанах.
И чтобы шире даль была,
На плечи взял меня верзила...
Меня до пяток потрясла
Вдруг государственности сила!
Бьют в камень миллионы ног.
Пехота движется морская.
И маршал, вытянув клинок,
Стоит, колонны пропуская.
И снова ужас охватил,
Мистический, как и вначале,
Когда о стонущий настил
Тупые танки застучали.
На площади клочки сенца.
Дрожит под маршалом кобыла...
И государство, как птенца,
Меня крылом своим прикрыло.

Велолихачи

Веселые самоубийцы
Мчат, накренившись, по шоссе.
В пятно смешавшиеся спицы
Поблескивают в колесе.
Ведь есть автобусы. Трамваи!..
Покинули родимый кров!
Иль мало вам поотрывали
За всю историю голов!..
Им ли томов листать страницы,
Воспоминанья вороша!..
Веселые самоубийцы —
Им сладок ужас виража!
Неужто же все песни спеты!
Вот тот сидит: кум королю!..

Мчат по шоссе велосипеды,
Припали головы к рулю.
О, указательные знаки!
Вы не для тех, кто половчей!
Какие делают зигзаги
Меж «ЗИЛов», «Волг» и «Москвичей»!
Что гонит их! И так. И порознь.
Какого надо им рожна!
А ничего! Одна лишь скорость
На этом свете им нужна.
Чтоб от дороги, не иначе,
Был угол к линии спины:
Они решением задачи
Статической увлечены!
Чего бояться! Если даже
Удар! На людях смерть красна!
Что смерть! Ведь если это в раже,
То — как проснуться ото сна!..
Велосипедный мир в упадок
Придет еще не скоро, вот:
Великая работа пяток
Все злей и злей из года в год.
Лети, не ведая покою!
А воля! Иль она слаба!..
Лишь только иногда рукою
Пот все же вытирай со лба.
Так жми сильнее на педали,
К рулю щекою припади
И где-то в беспредельной дали
В пыли дорожной пропади!

Ну что же, глянем беспристрастно:
И прежде были рысаки.
Ты хочешь рассекать пространство?
Ну что ж, прекрасно! Рассеки!..
Чтобы, застыв в безмерном крене,
Лететь на дом, на столб, на сад,
Чтобы ходили вверх колени
До подбородка и назад.
Руками лишь всплеснешь: — Поди ж ты!
Им все пустяк! Осенним днем —
Шоссе. И велосипедисты
Как бы кузнечики на нем.
В канаву сядет, чуть не плача.
А раньше ехал фон-барон!
Что это! Спала передача
Или не выдержал баллон!..
Регулировщик, делай пасы!..
Но ведь средь городских громад
Великой смелости запасы
Их изнуряюще томят.
Ее оставил дед и прадед.
Любой был в скорости горазд!
Они ее и жгут, и тратят,
И скидывают, как балласт.
Их било. Ноги им ломало.
Казалось, хватит! Прекрати!
И все ж ее еще немало
Под майкой слева, на груди.
Вот встала с лошастью повозка.
Удар! И вот уж, мертв и глуп,
Лежит, и синяя полоска
Взамен потрескавшихся губ.
А ничего — сработал чисто!
О дышло прямо головой...
Могила велосипедиста
Вовек не зарастет травой...
Так вот она пришла — расплата
За безрассудство этих трат!

...Их кепочки, как бы опята,
Опять на улицах пестрят.



**Константин
Ванненкин**

✧

Порой стихи случалось мне встречать —
Поэты в них с волнением говорили,
Что, если б жизнь пришлось прожить
опять,

Они б свою дорогу повторили.
Ну, что же... Сквозь сумятицу годов,
Где дальний гром и тишина скупая,
И я по жизни вновь пройти готов,
Но все ж не так, не в тот же след ступая.
Мне иногда чужие снятся сны,
Какие-то нездешние, иные,
В сознание мое занесены,
Как в степь заносит семена лесные.
Мне снятся сны шахтеров, моряков
И всех других, кем не был я вовеки,
Тревоги их, свет бледных маяков
И давящие угольные штреки.
И их любовь — над улочкой туман,
Луна, вдали встающая лилово...
...Нет смысла переписывать роман
Так, чтобы все осталось слово в слово.
Ведь жизнь, вокруг шумящая, она
Неистощима и разнообразна,
И оттого-то прелести полна,
И потому исполнена соблазна.

✧

Белеет доска подоконника,
Квадратно чернеет окно.
Дождь звякает тоненько-тоненько,
Шуршит, зарядивший давно.
Порой о карниз ударяется,
Тогда на минуту одну,
Едва шелестя, отдаляется
И вновь подступает к окну.
Не знаю, какими законами
Душа управляется в нас,
Но дождиками заоконными
Она будет бредить не раз.
Пока еще не было случая,
Чтоб, глядя в осеннюю тьму
И это шуршание слушая,
Я был равнодушен к нему.

Инерция

Инерции страшишь...
В любви или в работе,
На трудном повороте,

И вообще — всю жизнь.
Ведь жизнь всего одна.
Как мчится этот поезд!
Как снег весенний порист
За всплесками окна!
Но если много дней
Рассвет в пути встречаешь,
Порой не замечаешь
Ты скорости своей.
Как бы уже сама
Летит дорога эта,
Бегут, сменяясь, лето
И осень, и зима...
Ах, если б всякий раз
Так видеть землю, будто
Одно лишь это утро
Осталось про запас.

✧

В ранний час в березовых хоромах
Гулко гром грохочет молодой,
И дымки взорвавшихся черемух
Тут и там не тают над водой.
С хвоя сходит измороси просесть.
За рекой горланят петухи...
В этот ранний час решают бросить
Пить, курить или писать стихи.

✧

Резко озаренные луной,
К дому поднимаются ступени,
И царит над скатертью пьяной
Ворох фиолетовой сирени.
Над водою дремлют невода,
И вода качается устало.
Не смогу поверить никогда,
Чтобы вовсе этого не стало.
Жизнь, свершая свой прекрасный путь,
Этому не может покориться.
Но чуть-чуть внимательнее будь:
Многое уже не повторится.

Верлибр

У меня была потребность
Писать верлибром,
То есть свободным
Нерифмующимся стихом.
Она возникла давно
И очень остро,
Потому что и вправду
Не все, о чем хочешь сказать,
Вмещается в обычный,
Рифмованный стих.
Есть вещи, которым в нем трудно и тесно.
Но я начал писать прозу.
И потребность в верлибре исчезла,
Ибо тому, кто пишет прозу,
Нет смысла писать
Нерифмующимся свободным стихом,
Так похожим на прозу.
Ведь если вытянуть эти строчки
От поля до поля,
Стихи превратятся в заметку или
в статью о стихах.

На этом кончаю.
Крепко обнимаю вас.
Ваш Константин ВАНШЕНКИН.

● Феликс Кузнецов



В МИРЕ БОЕЦ...

Заметки о молодом герое и его революционном идеале

Не идет из памяти комсомольское собрание в одной из московских школ, на котором мне довелось присутствовать. Нет, это был не формальный разговор «для галочки»; кипел диспут, настоящий бой, и одна из выступавших, чистая, ясная девочка, поглядев с укоризной на свою подругу, сказала вдруг: — Она у нас такая идейная, такая идейная, что... на все способна.

А я подумал: что же случилось, как могло произойти, чтобы высоконравственное понятие идейности обернулось в голове этой девятиклассницы таким непостижимо странным образом? И почему, к примеру, у Анатолия Кузнецова в одном из лирических отступлений в его повести «У себя дома», посвященном героине, вдруг прорывается: «Ох, и попадет мне за тебя, Галка, ты у меня такая идейная!..»

Меня тревожит судьба слов. От неумелого и неумеренного употребления они и в самом деле «в привычку входят, ветшают, как платье». Захвачанные и затертые безответственными руками, они как бы теряют свой глубинный, изначальный смысл, перестают будить умы, будоражить сердца — и нравственная связь между пишущим и читающим прерывается.

Нужна искренность, убежденность, оригинальность мышления и таланта, чтобы сквозь пелену привычного, примелькавшегося, ставшего газетным штампом прорваться к смыслу вещей и к душам людей. Но это наш долг, наша обязанность. Для литературы — обязанность вечная. Она всегда была трудной, но неизбежной. Любая мысль, ставшая банальностью, мертва. Инфляция слова начинается с того момента, когда оно перестает наполняться новым содержанием. Тогда-то и возникает ощущение стертости, привычности, обыденности, возникает обратный эффект: слово не убеждает, не ведет за собой, оставляет в равнодушии людей.

Нельзя не видеть, не замечать, как в нашей жизни, и особенно среди молодых, идет гласный, а чаще негласный спор о высоких и громких словах. Отзвуки его были слышны еще в повести В. Аксенова «Коллеги», помните: «Ух как мне это надоело! Вся эта трепология, все эти высокие словеса!» — говорит там Алексей Максимов в ответ на тревожные раздумья Саши Зеленина о смысле жизни, о долге перед народом и страной. Нет, он не обыватель, Алексей Максимов, он честный, настоящий парень, готовый за свою страну, за свой строй не задумываясь отдать «руку, ногу, жизнь». Но он упорно считает, что об идеалах, убеждениях говорить не следует: все это «высокие» слова. «Их произносит великое множество идеалистов, вроде тебя, но и тысячи мерзавцев тоже. Наверное, и Берия пользовался ими, когда обманывал партию. Сейчас, когда нам многое стало известно, они стали мишурой», — говорит он Саше Зеленину.

У Алексея Максимова — да разве только у него! — выработалась, по словам покойного Николая Погодина, «защитная пленка, именуемая иммунитетом, к громким и общим словам».

Добро было бы, если бы только к «словам». К сожалению, явление это выходит за пределы филологии — оно принадлежит сфере общественной нравственности. Оно выражает тревожный процесс, наметившийся в последнее десятилетие среди какой-то части нашей молодежи, который можно определить как своеобразный инфантилизм, гражданский индифферентизм, равнодушие к общественным проблемам жизни.

Истоки этих трудных явлений понятны. Они в разрыве между словом и делом, который был порожден культом личности и, к сожалению, не был до конца преодолен в последовавшее за ним десятилетие. Они

еще и в том, что в прошлые годы мы утверждали наши идеалы в большей степени на вере, чем на знании, мы плохо учили людей мыслить — социально, граждански, общественно. Вот почему противоречия жизни, с трагедийной силой обнажившиеся в переломное десятилетие, повергли незрелых мыслью людей в смятение, скепсис и даже безверие. Особенно трудно пришлось тем, кто только входил еще в жизнь, не успев выработать прочного мирозерцания, не получив достаточного жизненного опыта и знаний. Именно в этом причина своеобразного нашествия в литературу «рефлектирующих», по словам критики, зеленых «юнцов», заполонивших страницы книг молодых прозаиков. Нашествия столь интенсивного, что характер этот, явившийся в свое время открытием В. Аксенова, уже превратился в малоинтересный штамп. В этом же и причина того, что подобный характер — как он изображается и осмысливается во многих книгах молодых — вызывает все больший внутренний протест. Дело в том, что печать инфантилизма мышления лежит и на авторах иных книг. Любой анализ не самоцель, он предполагает в конечном итоге синтез. Ради чего — все? Ради чего — ты? Какова твоя положительная программа? Что ты предлагаешь? Вот вопросы, которые хотелось бы задать в равной степени и героям и авторам «рефлекторных» произведений. Вопросы, ответ на которые предельно важен прежде всего для тех, кто явился жизненным прототипом героев этих книг.

Нет, нет, я не против рефлексии, если она порождена глубокой неудовлетворенностью собой и своими нравственными отношениями к жизни. Я не против скептического склада характера, если только это не скепсис сытости, пресыщенности, цинизма, но плодотворное стремление подвергать все сомнению ради поиска истины. Но только ради этого — ради поиска истины! Марксистский метод не только не боится, но предполагает проверку истины жизнью, знанием, здоровьем, ищущим, сомневающимся умом.

Для сегодняшнего времени также применимы слова Писарева: «Надо смотреть на жизнь серьезно; надо внимательно вглядываться в физиономию окружающих явлений, надо читать и размышлять не для того, чтобы убить время, а для того, чтобы выработать себе ясный взгляд на свои отношения к другим людям и на ту неразрывную связь, которая существует между судьбою каждой человеческой личности и общим уровнем человеческого благосостояния. Словом: надо думать. В этих двух словах выражается самая насущная, самая неотразимая потребность нашего времени и нашего общества».

Писарев призывал людей учиться думать ради выработки честных гражданских убеждений, цельного общественного мирозерцания. Весь его нигилизм, все его отрицание были подчинены в конечном счете этому — воспитанию идейных людей, которые видят смысл жизни в том, чтобы быть гражданами, а не обывателями, формированию убежденных борцов за счастье народное. Он прививал людям уважение к гражданским убеждениям, считая верность принципам высшей добродетелью человека, высшей его честностью — честностью политической. Он был солидарен в этом со своим учителем, редактором «Русского слова» Благовосветловым, который писал: «У нас есть старинный предрассудок — считать человека честным, если он не берет взятку... Честный человек тот, кто честен в своем мнении, чист в убеждениях и прав в деле мысли». И далее: «Нет сомнения, что можно изменять мнения, вкусы, предположения и гипотезы, но нельзя изменять убеждениям. Убеждения захватывают всю нравственную жизнь человека,

вытекает из всех его намерений, побуждений и действий; оно вырабатывается тяжелыми опытами действительной жизни и напряженной работы мысли; в него, как в общую сумму, сливаются все наши наблюдения, изыскания и идеи. Нет никакой возможности проследить, как оно зарождается и зреет, но если оно так или иначе образовалось и проникло в душу человека, тогда с ним уже более не расстанутся, и никакой попутный ветер, никакая заезжая истина не могут изменить его. Оно так же неразрывно с существованием его обладателя, как самая жизнь. Лишения, препятствия, гонения — ничто не может сломить или разочаровать его; напротив, всякое благоприятное обстоятельство возбуждает его силу и увеличивает его энергию, и всякое препятствие закаляет его в собственном его достоинстве».

Выработка общественной потребности в убеждениях и принципах, воспитание молодежи в уважении и верности им — что злободневнее сегодня этой задачи?

Глубина и сила, а главное, истинность убеждений определяют духовный масштаб личности, основу коммунистической нравственности.

Нравственность — это всегда мирозерцание, мирозерцание, ставшее психологией, вошедшее в кровь и плоть людей. Нравственность — это философия жизни. Ее начало и венец — гражданские, общественные убеждения.

Зачем ты пришел в этот мир? Что ты оставил после себя? Вот вопрос вопросов, в который упирается любая нравственная проблема — проблема совести или долга, человечности или гражданской ответственности.

Молодые не могут не задумываться о первоосновах бытия. Они не могут не думать о смысле жизни.

Вы помните, как затихает зал, когда мягкий, интеллигентный священник отец Серафим в кинофильме «Все остается людям» бросает в лицо погибающему академику Дронову этот вопрос: «...Америку догонять собираетесь?.. Не сомневайтесь, перегоните. Плоть людскую ублажите. А с духом как же? Как делаете, чтобы сын не предавал отца, а ученик не предавал учителя? Чтобы животный страх смерти не превращал человека в труса поганого? Чтобы святое было за душой? Без бога как сделаете?..»

Ответ на этот вопрос дала жизнь. Не церковники, не духовенство — русские революционеры, материалисты, безбожники явили миру характеры поразительной духовности, редкой нравственной красоты. «Святыми» называл шестидесятые годы, годы Чернышевского и Писарева, Чехов. А разве можно назвать в нашей дореволюционной истории эпоху, которая могла бы соперничать по белоснежной чистоте нравственности, высоте человеческого духа с эпохой народничества, временем Желябова и Александра Ульянова? А разве Ленин и его сподвижники не совершили подвиг беззаветности, подвиг нравственности, подняв Россию на революцию?

Убеждения и принципы — вот источник силы человеческого духа, основа личности. Убеждения не одежда с чужого плеча. Они всегда выстраданы, выношены, продуманы и передуманы. Учиться думать, учиться мыслить, учиться понимать жизнь — во всей ее сложности и вместе с тем в коренных тенденциях развития — вот единственный путь к цельному общественному мирозерцанию.

Из юношеского кризиса, столь болезненно переживаемого какой-то частью молодежи, возможны два выхода. Один — через внутреннее беспокойство, неудовлетворенность, духовный поиск и усиленную работу мысли к нравственному синтезу, к выработке честного гражданского мировоззрения, к принципах

альным позициям борца. Другой — через напускной «нигилизм» и браваду, через равнодушные и «сытые» скепсис, через лень мысли и ожирение ума в ряды ультрасовременных, «модерных» мечан. «Безыдейность — синоним мечанства». Эти слова К. Симонова я бы предположил, напоминающим эпиграфом книгам, где действует молодой герой.

В последние годы в нашей критике появился модный термин «интеллектуальный герой». Об «интеллектуальности» героя пишутся статьи, проводятся диспуты, дискуссии и обсуждения, причем «интеллектуальность» сводится чаще всего к объему эрудиции, образованности и интеллигентности. Образованность и интеллигентность — качества, конечно же, незаменимые. И все-таки «интеллектуальный» герой (равно как и интеллектуальный человек вообще) — еще не тот, кто сыплет цитатами из классиков.

Подлинная интеллектуальность — героя ли, писателя — в масштабах его духа, в глубинах его мирозерцания, в уровне гражданского осмысления жизни.

В литературе — мы об этом часто забываем — огромное значение имеет гражданская личность писателя. «Божий дар», именуемый талантом, — совершенно необходимое, но далеко не достаточное условие для творчества. Величие русской литературы состоит в том, что представляющий ее писатель, «верующий в свое призвание, каких бы размеров этот писатель ни был, сопоставляет себя со своей родиной, полагая, что болеет ее болезнями, страдает ее страданиями...». Эти пронзительные слова принадлежат Блоку. «Мы — не слепые ее инстинкты, но ее сердечная боль, ее думы и мысли, ее волевые импульсы», — говорил он о художниках слова.

Вот что я имею в виду, когда говорю о масштабе личности писателя! Такой мерой мысли и совести писателю следует мерить себя — и будет многое ясно. Будет ясно, в частности, насколько мелко пока еще мы осмыслили и вот этого, уже примелькавшегося литературного героя, которого некоторые критики поименовали «звездным мальчиком», не дав себе труда объяснить его. Соприкоснувшись с драмой, молодая литература преподнесла ее как легкую, искристую бытовую комедию, которая того и гляди обратится в фарс. Вместо социального анализа тревожного и трудного общественного явления мы пока еще ограничиваемся его художественной констатацией, вне ретроспекции и перспективы развития того общественного типа, сколком с которого являются герои большинства этих книг. Главный счет, который мне в связи с этим хотелось бы предъявить молодой нашей литературе, — это заниженность гражданских, нравственных требований к своему юному герою, отсутствие тревоги за его жизненную судьбу.

Впрочем, в такой всеобщности этого счета таится несправедливость, поэтому я оговариваюсь: речь идет о тенденции, а не о личностях. Нельзя не чувствовать, например, с каким упорством В. Аксенов преодолевает инерцию вялости мысли, сковывающей даже такого сильного и талантливого писателя, как стремится он к синтезу, к социально-психологическому мышлению, к высокой современной гражданской позиции. Это стремление — в его рассказах последних лет («Папа, сложи», «На полпути к луне», «Дикой»), в пьесе «Всегда в продаже», в романе «Пора, мой друг, пора...». В последнем его романе все тот же круг героев, уже знакомый нам по прежним произведениям Аксенова: городские парни и девушки в самом начале их жизненного пути. Эту среду писатель знает доскопально, он рисует ее широко, точно, зримо.

Вспомните, как появился впервые в числе знакомых Тани Олег — во время игры на баскетбольной площадке: «Все сразу увидели его, голого по поясу, в странных пестрых трусах, в нем не было ничего лишнего, совершенно законченная форма двигалась к щиту, эллинский юноша — только, может быть, плечи чуть-чуть широки — продукт естественного отбора плюс поливитамины и научная система развития организма...»

Таков Олег — «эллин», «бронзовый бог», сгусток красоты и энергии, «сверхчеловек», как в шутку называет он себя. Он вышел на ринг, чтобы завоевать жизнь и Таню. Мы видим его отчетливо, явственно, как и нескладного, инфантильного юнца с нелепым прозвищем Кянукук. Он «шут гороховый», «ходячая нелепость», записной и часто пошловатый, с потугами на цинизм острослов. Они появились в прибалтийском городке, где шли съемки нового фильма, вчетвером, — такие «современные» юнцы, небрежные, с одинаковой развращенной походкой.

Повторение ситуации «Звездного билета»?

Поначалу так и кажется: юная, красивая и такая «современная» девушка Таня — только уже к кинозвезде, влюбленный в Таню паренек Валя Марвич, в недавнем прошлом — ее муж, ради нее поступивший рабочим в киноэкспедицию, которая ведет съемки нового фильма в приморском городке, и та же Прибалтика, в которую влюблен писатель, чей древний колорит передает он с такой пахучей свежестью.

В действительности В. Аксенов в новом своем романе не только продолжает себя, но и спорит с прежним собой.

В жизни нет единого эталона некоего «современного молодого человека», утверждает роман «Пора, мой друг, пора...». В среде юншества идут водоразделы, которых мы не видим порой, о которых не говорим.

То, что в героях «Звездного билета» казалось ему иногда сутью, Аксенов осмысляет здесь как нечто внешнее, необязательное, преходящее. Суть в другом: в духовных ценностях жизни, в совести людской.

У «супермена» Олега и «ходячей нелепости» Кянукука духовные потенции противоположны, взаимноисключающи. Кянукук, с его растерянностью перед жизнью, с его пассивным внешним цинизмом, вызывает щемящее, сложное чувство, предчувствие беды: «В его беспрерывной развязной болтовне и в глазах, жадных и просящих, была незащищенность, что-то детское, недоразвитое и какое-то упорство, обреченное на провал». Этим характером писатель выразил свою тревогу за ту часть сверстников Кянукука, которая переживает кризис инфантилизма и смятенности перед сложными противоречиями жизни и, при всей чистоте помыслов, не в силах еще занять активную позицию борца. Он показывает, как при всей внутренней их противоположности Кянукук пытается подражать Олегу. «Эллин» Олег навязывает себя не только внутренне слабому Кянукуку. Он стремится взять в духовный плен и очень крепкую в своих нравственных основах Таню.

Но что это за общественное явление — Олег, в которое с такой тревогой и ненавистью всматривается писатель? Это явление не новое — оно лишь по-новому проявляет себя.

Элегантный красавец Олег — очередная, облагороженная образованием, культурой и папиной зарплатой ипостась мечанства, современная, «сильная личность», «мальчик из зондеркоманды».

Нет, нет, с внешней стороны у него все благополучно. Он уже теперь умеет с большой точностью и

выгодой вести себя в координатах социалистического общества. Он «общественник» и отличник.

«— Не смейся, мне это нужно,— объясняет он Тане.— В нашем обществе посты не передаются по наследству, и знания свои батя не может мне завещать. Поэтому надо самому соображать, как вырваться на орбиту. Батя мне передал кое-что — свою силу и хватку...».

Подобная «сильная личность» без души, без веры, без принципов враждебна сути нашего общества.

Роман Аксенова весь замешан на этой коллизии, он воспитывает ненависть к бездуховной, агрессивной материальности мещанства, в утонченнейших формах пробивающегося в нашу жизнь, посягающего на нашу молодость. Эта книга о бунте героев — Тани, Кянукука — против бездуховности мещанской жизни, которая затягивала их в свои «красивые» тенета, о том самом бунте, который еще раньше свершился в душе Валентина Марвича. Валентин в ранней юности также не избежал искуса «наивного цинизма» и думал только о себе. Знакомство с Таней на улице Лабораториум три года назад, сильное и чистое чувство заставило его с болезненной очевидностью ощутить «удивительную связь со всеми людьми на земле».

Встреча с тремя «подонками» обострила это общественное чувство; мы присутствуем при первом пробуждении гражданских эмоций в человеке: «Я прошел, наверное, все фазы наивного цинизма. Не знаю, всем ли необходима эта школа, но я пришел сейчас к каким-то элементарным понятиям, к самым первым ценностям: к верности, жалости, долгу, честности,— вот что я исповедую сейчас: «Милость и истина да не оставят тебя». Не знаю, верно ли я угадываю себя, но я стараюсь угадывать, я учредил в своей душе кассу взаимопомощи. Что я могу сделать для них? Ничего и все: жить, не устраивая засад, не готовя ловушек, протягивать открытые ладони вперед. Я достаточно дрался кулаками и ногами, и головой, головой снизу вверх с разными подонками; меня лупили кулаками, ногами, а однажды и кастетом, но лупили также и улыбками, и рукопожатиями, и тихими голосами по телефону, а я не умею драться улыбкой, рукопожатием, тихим голосом, да и не нужно мне этого, потому что драка пойдет уже не только за себя. Научиться драться только за себя — это не хитрая наука».

Такова исповедь Марвича.

Повнимает ли писатель, что его герою еще только предстоит постигнуть науку драться не только за себя? Что «жить, не устраивая засад, не готовя ловушек», — отнюдь не конечная добродетель человека? Помните: «У нас есть старинный предрассудок — считать человека честным, если он не берет взятку... Честный человек тот, кто честен в своем мнении, чист в убеждениях и прав в деле мысли». Элементарные понятия, первые ценности: верность, жалость, личная честность — необходимы, чтобы быть человеком. И все-таки этого мало герою нашего прекрасного, но такого сложного, противоречивого, трудного переломного времени. Ему необходим еще общественный интеллект, гражданский темперамент, последовательные убеждения, мужество и умение драться за них. Наша литература, если брать не только суть характеров, но и силу их художественного воплощения, пока еще только на пути к такому герою современности. Предтечей его являются такие характеры, как Саша Зеленин в «Коллегах» Аксенова, совсем еще юная доярка Галка в повести А. Кузнецова «У себя дома», молодой физик Крылов в романе Д. Гранина «Иду на грозу», инженер Карабаш в «Утолении жажды» Ю. Трифонова и другие, им подобные. Каж-

дый из них ведет в жизни свою борьбу. И это борьба не за себя, напротив, она идет сплошь и рядом с риском для себя. Велика общественная потребность в таких людях в сегодняшней жизни, в таком героическом современной литературы. Сегодня, как никогда, нужны нам подвижники и бессребреники, святые и мужественные донкихоты, «идеалисты», по определению Алексея Максимова, в мире бойцы, как говорил когда-то Белинский. Сегодня, как никогда, нужны умные и честные, принципиальные люди. Эту потребность жизни в точных словах выразил молодой писатель Георгий Садовников, который в статье «Только для себя — зачем я?» («Сельская молодежь» № 1, 1966 г.) назвал определяющей чертой настоящего человека современности **принципиальность**. «Заряд, степень ее, сила бывают различны в человеке. Бывает так, что тебе хватает ее лишь на то, чтобы самому никогда, ни при каких условиях не пойти на подлость: не отступить от своих принципов, не говорить «да», если ты вчера сказал «нет», отстаивать свои позиции, какими бы бедами это тебе ни грозило. Принципиальность ли это? Конечно. Но ее хватает лишь на то, чтобы остаться чистым самому. По-настоящему принципиальный человек не только сам не отступит, но и не даст отступить другому. Отстаивая свои, священные для себя принципы, он готов вмешаться в любое дело, к которому, казалось бы, не имеет никакого касательства, мимо которого он мог бы пройти. В том-то и дело, что для него нет ничего постороннего, когда речь заходит о принципах... Те люди, по которым мы равняем свою жизнь, были непримиримыми. Именно они и становились революционерами, борцами за народное счастье».

В резолюции XXIII съезда КПСС подчеркнуто: «Воспитание комсомола, молодежи на революционных, трудовых и боевых традициях советского народа, Коммунистической партии — одна из важнейших задач». В советской литературе немало характеров непримиримых, принципиальных борцов за народное счастье. Ее положительный герой — всегда революционер. Такими были не только Павлик Корчагин и Давыдов. Таков Венька Малышев из нилинской «Жестокости» с его принципом: человек в ответе за все, что происходит в нашей стране... Юный Правдоха — герой одноименного рассказа А. Глебова, — бесстрашный маленький правдоискатель, который всем сердцем верит, что революция совершалась ради торжества правды на земле... Учитель Дюшен из повести Ч. Айтматова «Первый учитель» — малограмотный красноармеец, объявивший войну дехканской дикости, изуверству, темноте, войну за души киргизских детей... Капитан Новиков в повести «Последние залпы» Ю. Бондарева, погибающий в бою с фашистами...

Все это люди революционного долга, революционных идеалов, идейные люди своего времени. Характеры, выражающие святое время, романтику революционного энтузиазма. Они раскрывают все обаяние идеалов революции в их первооснове. Они возвращают высокому понятию революционной идейности его изначальную суть.

Все мы — критики и публицисты — любим провозглашать: революция продолжается!.. Она действительно продолжается. Все мы — критики и читатели — часто сетуем: почему в нашей молодой литературе нет яркого характера современного революционера, современного Павлика Корчагина? И справедливо сетуем: такой характер еще впереди. Мне довелось присутствовать при жарком споре, когда один из ораторов, комсомольский вожак, так прямо и поставил вопрос: пусть литература даст снова Павлику Корчагина! В этот момент один из слушателей,

умудренный жизнью, уже седой человек, извинившись, перебил оратора неожиданным вопросом:

— Простите, молодой человек, у вас на руке кольцо?

— Да,— озадаченно подтвердил выступающий.

— А галстук у вас, извиняюсь, нейлоновый, импортный?

— Нейлоновый,— согласился оратор.

— А знаете, что Павка Корчагин мог бы вам руки не подать?..

Что стояло за этим на первый взгляд коварным вопросом? Мысль, будто корчагинские характеры в современной нам жизни уже не нужны? Конечно, нет. Имелось в виду другое: невозможно характер Павки Корчагина, принадлежавший своему суровому, в какой-то мере даже аскетическому времени («Мир хижинам, война дворцам!»), когда и в самом деле кольца, галстуки, шляпы и духи расценивались как признак буржуазности, механически перенести в эпоху современных, шестидесятых годов. Не напрасно мы жили, трудились, работали пятьдесят лет. И проблемы, противоречия нашего времени во многом иные, чем в пору двадцатых годов. Каждая эпоха бьется над своими, ей принадлежащими «проклятыми» вопросами, и при всем единстве и последовательности революционной цели вырабатывает свой конкретный, революционный идеал. Задача (и трудность этой задачи) не в том, чтобы механически перенести в наше время характеры Павки Корчагина, Веньки Малышева или десятилетия Давыдова. Она в другом: увидеть в сегодняшней нашей действительности характеры, в современных формах борьбы продолжающие традиции революционных лет. Что значит сегодня продолжать дело Павки Корчагина? Когда я задал этот вопрос в одной школьной аудитории, мгновенно взметнулась рука, и мальчуган-восьмиклассник с готовностью отчеканил: «Ехать во Вьетнам!»

Ну, а если не только во Вьетнаме, но здесь, в повседневной, мирной и порой такой обыденной, привычной жизни быть продолжателем дела революционных лет? Что значит применительно к сегодняшней повседневной действительности быть человеком идейным, принципиальным, убежденным, непримиримым, «в мире бойцом»? Борцом с чем? И во имя чего?..

От точного, истинного и искреннего ответа на этот вопрос зависит многое в завтрашней судьбе молодых. Зависит главное: гражданская позиция в жизни. Чтобы дать марксистский ответ на него, необходимо научное осмысление диалектики современного этапа развития нашего общества, тех реальных противоречий, через преодоление которых жизнь движется вперед. Лишь трезво осмысливая сложные противоречия современного общественного развития, мы сможем зримо, доказательно раскрыть перед молодыми, что это значит сегодня конкретно: революция продолжается... Революция продолжается только в борьбе, в преодолении, в непримиримости. В борьбе с реальным, жизненным противником и выявляет себя современный герой не в литературном, но в жизненном смысле, формируется его революционный идеал.

Борьба, которую он сегодня ведет, по своему характеру, по своим формам отличается от подвига Веньки Малышева или капитана Новикова. Венька Малышев боролся с белобандитами. Капитан Новиков — с фашистами. Доярка Галя из повести А. Кузнецова «У себя дома» воюет с подлецами, стяжателями, корыстолюбцами.

Конфликты таких произведений, как «У себя дома» А. Кузнецова, «Пора, мой друг, пора...» В. Аксенова, «Иду на грозу» Д. Гранина, «Утоление жажды» Ю. Трифонова и многих других, конфликты боль-

шинства книг о современности так или иначе осмысливают эту коллизию, основную нравственную коллизию современного общества — противостояние людей новой морали и носителей мелкобуржуазной, то есть мещанской, психологии и нравственности. В преодолении мелкобуржуазной психологии и нравственности — суть воспитания нового человека. Вот почему этот противник заслуживает серьезного к себе отношения и самого глубокого осмысления. Мы бездумно упрощаем порой реальную сложность той задачи по перевоспитанию масс, которую призваны решить в процессе нашей революции, в процессе созидания нового общества. Нельзя забывать, что дореволюционная Россия была в значительной степени крестьянской и мещанской, то есть мелкобуржуазной страной. Русский рабочий класс в силу его исторической молодости также нес немалый груз мелкобуржуазных традиций. Резкий рост городов в первые десятилетия Советской власти происходил за счет крестьянского населения страны, что, если помнить ленинское положение о двойственности крестьянской психологии, не могло не накладывать свою печать. Иными словами, задача коммунистического воспитания народа, которая решалась в течение почти пяти десятилетий и пока еще, естественно, далеко не решена, была задачей перевоспитания, переплавки мелкобуржуазной, мещанской и крестьянской психологии и нравственности, извека владычествовавшей на огромной территории страны. Эта кардинальная духовная задача общества остается главенствующей на многие годы дальнейшего развития социалистических и коммунистических начал. В нашей повседневной пропаганде мы часто замалчиваем или же не учитываем всего исторического масштаба и всей реальной сложности этого гигантского и неизведанного духовного эксперимента, — небывало трудного еще и потому, что имеем здесь дело не с техникой и даже не с экономикой, а с человеческой психологией, человеческим сознанием, самой тонкой и сложной сферой — человеческой душой.

Ленин неоднократно подчеркивал, что этот процесс будет медленным и долгим, что он потребует последовательных и целеустремленных усилий. Он предвидел, что идейное, духовное сопротивление старого мира будет самым глубоким и самым мощным. Он предостерегал вместе с тем от упрощенческих и утопических представлений об укладе жизни социалистического общества. В пятой главе книги «Государство и революция» он приводил одно из коренных положений «Критики Готской программы» К. Маркса, посвященное социализму, как первой фазе коммунистического общества. «Мы имеем здесь дело, — писал К. Маркс, — не с таким коммунистическим обществом, которое развилось на своей собственной основе, а с таким, которое, наоборот, только что выходит из капиталистического общества и которое поэтому во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном, сохраняет еще родимые пятна старого общества, из недр которого оно вышло».

Маркс указывал здесь, что социализм, как первая фаза коммунизма, уничтожает частную собственность и эксплуатацию человека человеком, ставит людей в равные отношения к орудиям и средствам производства, но не дает полного и окончательного материального равенства, так как предполагает пока еще распределение продукции по труду, а не по потребностям. «Равное право» мы здесь действительно имеем, — говорит Маркс, — но это еще «буржуазное право», которое, как и всякое право, предполагает неравенство. Всякое право есть применение одинакового масштаба к различным

людям, которые на деле не одинаковы, не равны друг другу; и потому «равное право» есть нарушение равенства и несправедливость». В самом деле, продолжает мысль Маркса Ленин, каждый получает, отработав равную с другим долю общественного труда, равную долю общественного производства... А между тем отдельные люди неравны, один сильнее, другой слабее; один женат, другой нет, у одного больше детей, у другого меньше и т. д. ...Справедливости и равенства, следовательно, первая фаза коммунизма дать не может; различия в богатстве останутся, и различия несправедливые, не возможна будет эксплуатация человека человеком, но нельзя захватить средства производства, фабрики, машины, землю и проч., в частную собственность. Разбивая мелкобуржуазно неясную фразу Лассалля о «равенстве» и «справедливости» вообще, Маркс показывает ход развития коммунистического общества, которое вынуждено сначала уничтожить только ту «несправедливость», что средства производства захвачены отдельными лицами, и которое не в состоянии сразу уничтожить и дальнейшую несправедливость, состоящую в распределении предметов потребления «по работе» (а не по потребностям).

Лишь при коммунизме, указывал Ленин, когда развитие производительных сил достигнет достаточно высокого уровня и труд людей будет настолько производителен, что они добровольно станут трудиться по способностям, «узкий горизонт буржуазного права», заставляющий высчитывать с черствостью Шейлока, не переработать бы лишних получаса против другого, не получить бы меньше платы, чем другой, этот узкий горизонт будет тогда перейден. Распределение продуктов не будет требовать тогда нормировки со стороны общества количества получаемых каждым продуктов; каждый будет свободно брать «по потребности».

Эти положения Маркса и Ленина нельзя игнорировать не только при выработке экономической политики социалистического государства (последние мероприятия партии, направленные на развитие материальных стимулов в соответствии с экономическими законами социалистической формации, как раз и берут их в расчет); о них нельзя забывать и при анализе сложных процессов, которые идут в нашей общественной нравственности.

Архитрудная задача воспитания нового человека, преодоления жадности, корысти, мелкобуржуазной психологии в душах людей не решается лишь в сфере сознания, нравственности и морали. Она будет решаться прежде всего упорным трудом народа, развивающего свои производительные силы, закладывающего экономический фундамент высшей фазы общественного развития — полного коммунизма. Вот почему наш идеал не исчерпывается категориями нравственными, — он включает в себя труд, честную работу каждого на своем, самом скромном посту, подчиненную общенародной, общегосударственной задаче всемерного и наиболее эффективного развития производительных сил.

В нашей критике и литературе есть тенденция углубляться в сферы некой «чистой» нравственности, «чистого» сознания и забывать, что нравственность, сознание, психология вторичны, что они определяются в конечном счете материальными условиями жизни людей. Противоречия в сознании и нравственности лишь отражение противоречий экономического базиса. Мы же, критики и публицисты, из приведенного выше положения Маркса об объективной противоречивости первой фазы коммунизма, которая во всех отношениях, в экономическом, нравственном и

умственном, сохраняет еще родимые пятна старого общества, берем порой лишь словосочетание «родимые пятна» и крайне плоско, поверхностно, прямолинейно перетолковываем его, адресуя по преимуществу к жизни нравственной.

В действительности все куда сложнее. В. Тендряков, к примеру, в своей последней повести, «Поденка — век короткий», на частном примере драматической судьбы колхозного маяка, свинарки Насти, показал, сколь сложен переплет экономических и нравственных начал в жизни современной деревни. Согласен я во многом и с К. Буковским, критиковавшим талантливую повесть А. Кузнецова «У себя дома» за то, что автор надеется решить трудные проблемы современной деревни лишь силой энтузиазма подвижников, как героиня повести Гая. В своих публицистических заметках «Нелитературные размышления» («Октябрь», 1966, № 2) К. Буковский развил эту мысль дальше, высмеив «романтические опыты молодых литераторов», чьи произведения «основаны на вечном предмете литературы — борьбе честного и трудолюбивого с нечестным и эгоистичным». Разделяя мысли К. Буковского касательно жизни современной деревни и ее деловых проблем, я хотел бы оспорить некоторые его высказывания, посвященные литературе. В частности, я решительно не приемлю его иронию в отношении «борьбы честного и трудолюбивого с нечестным и эгоистичным», как предмета современной и прежде всего молодой прозы. Для нее это не «вечный» предмет; борьба честного и трудолюбивого с нечестным и эгоистичным преломляется в молодой прозе как тема сугубо современная, как злоба дня. Нет спору: молодым часто не хватает реального, «земного», умудренно-делового взгляда на жизнь, и наивно думать, будто одними призывами к совести людской можно решить трудные проблемы времени. Нет спору: материальное вызывает к жизни духовное, исправляет его. Но куда не уйдешь и от того, что духовное начало жизни, в свою очередь, человеческое сознание, общественная нравственность оказывают огромное воздействие на все материальные и производственные процессы жизни действительной.

Я понимаю стремление К. Буковского, очеркиста-деревенщика, повернуть прозу к конкретному, деловому исследованию экономики современной деревни. Понимаю, но считаю односторонним. Свои «Нелитературные размышления» он построил, как он пишет, на «нелитературной литературе», на «тысячестраничных романах» о колхозной деревне, которые «сюжетно банальны и... вытекают один из другого», наполнены «пошлостью любовной, идущей от неумения», и не являются человековедением. И все-таки он ставит эти романы выше «романтических опытов молодых литераторов» (каких конкретно литераторов?), потому что автор такого романа, по его мысли, «вместе с тысячестраничем что-то передо мною ставит, о чем-то печалуется, что-то выводит и о чем-то заставляет размышлять». На шести страницах журнального текста К. Буковский делает выжимку всех действительно ценных мыслей из трех или четырех прочитанных им тысячестраничных романов. И на этой основе пишет экономический этюд в защиту подлинно коллективного крестьянского труда. Шесть страниц «Нелитературных размышлений» являют собой пример честного экономического очерка-исследования, посвященного проблемам современной деревни. К сожалению, автор не задался только одним немаловажным вопросом: зачем было авторам малохудожественных романов эти экономические наблюдения и мысли, выраженные очеркистом на шести страницах журнального текста, обрамлять «тысячами страниц нелитера-

турной беллетристики)? Как продемонстрировал сам же Буковский, они являют собой предмет делового очерка, очень уважаемого жанра художественной литературы. Но художественная проза не сводится к очерку. Она имеет и другие жанры, исследующие не просто экономику, но человеческую душу. Для этой литературы «борьба честного и трудолюбивого с нечестным и эгоистичным», которая идет сегодня в нашей повседневной, в том числе и экономической, колхозной жизни,— предмет первостепенной важности. Эта борьба не придумана писателями и отнюдь не «вычитана в литературе», как предполагает К. Буковский, отзвуки ее слышны хотя бы в этом вот письме старого агронома из Воронежской области, которое пришло после недавнего нашего выступления в телевизионном «Сельском клубе»:

«Я агроном-пенсия (г. р. 1900). Честно проработал агрономом совхоза, главным агрономом МТС. Много пришлось пережить тяжелого только за то, что не преклонялся перед телефонной трубкой и на заседаниях, совещаниях говорил, что не так, что неправильно с агрономической точки зрения, что только для рапорта, а не для пользы дела. В результате я был белой вороной и «опасным» человеком в совхозе. Жена директора совхоза сказала моей жене: «Ваш муж не умеет жить! Нужно самим жить и дать возможность жить другим. У него в распоряжении зерно, а ваши дети и вы плохо одеты. Что, разве он не может отвезти в город зерна, продать и одеть вас всех?»

Со всем этим «укладом» жизни я боролся и был нетерпим. Даже когда обратился за помощью в 1950 году в область и рассказал (на бумаге) о безобразиях в совхозе (я работал все годы главным агрономом совхоза и МТС), то один руководящий работник мне сказал: «Ну, что же, раз хороший вырастили урожай, можно и взять, подумаешь!» Брели же у нас в совхозе по очереди: директор, главный инженер, главный зоотехник и т. д. И только не делал этого главный агроном, и вскоре его уже не было в этом хозяйстве. Вот так. Попав в Ростовской области в одну из МТС главным агрономом (1953—1956 гг.), я увидел похожую картину: директор МТС разбегается по озимым посевам, охотится за птицей и зайцами, губит посевы; семена в колхозах превращены в суржу (рожь с пшеницей пополам), стройка в колхозах отдавалась шабашникам за большую мзду руководителям, а свои люди были свободны... Я «встал», побывал у Михаила Александровича Шолохова; он был глубоко возмущен (он по моим статьям в районной газете первый вызвал меня к себе познакомиться), имел, видимо, в бывшем Базковском районе разговор обо мне. И что же? Райком партии, как я узнал позже от сотрудников областного управления сельского хозяйства, потребовал: «Уберите от нас этого человека!» И в конце концов на меня директор МТС составил приказ как на негодного человека. Областное управление сельского хозяйства и министерство отменили это обвинение, «реабилитировали» меня... Я был не один в районе с таким «напористым» настроением. Люди подметили «принципиального» агронома, стали к нему тянуться, прислушиваться, в результате мы по МТС получили самый высокий урожай, и мне была положена по закону денежная премия, как и всему руководящему составу. Но меня «изгнали» до окончания года и перевели 50% премии по закону, как доработавшему сельскохозяйственный год».

Оборву здесь письмо этого агронома-подвижника, его рассказ о драматически трудной борьбе «честного и трудолюбивого с нечестным и эгоистичным» в деревне последнего десятилетия. А разве мало бы-

ло в ней таких вот по-аввакумовски упрямых агрономов, «не преклонявшихся перед телефонной трубкой» бюрократов?

Обязанность литературы — социально осмыслить эту борьбу. Она отнюдь не «вечный предмет», но принадлежность нашего переломного времени, объективное противоречие духовной жизни общества, сохраняющего во всех отношениях — в экономическом, нравственном и умственном — родимые пятна капитализма. Это борьба трудная, потому что противник обладает колоссальной цепкостью и способностью к социальной мимикрии, приспособлению к окружающей среде. Об этом говорил еще Горький. Остатки разрушенного мещанства, писал он, защищают свое «я» всей силой хитрости, лицемерия, лжи — силой, унаследованной ими от векового прошлого. Жизнь неумолимо теснит мещанина, лишает его унавоженной почвы, на которой он растет. Откровенным мещанином-стяжателем быть в нашей жизни просто невыгодно. Современный мещанин далеко ушел от горьковского «окурочка» или знаменитого Васисуалия Лоханкина из «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова. Он видоизменился вместе с временем, тщательно маскируясь, лицемерно приспособляясь к новым, враждебным ему, условиям существования.

Ради сохранения и завоевания теплого, сытого места под солнцем современный мещанин научился скрывать свою истинную природу и принимать самые неожиданные лики. Он стремится получить образование, комсомольский, а нередко и партийный билет. Он стремится «выйти в люди», то есть «сделать карьеру». Да, одна из самых отвратительных форм современного мещанства — это карьеризм. Он учится говорить самые правильные, самые «звонкие» слова. Он приобретает ультрамодные тряпки и ультрамодную мебель. Современный мещанин уже не есть что-то дикое, бородатое, косое и неопрятное. Мещанин может оказаться важным чиновником в мантишке и разутюженном костюме; мещанином может быть муж науки в тоге академика; мещанин может носить кепку рабочего или свитку колхозника.

О, какие неожиданные личины принимает сегодня мещанин ради достижения своих корыстных целей, ради удовлетворения своего общественного эгоизма!

Отпетый циник, не верящий ни во что, кроме собственного преуспевания и успеха, но на работе произносящий самые громкие, самые правильные слова,— мещанин.

Напористый организатор и хозяйственник, любой ценой выжимающий план — не ради интересов дела, но ради собственной карьеры,— мещанин.

Покладистый инженер, составляющий проект не с расчетом на наиболее выгодные экономические показатели, но с расчетом на мнение начальства,— мещанин.

Равнодушный бюрократ, который за буквой не видит живого человека,— мещанин.

Дисциплинированный и даже добросовестный работник, который из-за боязни неприятности никогда не проявит инициативу, не пойдет против течения, не проявит собственного мнения,— мещанин.

Борьба с миром корысти и социального эгоизма пока еще нелегка. Не следует скрывать от молодых всей трудности этой борьбы. Она требует гражданского мужества, твердости в убеждениях, она приводит не только к победам, но и к мучительным поражениям. Но конечная победа будет за нами, за нашими принципами, за коммунистическим, а следовательно, истинно человеческим отношением к жизни.

Вспомните, насколько труден жизненный путь фи-

зика Крылова в романе Д. Гранина «Иду на грозу», как много надо воли и упорства, чтобы противостоять миру агатовых и денисовых, спекулянтов от науки, и остаться самим собой, и победить в борьбе, а не сломаться, подобно Тулину. Вспомните сцену, кульминационную сцену романа, когда катастрофа с самолетом подкосила под корень работу ряда лет, когда приехала могущественная комиссия во главе с генералом Южиным, призванная расследовать причины аварии и решить судьбу научного поиска молодых физиков. Вспомните мучительную дилемму, перед которой оказался Южин — храбрый фронтовой генерал, водивший эскадрильи тяжелых бомбардировщиков на Берлин, — его трудный нравственный выбор: закрыть научную тему, благо, так спокойнее и все внешние обстоятельства дела за это решение; или же разрешить Крылову работать дальше, взять трудную ответственность правильного, но опасного для собственного покоя, для карьеры, для служебного положения, мужественного, истинно гражданского решения. И Южин заколебался. Вспомните слова, наивные святые слова, которые с еле скрываемым презрением бросил ему Крылов:

— Что же вы, генерал?! У вас вся грудь в орденах. На фронте-то вы храбро сражались, а ведь здесь не стреляют?..

Слова, перевернувшие душу Южина.

Да, гражданское мужество в такой борьбе дается порой не легче военного мужества. И обязанность литературы — готовить молодых к гражданскому подвигу, к жизни трудной, но честной. Молодые должны знать, что действительность все еще противоречива и сложна. Она далека от райской идиллии, она по-прежнему борьба. И быть принципиальным, убежденным, граждански честным человеком совсем не просто, это не награда, не отличие, а тяжелое служение идее, долгу, собственной совести, в конечном счете обществу и народу. Но каким бы трудным ни был этот путь — он единственный, на котором ты сможешь остаться человеком.

Вот почему такое важное значение для воспитания молодых приобретает сегодня правда. Полная правда. Партийная правда. Идиллическое воспитание, когда желаемое выдается за сущее, когда жизнь представляется райскими кущами, в которых остается только срывать плоды, — одна из причин разочарования, скепсиса, уныния в среде молодых. Столкнувшись с реальной действительностью и обнаружив ее несовершенство, иные из них начинают обвинять весь мир.

Из восторженных, голубых идеалистов они легко превращаются в нытиков, а то и циников. Так происходит зачастую потому, что воспитатели — семья, школа, литература, комсомол, — закладывая с

изначала основу гражданского самосознания, не дали реального и точного представления о трудностях и противоречиях реальной действительности, не научили осмысливать эти трудности, не помогли выработать мужественную позицию в борьбе.

Вот почему такое важное значение для воспитания молодых приобретает сегодня высокое слово «идейность» в истинном, ленинском понимании его. Литература должна вырабатывать в душах людей презрение к чичиковщине и молчалинству, жажду нравственных ценностей, высоких гражданских убеждений. Чем лучше, чем обеспеченнее мы будем жить, тем больше внимания придется уделять тому, что Виктор Розов в одной из своих статей назвал «подлинными человеческими ценностями». Нельзя не разделить его тревогу по поводу того, что многие из молодых подлинными человеческими ценностями подменяют суррогатом — погоней за материальными благами жизни, поклонением вещам. «Предметы роскоши, комфорта, дорогие модные вещи только тогда имеют право на существование в руках владельца, когда они явились побочным результатом больших усилий человека в сфере совсем иной деятельности, — пишет В. Розов. — Поясню: молодой человек увлечен математикой, это его призвание, его страсть, его творческий смысл жизни. Он добивается серьезных успехов в избранной им области знаний, завоевывает признание людей, труд его оплачивается высоко, и, когда он окружает себя ценными, дорогими вещами, это не кажется вульгарным, потому что не они для него главное. А если бы в юности этот же человек направлял свою умственную, духовную и даже физическую энергию не на науку, а на жадное желание иметь модные ботинки и рубашки, на покупку какого-нибудь дорогого транзистора или магнитофона — поскольку это, мол, признаки преуспевания, — то с уверенностью можно сказать, что не было бы чудесного ученого, а в лучшем случае был бы лишний спекулянт от науки... Я хочу, чтобы каждый человек был свободен от материального недостатка, но недопустимо, когда погоня за материальными благами жизни становится самым смыслом жизни. Это абсурд и чертовщина!»

Это, пожалуй, хуже, чем абсурд и чертовщина. Это — предательство по отношению ко всему истинно человеческому, по отношению к самому себе, по отношению к духовным идеалам человечества. Сегодня уже мало личной безразличности к приобретаемому и прочей честной и бесчестной чичиковщине. Движение жизни требует от каждого — если он стремится быть граждански честным человеком — непримиримости и борьбы, продолжения битвы за торжество коммунистических, революционных идеалов, которую начали наши отцы.





ПАРЕНЬ

С «КРАСНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА»

Четыре тысячи комсомольских делегатов соберутся в мае на XV съезд ВЛКСМ. Они будут говорить о том, что осталось позади; это были славные дела. Они будут говорить о будущем — его перспектива очерчена увлекательными планами новой пятилетки...

Об одном из делегатов предстоящего съезда, хорошем парне с «Красного треугольника», рассказывает наш репортаж.

Они даже растерялись, когда парень подмигнул им и протянул гитару.

Дело было за полночь. Леонид с Ритой спешили из гостей. На Лиговке обогнали группу ребят, которые горланили: «Нам бы, нам бы, нам бы всем на дно...»

Вдруг певцы разом смолкли, и Леонид услышал:

— Парень, дай-ка гитару...

Обернулся.

— Берите. А играть умеете?

Те явно растерялись: ожидали чего угодно, только не этого. Впервые встретили такого чудака.

— Малость тренькаем. У нас тут кое-что намечается — пригодится...

— Идет. Только, чур, в понедельник к восьми вернуться. Запишите адрес.

Они вернули. Минута в минуту. Хотя ни Рита, ни, наверное, сами просители поначалу не верили в подобный финал. А Леонид верил. Почему?

Он всегда полностью доверял людям. Потому что работать с людьми — его профессия. Потому что Леонид Семашкевич — комсомольский секретарь.

✱

Ходят-бродят по городу отчаянные мальчишки. Лихо поделили в подъезде «маленькую», выкатились на улицу. Улица — без конца, без края. С одной стороны — канал, с другой — завод. Вернее, несколько заводов — крыша к крыше. И называются они все вместе: объединение «Красный треугольник».

Шумят мальчишки на весь район. Район свой — здесь родились, здесь курить научились. У Кольки отца, матери дома сейчас нет. У Степки — тоже. Вон, напротив, окна желтеют — там и Колькины и Степкины родители: ночная смена.

В комитете комсомола тоже свет горит. Дымно. Семашкевич что-то доказывает Анчуткину, Леню поддерживают Римма Шергина и Галя Каменева. Анчуткин хмурится, но вообще-то он в отличном настроении. И все — в отличном. Потому что совсем

недавно им удалось пробить два больших дела. Впервые, в составе профкома теперь будет представитель заводской комсомолки Алла Полякова. Значит, легче станет молодым отстаивать через профсоюз свои интересы. А забот у них — хоть отбавляй. Ну, скажем... Впрочем, это уже «во-вторых».

Леня Семашкевич — начинающий папа. Маленькая Зойка принесла в семью тысячу забот. Но с такими, как Зойка, на «Красном треугольнике» решают просто: четырнадцать детских садов и яслей, мест на всех малышек хватит.



Леонид Семашкевич — комсомольский секретарь.

Летом ребяташек повезут на дачу; тех, кто постарше, — в пионерские лагеря. Если тебе исполнилось восемнадцать, — добро пожаловать на турбазу... Ну, а что делать мальчишкам, которым в лагерь поздно, а с туристами рано? Школа закрыта, Дом пионеров тоже, в городском лагере от скуки мухи мрут... Значит, на улицу? Один привод, другой... Пап и мам вызывают в милицию. Папы хмурятся, мамы плачут и берут расчет, чтобы следить за отпрысками. Некоторые приходят в комсомольский комитет: помогите!

И Леонид задумался: а что, если открыть для подростков свой туристский лагерь?

Комсомольцы начали «таранить» администрацию, партком, профком. Вынесли предложение на конференции, где обсуждался коллективный договор. Замотанные хозяйственники встретили идею кисло: вам все «трали-вали», а у нас план горит... Тогда ребята обратились за поддержкой к делегатам профсоюзной конференции. Тех долго убеждать не пришлось: сами папы и мамы. Победа. Хотя еще надо доказать, что лучшее место отдыха — поселок Соколиное, что со всем хозяйством прекрасно управятся три комсомольца (начальник, он же завхоз, и два инструктора), что лагерь необходим уже в июне...

Летняя проблема решена. А осенью, а зимой, когда улицу сечет снег вперемишку с дождем? Одни бредут в «Гастроном», другие прячутся в подъездах, кое-кто заходит погреться в красный уголок жилконторы. Но красный уголок выглядит совсем не красно. Так Семашкевич и сказал заведующему:

— Серый уголок, а настроение ваше еще серее... Тот буркнул, кивнув на группу юнцов:

— А что, прикажешь нянчиться с хулиганами? Слава богу, «предводитель» попал в больницу...

Леонид подошел к ребятам.

— Ну, подшефные, давайте знакомиться. Будем на равных. Только трудно с вами на равных. Вот мы, рабочие, друг за друга грудью стоим, а вы даже приятеля в больнице не навестите.

Заерзали мальчишки:

— Ладно. Кончай воспитывать. И так скучно.

— А чего бы вы хотели?

— Вечер отдыха, с оркестром...

— Вот что, братцы. Оркестра у нас нет, а магнитофон из комитета комсомола получите и две чистые бобины — записывайте, что нравится.

Через неделю Семашкевич прослушал эти записи и присвистнул. Чего там только не было... Н-да, видно, надо поговорить с ребятами о джазе...

Пригласили музыковеда, раздобыли солистов из школы танцев. Но больше всех постарались сами подшефные. Надраили клуб до блеска, по всему кварталу забелели объявления о вечере-диспуте. Оформлены они были на зависть самым изощренным художникам. Внизу значилось: «Подростковый совет клуба ЖК».

Этот совет никто не назначал. Его создали мальчишки, которым поверили... Вот почему Леонид безбоязненно отдал тогда гитару первым встречным.



Леонид прощается с родным кораблем.

✱

Гитара — его любимица. На вечеринке, на «Огоньке», в турлохде — всегда с ней. У туристов особая форма. Обувь только «фирменная», на рукаве своя эмблема... И песня тоже местная: «Сапог резиновый, непромокаемый...» Припев подхватывает весь вагон. А потом Леню просят спеть его «матросскую»:

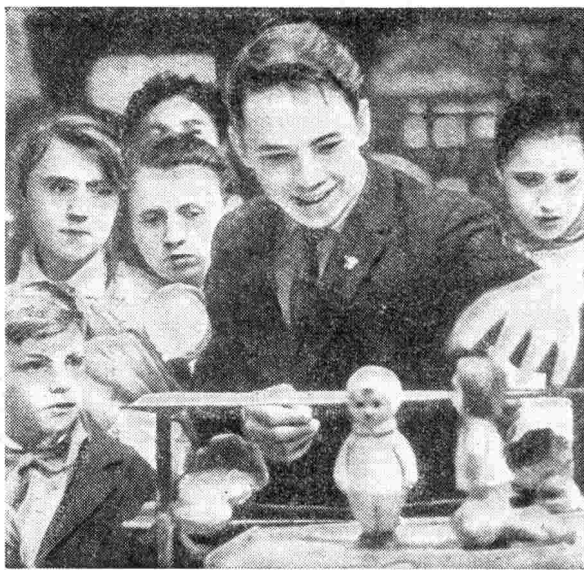
Убегает седая волна,
гонит ветер ее в залив...

...Да, голубых волн там, на Севере, не было. Были свинцовые.

Оставляли его, призывника, в Кронштадте. Но он попросился «только на Север, только на самый большой корабль». Так и вышло. Побывал и на Белом море, и на Баренцовом, и в Атлантике, видел Шпицберген, пересек Гринвичский меридиан.

Когда покидал крейсер, всех построили по большому сбору. Командир снял главстаршину Семашкевича, и главстаршина вдруг подозрительно шмыгнул носом. Это был его дом, его работа, его университет. Здесь нес вахту в девятибалльный шторм, писал стихи, здесь собрал концертную бригаду, которая гремела на весь флот. Отсюда его три года перетягивали в ансамбль песни и пляски. Здесь стал заместителем секретаря комитета комсомола. И заявление в партию написал тоже на корабле...

«Прощай, любимый город...» — выводил оркестр, и по старой флотской традиции «салажата» несли его чемоданчик с новенькой тельняшкой и пачкой почетных грамот.



— Так делают игрушки! — говорит Леня ребятам из подшефной школы.

Фото В. Мартынова.

Вот он уже на трапе. Сжатая ладонь взлетает к бескозырке: честь флагу. Прощай, крейсер. Прощай, Север...



Вышло так, что Леонид перепутал проходные. Райком направил его на «Красный треугольник», а он открыл дверь завода резиново-технических изделий. Но назад не пустили. Хорошие люди везде нужны. Начал слесарить, поступил в вечерний техникум. Вскоре выбрали комсоргом.

...Комсомол стал его миром еще до того, как Леонид получил тоненькую книжку с профилем самого дорогого человека. Правда, в тот первый день радость вышла неполной, скомканной... Накануне он как раз смотрел фильм про Зою. Секретарь райкома спросил девушку:

— А если надо будет совершить подвиг?

Зоя ответила:

— Это само собой разумеется.

Леня думал: с ним на приеме тоже будут так говорить. А получилось скучно, как в очереди. Собственно, там и была длинная очередь. Один за другим пересаживались — со стула на стул, потом на диван, потом опять на стул... Наконец и он добрался до двери, обитой черной клеенкой. Вызвали.

— Как учишься? — И, не дожидаясь ответа: — Учиться надо хорошо. Какими орденами награжден комсомол? Есть предложение принять...

Так испортили его большой праздник. И теперь Леонид Семашкевич, комсомольский секретарь, старается, чтобы у других мальчишек и девчонок в этот день все было совсем иначе. В комитете у них не спрашивают: «Как расшифровать ВЛКСМ?», «Что является основой комсомола?». Говорят о жизни.

...Как-то подал заявление один электромонтер. На вопросы отвечал нехотя, а потом вдруг пожаловался, что не разрешают ему сдать на второй разряд. Семашкевич тут же позвонил мастеру, договорился — и парень словно расцвел. А комсомольские билеты ребятам вручают на «Авроре», или у памятника ополченцам, или на Марсовом поле... Здесь, у вечного огня, люди говорят негромко. Того, кто стал комсомольцем, лучше беречь от пресыщения громкими словами.

Да, суесловие нынче не в моде. Леонид не терпит фанфар. Вот и в комитете упразднили всякие пышные рапорты и прочие словесные кружева.



Борису Барсову всего девятнадцать. Сюда пришел после училища, токарем. Работал через пень-колоду. В цех заявлялся на час позже: не высыпался, мол, иначе. Пошли навстречу: отрабатывая вечером.

Но парню все равно, когда и где бездельничать. И захотел перейти в такелажники. Вот тут-то и пришел к нему Семашкевич.

— От станка бежишь?

— Я стараюсь, но ничего не выходит.

— Болтаешь ты, а не стараешься... Даже резец не заточил как следует!

— Нормально заточен.

— А как он у тебя пойдет по металлу? Посмотри: нижняя кромка будет тереться.

— Тоже мне указчик нашелся! Твое дело — бумажки перебирать, а уж в металле я как-нибудь сам разберусь...

— Вот что, друг... До бумажек я на «Электросиле» по полторы нормы давал. А теперь включаю станок.

Сколько ни чертыхался парень, а резец привел в порядок. И заявление о переходе в такелажники забрал обратно.

Нет, «бумажной интеллигенцией» ни Леонида, ни его друзей здесь никто не назовет. Их кабинет — цехи. На пятнадцать километров протянулись только по главному зданию...

В ноябре «трещал» план у галошниц, и тогда тридцать комсомольских вожakov вышли в ночную смену. Заулыбались женщины, увидев неожиданных помощников. Когда те утром отказались от платы, работницы и вовсе развели руками. А одна обняла чумазого секретаря.

— Молодец, Лешенька. Недаром даже старики снова к вам в комсомол записываются...

Она не преувеличила. Есть на «Красном треугольнике» люди с комсомольскими билетами и седыми головами. Их представитель, Александра Александровна Брехова, — даже член комитета ВЛКСМ.



Поздно. Леонид спешит домой. Пересек Курляндскую. Скоро ли ее назовут именем Александра Косарева? Эту идею предложили он и старый коммунист Александр Павлович Ганцев. Собрали нужные бумаги, направили в горисполком.

Косарев в 20-е годы работал в их райкоме комсомола. И Леня, когда в 63-м был там секретарем, сидел в его кабинете. Ему казалось, что Косарев с портрета молча спрашивает: по большому ли счету живешь, парень?

А под портретом, на диване, картинно развалились мрачные юнцы. Оперативная группа, которую возглавил Леонид, потратила на них немало горячих часов — ничего не помогало. И тогда молодой секретарь райкома сказал:

— Хватит нянчиться. Поедьте на целинную стройку вместе со студентами. Но помните: там спуску не будет.

Не сразу, не по щучьему велению получилось перевоспитание. Но получилось. Сорванцы вернулись домой с твердыми мозолями и веселыми глазами.

...Леонид вышел на Фонтанку. Навстречу топала модница в красивых алых сапожках. Улыбнулся: наша работа... Задумались как-то в комитете, почему это боты с «Треугольника» покупают только на случай грязи? Задумались и записали в обязательства: «Разработать и внедрить в производство пять комсомольско-молодежных моделей обуви».

Главный инженер поддержал ребят, те съездили в Прибалтику, посмотрели, чем гордятся соседи. А потом и сами смогли похвастаться. Художественный совет одобрил эскизы. И когда полки магазинов заpestрили наимоднейшими сапожками, их создатели не смогли пробиться к прилавкам.

Человек идет по улице. Задержался у театральной афиши — что там нового у Товстоногова? Поддал носком ледышку — «зенитовцы» вроде ничего вступают в сезон». Улыбнулся встречным девчатам. И девчата ответили тем же. Потому что, честное слово, хорошо встретить такого человека и в жизни и даже просто так — на улице.

Лев СИДОРОВСКИЙ



ЛУННОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ

12 апреля 1961 года — это день, о котором вас будут расспрашивать внуки. В тот день, растолкав все сенсации мира, прервав хоралы, блюзы и мамбы, земной шар опоясала радиовесь: человек в космосе! Парень из Гжатска, Юрий Гагарин, вписал первую страницу в новый том истории человечества.

12 апреля стало Днем космонавтики. Это не внутринациональный праздник. Его отмечают на всех материках Земли.

Сегодня — пятилетие космической эры. Число космонавтов растет. Задачи усложняются. Наступает пора, когда в космос придут инженеры, ученые, рабочие — сотни, тысячи людей.

Освоение продолжается...

Можно вполне сносно прожить жизнь, не найдя ни себя, ни своего дела, — это знают по опыту многие.

Можно найти — с опозданием. И это многие знают. Наслаждаться человеку делами своими — доля его и счастье его. Так было сказано и записано людьми еще до начала нашего летосчисления. И это остается в силе.

Если говорить о цели жизни, то она одна: найти свое дело и делать его так, как никто, кроме тебя, не сделает.

Удастся это не каждому.

Вот почему только те, чья жизнь проходит под знаком осознанной цели и складывается как неизбежное осуществление некогда задуманных желаний, как вдохновенное самоутверждение, — только они вызывают восхищение; восхищение и простительную зависть...

Я хочу рассказать о человеке, который тридцать лет из сорока им прожитых идет по однажды намеренному пути; который болен Луной и хотел лететь в космос прежде, чем это сделал Гагарин; который устает отдыхая и отдыхает работая; который никак не может выкроить нескольких часов на партию в теннис.

Я расскажу о Константине Феоктистове, ученом и космонавте.

Отвергнутый кандидат

«После того, как будут решены социальные и политические проблемы, величайшей целью единого человеческого общества станет освоение космоса и распространение во Вселенной. Начало этому процессу уже положено»...

Эту запись в первой своей беседе с К. Феоктистовым я сделал полтора года назад.

Был ноябрь шестьдесят четвертого. Сочи, где отдыхала большая группа космонавтов, медленно по-

гружались в зимние дожди. Улицы были пустынные, никто не останавливался у винных ларьков, и большие банки маслин стояли нераскупоренными.

Корты размокли. Комаров перебирал жилы на ракетке, как струны потерявшей голос гитары. Дождь размыл грань между небом и землей, между землей и морем; еще немного, и он смыл бы навсегда лаковые магнолии и зябкую зелень акаций.

В гостиной за обширной, метр на метр, шахматной доской часами стоят Каманин и Феоктистов, передвига-
гая фунтовые фигуры.

— Победа ждет нас впереди, — говорит генерал, снимая ладью, похожую на табуретку.

— Похоже, — соглашается Феоктистов, снимая коня.

Льет дождь. Я рад ему: у меня есть время при-
смотреться к человеку, который волнует мое любо-
пытство все больше по мере того, как я наблюдаю за ним.

Незадолго до этого он в составе первого смешанного экипажа провел сутки в орбитальном полете вокруг Земли. Но причастность Феоктистова к космо-
су возникла раньше.

— Уже после полета Белки и Стрелки, — сказал он, — стало ясно, что в космос может лететь человек и что его, очевидно, не встретит там что-либо трагически непредвиденное.

Тогда Феоктистов — впрочем, не он один — предло-
жил свою кандидатуру для первого полета корабля с
человеком на борту. Предложение было отвергнуто.

Как соискатель звания «Космонавт № 1» Констан-
тин Феоктистов был весьма настойчив. Он доказы-
вал, убеждал и просил, но...

Но, в сущности, претендент, как ему ни хотелось
лететь, и сам прекрасно понимал, что первый косми-
ческий полет должен быть осуществлен человеком
идеального здоровья, неистраченных нервов и боль-
шого летного опыта. Этими качествами обладал Юрий
Гагарин. Ими, увы, не обладал Константин Феокти-
стов.

И он отступил.

Отступил, чтобы вернуться к начатому разговору через три года. Но прежде, чем рассказать об этом, я расскажу, как еще раньше этот человек услышал однажды зов Вселенной и как подчинил он этому зову всю свою жизнь...

Квадрат на полу

«Прошу направить меня добровольцем на фронт...»
(Из заявления К. П. Феоктистова на имя военного комиссара Юрова. 1942 год).

В семье воронежского бухгалтера Феоктистова было два сына. Спали они в одной комнате. Когда всходила Луна, на пол ложились вафельные квадраты лунного света. В аквариумном полумраке под мальчишеский шепот зрел от ночи к ночи план полета на Луну.

Репортер не романист. Надеюсь, меня не заподозрят в сюжетных подтасовках. Косте Феоктистову было десять лет, когда он одолел книгу «Межпланетные путешествия» и обвинил человечество в научной нелюбознательности. Ничем другим он не мог объяснить, что столь заманчивые и определенные идеи Циолковского еще не осуществлены. Эту задачу Костя скромно возложил на себя.

Люди разнообразны. Даниэль Дефо написал свой первый роман в 57 лет — это был «Робинзон Крузо». Вольфганг Моцарт уже в семь лет был автором четырех сонат... Младший сын бухгалтера Феоктистова не был вундеркиндом. Это явствовало хотя бы из того, что он намеревался взять с собой на Луну глобус и паяльник. Но этот парень в третьем классе, рассчитав годы предстоящей учебы, сказал, что полетит на Луну в 1964 году.

Многих из мальчишек, мечтавших о Луне, унесла война. Был убит старший брат Константина.

Летом сорок второго наши войска оставили Воронеж. Сначала Костя вместе с матерью уходил в толпе беженцев на восток. Потом пристал к какой-то воинской части. Ему повезло: он встретил Юрова, припомнившего парня, обивавшего с заявлением пороги военного комиссариата.

Седьмого июля Костя Феоктистов пересек линию фронта с разведзаданием. День спустя он вернулся и принес в часть первые сведения.

Пятое посещение «той стороны» едва не окончилось трагически: Костя получил пулю в упор от солдата в форме СС; к своим он добрался с простреленным горлом.

Мать нашла шестнадцатилетнего сына в армейском госпитале и увезла в Среднюю Азию, в Коканд.

Братъ барьеры

«— Я хочу уйти из Бауманского училища в авиационный институт.

— Почему?

— Я ошибся адресом. Авиация — это небо, а оно ближе к космосу, чем земля. Авиация — это скорость; на смену самолетам должны прийти ракеты...

— А вы знаете, Феоктистов, что авиационный институт ведет свое происхождение от нашего училища? Нет, вы не ошиблись адресом...»

(Разговор студента Феоктистова с ректором училища. 1944 год).

Студент Феоктистов посещал лекции нерегулярно. Война еще не кончилась, была карточная система, с прогульщиками не церемонились: против их имен возникало короткое «зад», что значило — задержать дополнительное питание.

Студент Феоктистов не был лодырем. Он посещал лекции выборочно, потому что одни предметы интересовали его больше других. Лунное притяжение не отпускало его. Он откладывал в сторону Достоевского, отдавал приятелю билет в кино, проходил мимо спортивного зала. Он научился отказывать себе во всем, что могло задержать его в пути... Он спешил.

Когда рядом с его фамилией ставилось очередное «зад», он рекомендовал преподавателю заменить его греческой омегой — короче, мол, и знак вполне символический.

Шутил он нередко на голодный желудок.

...Потом он работал инженером на одном из заводов. Не было кибернетики, ракет, скафандров. Был план, качество, воскресники. Были будни. Лунные сны все реже тревожили покой инженера.

Но вот пришел вызов в аспирантуру. Феоктистов берет очередной отпуск и едет сдавать экзамены. Он принят. Дирекция завода, как ни жаль ей расставаться с молодым инженером, отпускает его.

Можно назвать несколько острых моментов в биографии Феоктистова, когда, кажется, лишь случайность помогала ему не сбиться с «космического» маршрута. Но этих случайностей слишком много, чтобы не возникала мысль о закономерности.

Друзья писали Феоктистову, когда что-нибудь стопорило его стремление к цели: «Не грусти: звезды тебя дождутся...» Но ученый не хотел заставлять звезды ждать.

Он повторял себе: под лежащий камень вода не течет — и брал очередное препятствие... За мечтой не бредут, а бегут, и бег этот чаще всего барьерный.

«Я открыл дверь...»

«— Космонавт рискует в полете своей жизнью, потому что никогда невозможно предусмотреть все случайности. Ученые и инженеры рискуют работой, которая имеет общечеловеческое значение. Любая трагическая неудача отбросила бы работу назад: появилась бы сверхосторожность. Так, в свое время гибель экипажа Леваневского затормозила темпы освоения трансполярного авиасообщения между СССР и США. Что касается меня, я ставлю моральный риск выше физического...»

(К. Феоктистов — в разговоре).

Феоктистова спросили после приземления «Восхода»: что более всего эмоционально потрясло его в космосе?

— Ничто.

— А звезды, горизонт, невесомость?..

— Я «видел» это до того, как увидел. Я знал, как это будет.

А спустя несколько дней я слушал увлеченный рассказ Феоктистова о южном полярном сиянии, виденном им в космосе, о стокилометровых желтых столбах света, застывших в холодном безмолвии, словно небесный пожар был схвачен антарктическими льдами, о золотой короне планеты. Он говорил, как художник.

Противоречие? Пожалуй. Меньше всего мне хоте-

лось бы говорить о Феокистове как о «цельнометаллической» натуре, которой неведомы противоречия, сомнения, слабости. Таких натур не бывает. Их придумывают.

Академик Ландау как-то сказал, что рюмка вина лишает его возможности абстрактно мыслить на два месяца. Он пришел к этому отнюдь не умоглядным образом. Ну и что?

А другой человек, тоже знаменитый, попросил меня не упоминать в очерке о нем, сколько пачек сигарет он выкуривает за день. Я, правда, и не намеревался этого делать, но не удержался и спросил: почему?

— Это будет непедагогично по отношению к молодежи, — сказал знаменитый человек.

Он, очевидно, считал верхом педагогичности сдуть все пылинки с собственного облика. Мне же казалось, что у любого школьника хватит ума судить о человеке не по количеству выкуриваемых им сигарет...

Феокистов в быту чрезвычайно естественен. Он не любит высоких фраз, красивых оборотов. В разговоре, в манере держаться он одинаков и у себя дома, и в гостях, и на официальных приемах.

Он ироничен. Показуху, парадность называет «сложноводством». Я не понял. «Ну, по улицам слона водили...» — пояснил Феокистов.

Поэтому ему показалась забавной возникшая после полета «проблема»: в чем шагать по красной триумфальной дорожке, которая ложится на бетон Внуковского аэродрома в день встречи космонавтов? Феокистов рассматривает свое не первой свежести пальто, помнящую шляпу: неловко вроде... И вот из Москвы высылаются срочно приобретенные пальто для Егорова и Феокистова, а в местном сельпо покупаются твердые новые шляпы...

Не то, чтобы ученый не любил или не мог хорошо одеться, — просто у людей его склада это часто уходит за пределы внимания.

О полете «Восхода» в свое время писали много. Константин Феокистов рассматривает его как прелюдию к своим будущим полетам. Он сказал мне:

— Полет «Восхода-1» открыл для меня дверь в космос, и я надеюсь войти в нее снова для серьезных и длительных исследований.

Не глядя на часы

Время уходит незаметно. Секунды молча покидают вас, и даже закончившийся день не оповещает криком о своей кончине.

Утром, умываясь, вдруг обращаешь внимание, что от мыла остался обмылок, — значит, прошла неделя. Однажды, наливая чайник водой, видишь, что изнутри он оброс солями, — значит, миновал год. И как-нибудь взяв с полки томик некогда славных стихов, не находишь в них ни прелести, ни остроты. И тогда вспоминаешь, что стихи эти вышли лет десять назад, и эти десять лет оказались сильнее их эфемерных достоинств...

Мелочи быта вопиют к тем, кто транжирит время. Жизнь отмечает тех, кто умеет им дорожить.

Феокистов мерит время количеством шагов, сделанных к цели. Не в пример очень многим он возвращает отдыху его первоначальную функцию: способствовать работе. Он томится избыточным отдыхом: зачем тридцать дней, когда достаточно трех? Зачем три дня, когда хватает трех часов?

Музеи утомляют его, и он признается, что его мало волнуют живопись, скульптура. Напротив, книги освежают его, помогают работе — и он говорит о своей любви к литературе.

Это очень хорошо — спорт. Но не случайно Феокистов предпочитает игровые виды. Элемент азарта быстрее рассасывает нервное напряжение — неизбежный результат интенсивной работы.

Журналисты поспешно и, очевидно, по инерции представили Феокистова спортсменом. Мягко говоря, это не так. В шахматы он играет, по-моему, в силу четвертого разряда, то есть как каждые два пассажира в четырехместном купе поезда дальнего следования. Теннисной ракеткой он владеет еще довольно неуверенно — это я говорю, как его нечастый партнер по игре. С парашютом Феокистов прыгал только однажды в жизни. Трицепсы не играют буграми под его кожей; динамометрия кистей рук — 42 и 38 килограммов. Немного.

Я отнюдь не «развешиваю» космонавта. Скорее даже наоборот: венчаю его новым лавром. Потому что люди, сталкиваясь со всякой уникальностью, «суперменством», говорят: ну, это особая статья... Феокистов же физически человек обычный, рядовой, и эта его симпатичная черта роднит космонавта с обыкновенными людьми. Когда ученый говорит, что в космос (не в качестве пилота) может лететь практически всякий, — ему веришь...

Речь, однако, шла о времени. Феокистов экономит его во всем и повсюду. Он очень интересный собеседник, но если разговор не волнует его как развлечение или как гимнастика для ума, — Феокистов внутренне «уходит» от своего собеседника, и тот вдруг с очевидной ясностью убеждается в банальности мыслей и сам прекращает ненужный обмен словами. Очень вежливый, Феокистов не ставит точку по собственной инициативе, во всяком случае, с малознакомыми людьми.

Я мало встречал людей, которые следят за уходящим временем не по часам — они словно прислушиваются к самим себе, к некоему метроному, спрятанному внутри. Это — завидное качество. Без него Феокистов не стал бы Феокистовым.

Я спросил как-то: вы волновались во время полета?

— Нам было некогда волноваться, — сказал Феокистов. — Мы думали не о том, чтобы вернуться на землю, а о том, чтобы вернуться не с пустыми руками.

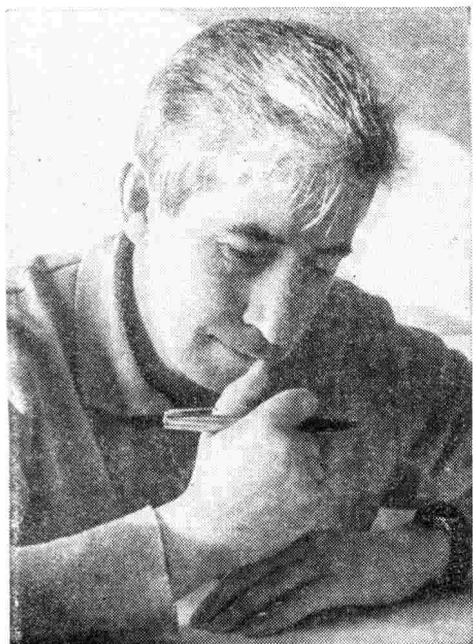
Ему не хватает времени и на земле, и в космосе.

Оправдание жизни

Если цель жизни — счастье, то что вы считаете счастьем?

— Правильно избранную цель, — ответил Феокистов. — Жизнь — это роскошный подарок природы, его нужно оправдать. Перед каждым человеком встает альтернатива: просто обеспечить свое существование или считать, что ты создан для чего-то большего. Естественный выход — стать на путь творчества, занять позицию самоутверждения. Один пишет свое имя на скале, другой — романы. Импульс в основе того и другого одинаковый, различны пути и результаты.

Я вспоминаю место из Ильфа и Петрова, где они пишут о большом и малом мире. В большом изобретен дизель, в маленьком — детская игрушка «уйди-



Долгие часы за работой.



Разобрать ежедневную почту можно подчас лишь с помощью жены.



Ход конем: трепещи, противник...



В гостях у пионеров.
Детство космонавта было не столь безоблачным.

уйди». К этому можно добавить, что на пушкинские стихи «Я помню чудное мгновенье» и песенку «Ландыши» было затрачено, наверное, приблизительно одинаковое время...

От вопроса о цели жизни я перехожу к вопросу о цели и путях освоения космоса. Мы не всегда обладаем достаточной силой перспективного мышления. Те, кто слушал грозоотметчик Александра Попова, вряд ли представлял себе эфир спустя полвека, наполненный голосами тысяч радиостанций.

Свидетели спутников и первых орбитальных космических полетов, мы смутно еще различаем, что принесут эти возможности людям сегодня, завтра, через годы.

Феоктистов по этому поводу говорит:

— Реализация сложных программ создания космических ракет-носителей, автоматических космических станций и кораблей ведет к бурному развитию наиболее прогрессивных отраслей науки и техники — кибернетики, физики, биологии и медицины, радиотехники, аэродинамики гиперзвуковых скоростей. Причем результаты этого развития сказываются и в обычной «земной» жизни, в отраслях, обеспечивающих общий технический прогресс и повышение материального уровня человечества.

Некоторые успехи космической техники уже сейчас непосредственно входят в обиход хозяйственной и культурной деятельности людей. Спутники-ретрансляторы раздвигают возможности планетной связи и телевидения. Навигационные спутники повышают надежность морского судоходства. Метеорологические спутники позволяют в большой мере избежать ошибок в прогнозах погоды в разных районах Земли.

Однако следует сказать, что даже самые крупные научные открытия не приносят отдачи в виде материальных благ моментально, сию минуту.

Сейчас идет скорее разведка, чем прямое освоение космоса. Еще впереди создание средств для досконального изучения условий и опасностей, ожидающих человека во Вселенной. Я имею в виду солнечные вспышки и проблему защиты от смертоносного излучения, пылевые облака и метеоритные рои, влияние длительной невесомости на организм человека и другие особенности, связанные с путешествием за пределы Земли.

Еще впереди массовое создание средств для изучения планет, их поверхности и их недр, их атмосферы, радиационных и магнитных полей.

Наконец, еще впереди создание космических кораблей, которые сделают возможными многолетние путешествия к планетам; оснащение этих кораблей сверхдальней связью, навигационными приборами; обеспечение экипажа кислородом, пищей и водой при жестких весовых ограничениях...

Нельзя «закрывать космос»

Быть может, мир ошибся и начал штурмовать космос преждевременно? Быть может, расход энергии и средств нецелесообразен, если средства тратятся сейчас, а жить в космосе люди будут лишь через сотни лет? Быть может, разумнее прежде всего благоустроить повсеместно жизнь на Земле, а космос подождет?..

98 — Но, во-первых, — отвечает на эти сомнения Феоктистов, — в принципе нельзя открыть дверь в новую сферу жизнедеятельности и тут же захлопнуть ее

даже по соображениям экономии средств. Это процесс необратимый: если есть технические возможности для проникновения во Вселенную, их нельзя не использовать.

Во-вторых, явное заблуждение — противопоставлять работы по исследованию космоса усилиям людей повысить свой жизненный уровень. Это разные стороны общечеловеческого прогресса, не противоречащие друг другу.

В-третьих, в основе стремления во Вселенную лежат как субъективные, присущие человеку качества (творческий импульс, стремление познать непознанное, неумение удержаться от соблазна мыслить), так и объективные причины демографического и социального характера, разобраться в которых труднее...

— Это личная моя точка зрения, — продолжает Константин Феоктистов. — Я легко представляю себе времена, когда население земного шара достигнет такой плотности, что материки превратятся, в сущности, в один сплошной город типа Москвы или Нью-Йорка. Человечеству станет физически тесно. Освоение значительных космических пространств приобретет чисто практическое значение. С космосом связано будущее распространение человечества, которое не может ограничиться своей планетой, даже если бы оно до поры до времени и не осознавало этого. Последняя мысль высказывалась и Циолковским.

Но еще раньше люди почувствовали бы духовное стеснение. Избыток энергии в замкнутом обществе, не находящий рационального выхода, ведет к застою и регрессу. Человечество нуждается в великих целях, мобилизующих его духовную и физическую энергию.

В силу несовершенства старых социальных формаций эта энергия в огромной своей части уходила на войны. За последние пять тысяч лет своей истории человечество прожило в мире всего три века. Пятнадцать тысяч больших и малых войн стоили ему миллиардов жизней и многих сотен триллионов рублей. Эпоха подобного варварства не может длиться вечно.

Завоевание Вселенной — вот цель, действительно достойная Человека.

Мир чудакам и энтузиастам

Как-то я брал у Феоктистова интервью для одного американского журнала. Основной вопрос, варьирующийся на все лады, был: построено ли что-нибудь по рисункам или чертежам Циолковского?

— Циолковский не работал над ракетами как инженер. Он слишком опережал свое время и существовавшие тогда технические возможности, — сказал Феоктистов. — Он выступал как производитель идей, переводя их из плана чистой фантастики в духе Жюль Верна в план потенциально осуществимой и вполне реальной научной задачи.

Циолковский предложил создать искусственный спутник Земли как первый шаг к освоению межпланетного пространства — это сделано.

Он предложил управляемую ракету и обосновал возможность получения космических скоростей полета — это сделано.

Он предложил идею составных ракет для достижения космических скоростей — эта идея претворена в жизнь.

Он исследовал условия полета в среде без тяготения, определил угол подъема ракеты, изучил атмосферные условия для торможения при спуске — все

эти исследования легли в основу развивающегося космоплавания.

Я испытываю глубокое восхищение перед этим ученым, мечтателем и прожектором из глухой провинции. Конечно, он был в чем-то чудак с забавными и неожиданными странностями: построил какой-то сложный агрегат для шинкования капусты, конструировал ножную пишущую машинку, слушал голоса «ангелов»...

Но это не умаляет Циолковского. Он обладал могучей и научно оправданной верой в осуществимость и неизбежность вторжения человека в космическое пространство, и эта убежденность увлекала других. Главная миссия Циолковского, по моему мнению, в том, что он был и остается великим агитатором великой идеи.

Уже поколение, родившееся в начале нашего века, приступило к тому, чтобы облечь мысли Циолковского в металл, а его предвидениям придать убедительность факта. В первой стадии это был процесс стихийный, неорганизованный. Как уже не раз случалось в истории науки, у истоков нового дела стояли чудачки и энтузиасты.

Одним из таких энтузиастов был Сергей Королев, впоследствии академик и крупнейший конструктор искусственных спутников и космических кораблей, скончавшийся в январе этого года.

Интервью длиной в полтора года

Я взял первую беседу у Константина Петровича в ноябре 1964 года. С тех пор я так и не исчерпал своих вопросов: интервью стало перманентным.

— Какие книги, каких писателей вы предпочитаете?

— Я люблю книги, которые обязывают размышлять. Они не часто мне попадают. Очевидно, я неважно ориентируюсь в современной литературе. Порой, прочтя страниц пятьдесят, вижу, что даром теряю время на эту книгу, но жаль уже потерянного времени, и тогда дочитываю ее до конца, отчего досада лишь увеличивается.

Люблю сатириков — от мрачноватого Щедрина до неувядающих Ильфа и Петрова и недавно прочтенного мною Булгакова.

...Еще мальчишкой я узнал, что такое война. Ценю книги, воспитывающие отвращение к насилию. В том, что американские парни совершают сейчас во Вьетнаме, повинна в какой-то мере антигуманистическая литература, которая раскрашивает войну в заманчивые рекламные краски. Скверно, когда они думают, что это дело для настоящих мужчин. Рано или поздно они поймут, что их обманули.

— Что вы считаете самым важным в художественном произведении?

— Правдивость и насыщенность мыслью. Дело давнее, но я вспоминаю вызвавшую когда-то споры картину Николова «Геологи». Я сам ломал вокруг нее копы с Алексеем Леоновым. На мой взгляд, это вполне реалистическая картина, с мыслью, с четким содержанием: романтика тяжелого труда. Быть геологом — значит много работать, мало отдыхать, носить груз, натирать мозоли. Это не расхолаживание, это правда. Правда умных не отпугивает.

Вообще всякая попытка навязать заведомое мнение вызывает сопротивление. Новое нельзя создавать на помочах ни в технике, ни в искусстве. Авторитеты нужны вовсе не для того, чтобы охлаждать пыл самостоятельного мышления. Без осмысления и переосмысления не будет движения вперед.

— Что вы думаете о роли машин в наше время?

— Думаю, что с каждым годом их роль в хозяйственном управлении будет быстро возрастать. Расчетная область, всегда считавшаяся привилегией человека, уже отдана в руки машин. Это первый признак, что важнейшие функции интеллекта мы постепенно передаем машинам. За человеком пока остается область творчества. «Осмысливание» образов автоматами идет медленнее, но уже ясно, что оно не только возможно, но и неизбежно. Со временем будет создан, очевидно, механический мозг, более выносливый и долговечный, чем органический.

— Скажите, ученые бывают суеверны?

— Я могу говорить о тех, кого знаю. Я бы сказал, что мы суеверны наоборот. Мы помним приметы, чтобы постоянно их нарушать. «Восход-1», как известно, был запущен в понедельник, в «день тяжелый». Порой мы возвращаемся с пути — назло примете. Удачное решение одной сложной проблемы мне пришлось в голову, когда дорогу мне перешла женщина с пустыми ведрами. Я это запомнил.

— Какие люди вам нравятся и какие нет?

— Я люблю самых разных людей, за исключением уголовников, милитаристов и тех, кто живет чужим трудом. Я не люблю людей, придерживающихся в жизни принципа «держаться и не пущать». Это самое простое, но и самое вредное в жизни.

— Что вы думаете о своей славе?

— Что я получил не причитающуюся мне долю и в долгу у нескольких тысяч людей, вложивших в полет «Восхода» не меньше меня. К сожалению, сущность известности в том и состоит, что ею пользуются немногие, а большинство остается за пределами популярности. Нужно только не забывать, что ты концентрируешь на себе внимание, которое должно быть отдано многим тысячам. Володя Комаров хорошо как-то сказал, что мы получили медали «За освоение целины», хотя наше участие ограничилось тем, что «Восход» «вспахал» шесть сантиметров поля. Вот вам капризы успеха.



— Вы уверены, что побываете на Луне?

Этот вопрос я задал совсем недавно, в день сорокалетия Константина Петровича. Мы стояли у окна, выходящего на проспект Мира. Ртутные лампы фонарей тщетно боролись с наступавшей ночью. Луна еще не восходила.

— Я попытаюсь до нее добраться. Полет на «Восходе» для меня лично существенный шаг на этом пути. Но я прекрасно понимаю, что с каждым годом количество желающих будет расти, чего не скажешь столь уверенно о моих шансах...

Прямо перед окном уходил в небо освещенный прожекторами обелиск, поставленный завоевателям космоса. Звезды медленно кружились вокруг этой облицованной титаном стрелы, направленной в мир, который еще предстоит обжить людям с Земли.

Космическое Узморье

Было Узморье, село на Саратовщине, обычным земным селом, но пять лет назад приземлился между Узморьем и соседней Смеловкой Юрий Гагарин, и пошла здешняя жизнь по космическому исчислению. Здесь своя история космоса, и, кажется, никто до меня не пытался ее записать.

Должен сразу предупредить, что единой, общезуморской оценки происшедшего нет. Взять хотя бы вопрос самый начальный: ожидалось ли в Узморье приземление первого космонавта?

Старший киномеханик колхоза Рубан Петр Семенович свидетельствует:

— Когда мы фундамент нового Дома культуры размечать начали, в это время сообщает радио, что первый космонавт включил тормозную аппаратуру. И в это время получился над головой у нас взрыв. В облаках — не в облаках, в общем, в воздухе мы ничего не заметили. Потом появилось что-то, но на очень большой высоте. Ну, значит, мы посмотрели, но не обратили внимания. И сами, значит, начали продолжать работу. Не подумали, что космонавт приземляется.

Но тут же — мы беседовали с Рубаном в правлении колхоза — были высказаны и совершенно иные мнения:

— Нет, подумать, конечно, подумали, потому что народ весь был на воле: и на плантациях многие работали и на огородах у себя лично. Подумали о чем? Что за взрыв? Или Пауэрса, как говорят, поймали еще одного, понимаете? Вот в таком духе.

— Подумали: это космонавт. У всех мысль была: это космонавт. И все работу приостановили не только, как говорится, в общественном, но и в личном хозяйстве. И все бросились узнать, как космонавт приземлился.

— Как раз по радио сообщили, что запущен спутник с человеком на борту, который, понимаете, в спутнике нажимает на тормоза и приземляется начинаем.

— Не спутник, а космический корабль!

— Ну да, спутник...

— Корабль с космонавтом, еще раз повторяю!

— Ну да, я побег, запряг лошадь, и мы с председателем селпо Абраменко помчались в галоп. Выскочили на бугор — смотрим, корабль. Мы хотели увидеть Гагарина, но немножко не доехали, как его взяла машина и повезла.

— Правильно, вот и мы с Ефимычем тоже...

Рубан, однако, остался стоять на своем. Он считает: как можно было подумать, что это космонавт приземляется, если еще недавно радио передавало:

«Гагарин, пролетая над Африкой...» Рубан бросил работу и перестал фундамент под клуб размечать лишь после того, как около правления колхоза началось оживление...

— Потому что туда позвонили из области и спросили: «У вас что-нибудь замечается?» Председатель колхоза сказал, что замечается, и тогда-то ему сообщили: это — приземление первого в мире космонавта Гагарина. После того и мы все узнали...

Многие видели, как опускался Гагарин, но встретить его успели лишь трактористы, которые близ того поля работали, где космонавт приземлился. Трактористы ходят в Узморье в главных историках. А самый главный из главных — учетчик бригады Руденко Иван Кузьмич, который и факты изложит складно и даст им оценку грамотную, политическую. А еще есть некий шофер, который ходит в изгоях, потому что в то утро, 12 апреля, сколько трактористы его ни просили, к месту приземления их не повез, говоря, что спешит семена подвозить к сеялкам. Ему до сих пор не простили той неразумности: лишь по его вине не был Гагарин доставлен в правление — для первой связи с Москвой, а также для местной истории.

Самый лучший разговор у меня получился со старым бригадиром трактористов Казаченко Василием Ивановичем:

— Отработал на тракторе смену, захожу в общажитие. Передают, что Юрий Алексеевич Гагарин над Южной Америкой, вот... Ну, прослушали мы это известие, и, значит, ложусь я спать. Только лег, слушаю — взрыв. Выскакиваем мы: в чем дело, что за взрыв? Кругом смотрим, нет ничего. Потом смотрим: что-то большое, в виде котла такого в небе висит. Значит, смотрим. Кто залез на крышу, а кто, значит, так. Да. А может, это Гагарин? Тут нас стояло человек двадцать. Мы, шестеро, пошли. Остальные все не пошли. Значит, пошли мы, шестеро. А его все дальше и дальше сносит, за грань за нашу. Тут склон, овражек, и уже не видать нам за ним ничего. Когда с овражка поднялись, видим, так метров пятьдесят от нас, идет Гагарин. С этой, с Тахтаровой. Она с девчонкой. Идут, разговаривают...

(Тут я должен прервать Василия Ивановича и в скобках напомнить читателям слова Гагарина о женщине в платочке и о маленькой девочке как о первых землянах, которые его встретили. И хотя женщина эта, жена лесника Анна Акимовна Тахтарова, и ее внучка Рита встретили Гагарина не на земле колхоза имени Шевченко, что в Узморье, а на земле соседнего колхоза «Ленинский путь», но во имя

истории и при этом не покушаясь на роль Узморья в истории космоса я разыскал все же семью Тахтаровой, которая живет сейчас в Энгельсе. Поскольку Анна Акимовна была больна, я взял интервью у ее внучки Риты. Сейчас она учится в третьем классе, а в то апрельское утро, когда она сказала бабушке по-татарски: «Смотри, чего-то летит!» — Рите было неполных шесть лет. Что же запомнила Рита?

— Мы с бабушкой ходили сажать картошку. Я носила картошку, а бабушка сажала ее. Потом прибежала корова.

— Какая корова?

— Звездочка прибежала и начала есть картошку. Я больше ничего не знаю.

— А кого ты видела?

— Гагарина. Бабушка звала его молока попить, а он не хотел.

— Разве ты знала тогда, что это космонавт Гагарин?

— Нет.

— Когда стала старше, узнала?

— Да.

— Ты испугалась Гагарина?

— Да. Бабушка тоже испугалась. На деревьях были ласточки. Они тоже испугались, когда Гагарин прилетел.

— Так, значит, Звездочка начала есть картошку, да?..

— Да, она прибежала, начала есть картошку, а я отогнала ее и смотрю, как бабушка с Гагариным разговаривает. Потом бабушка расстегнула ему пуговицы. Он был в черных перчатках.

— А кто первый увидел Гагарина, ты или бабушка?

— Я в ведре носила картошку, а бабушка сажала. Потом я увидела, как он летит, и говорю бабушке: «Смотри, чего-то летит!» Она поглядела, он летел прямо на наш огород. Бабушка испугалась. Мы с ней взяли ведро и отбежали. Потом он кричит: «Мамаша, куда вы бежите? Свои!» Бабушка остановилась, посмотрела на него и побежала к нему, разговаривать с ним начала. Я тоже побежала за ней.

— И тоже с Гагариным разговаривала?

— Он спросил: как тебя зовут? Я говорю: Рита. Потом я испугалась и убежала домой.

Рита побежала домой, а ее бабушка сказала Гагарину, что, если он лошадь запрячь сможет, она отвезет его до телефона. Гагарин засмеялся и тут увидел шестерых трактористов.)

— Гагарин глянул, — продолжает рассказ Казаченко, — народ появился возле: ага, тут, значит, мне помощь дадут. Оборачивается и с этой Тахтаровой идет сюда. Близко, метров на пять подходит. Видим, пожарная каска на нем, скафандр. Ну, значит, подходит и: «Разрешите представиться, первый в мире космонавт Юрий Алексеевич Гагарин». Ну, у нас все затряслось. Да как же это так! А он Руденко Кузьмичу руку, а тот говорит: Иван Кузьмич. Вторым я стою. Я растерялся, да, и вот он руку держит, мне нужно сказать свои инициалы, а я не могу. Он говорит: «Что вы, отец, так волнуетесь?» «Юрий Алексеевич, говорю, как же не волноваться? Пятнадцать минут, как мы вас слушали над Южной Америкой, и вдруг мы с вами сейчас». А сам плачу, и радостно так мне, и слезы у меня, не выговорю инициала никак. Держу его, значит, за руку, а он говорит, что при такой технике все может быть, да, батя. Ну и спрашивает: «Как вы сюда попали?» «А мы тут, значит, сеем». «Ах, сеете, вот хорошо, — он говорит, — вы сумеете, значит, помочь мне быстрее связаться с Москвой». А затем просит: «Помогите мне раздеться». Рядом со мной стоял Алексей Верева. Он на-



12 апреля 1961 года.

чал одну руку расшнуровывать, скафандр на шнурке, как вот ботинки, ну а я начал вторую руку. Вдруг появляется машина по оврагу, подъезжает, и старший лейтенант сразу подскакивает: «А, Юрий Алексеевич, здравствуйте, здравствуйте!» Обнялись, значит, да. И вот они обнялись с этим лейтенантом, то есть с этим майором, и тот говорит: «Ну, как самочувствие?» Гагарин говорит: «Ничего. Как мне быстрее с Москвой связаться?» Сели они в кабину и поехали...

Гагарин вскоре вернется на место своего приземления, и Казаченко еще увидит первого космонавта. А пока я хочу дать слово Мишанину Анатолию Семеновичу, которого в Узморье называют «космонавтом № 2». Будучи большим знатоком всяческих механизмов, Мишанин сильно заинтересовался космическим кораблем Гагарина.

— Подъезжаю я к кораблю на своем мотоцикле, а потом Петр Иванович Серегин, председатель райисполкома нашего, подъезжает. «Ты, Мишанин, здесь?» Я говорю: здесь. «Ну, в общем, — говорит, — ты давай охраняй, а я поеду сообщать». Охраняю; посмотрел — гудит, шумит, да. Я, значит, нахожу ключ, открываю скважину, там горит электричество, приборы все светятся. Я залезаю, значит, туда, залезаю и начинаю опробовать механизмы, как они работают: доброкачественно или недоброкачественно... Ну вот, потом я нашел в корабле такие отделен-



6 января 1965 года.

ния, в которых было кушанье: пюре мясное, шоколадный соус, малиновый соус, крыжовниковый соус, и яблочки были, хлебцы были. Ну, хлебцы были, как вот спичечная коробка, только пополам, конечно. Маленькие такие... Я это, конечно, попробовал: аппетитно, сытно. А один тюбик шоколадного соуса даже привез до дому. Я взял тюбик не для того, чтобы скушать, а как реликвию хотел содержать его. Тюбики все небольшие были, вместимостью грамм сто—сто пятьдесят примерно, и заворачивались гайкой. Я, когда привез тюбик-то до дому, дал шоколадный соус дочке Ире попробовать. Дочка Ира попробовала: «Ой, папка, вкусно». И по всей улице угощала детвору: «Попробуйте, папка от Гагарина гостинец привез!» Не сохранил я этот соус как реликвию. Да и сам тюбик кто-то из детворы унес... Так вот, опробываю я это, значит, контейнер (Мишанин, как и многие его односельчане, называет космический корабль также контейнером.— Ю. З.), и тут опять подъезжает Серегин Петр Иванович: «Ну как, Мишанин?» Я говорю: в порядке. Я говорю: Петр Иванович, тут на целый месяц покушать можно. Я говорю: очень все вкусное, съедобное. Затем прилетел Алексей Иванович Шибаев, секретарь обкома партии наш. Ну и спрашивает: «Мишанин, как, ты уже побывал в контейнере?» Я говорю: был, Алексей Иванович, но там все в порядке, я могу рассказать, где что находится. А военные уже подъехали, огораживать начали. Один майор, правда, на меня закричал: «Какого, дескать, ты черта лазаешь, где тебе не положено?» А я ему солдатски: на фронте пять лет был, не убили, а здесь как-нибудь, говорю... А майор: «А если бы взорвался?» А я говорю, что нет, взорваться мы не взорвались бы...

Мишанин сказал, вылезая из корабля с шоколадным соусом: «Я космонавт № 2». И по сей день слышит в Узморье «вторым космонавтом».

Рассказ о событии, знаменательном в истории Узморья, а также всей нашей планеты, Василий Иванович Казаченко завершает так:

— Смотрим, уже отсюда бежит народ и отсюда. А Гагарин возвратился на вертолете, вышел, направился к нам идти, но военный врач сказал что-то, и усадили его в вертолет, и полетел вертолет. Да... Шел я домой по селу, наверное, часа четыре, хоть мне до дому пятнадцать минут, как в село вошел. Рассказывал каждому как было и не мог дойти. Говорю, шел часа четыре домой. Никак не дойду. Домой пришел, и опять говорят: «Ну, рассказывай». Да, говорю, отработал тридцать один год на тракторах, а на тридцать втором все ж таки счастье такое у меня получилось...

И пошла с того дня жизнь Василия Ивановича Казаченко, как и вся здешняя жизнь, по космическому исчислению. В годовщину со дня Гагарина все село вышло

в поле, а на то место приземлялись парашютисты. Приземляться на то место — одно удовольствие, еще Гагарин сказал...

— Еще Гагарин сказал: хорошая у вас местность, — вспоминает Руденко Иван Кузьмич. — Ну, правда, местность очень хорошая. Проходит овраг, лесопосадка, возле оврага тоже деревья кругом посажены, и характерно, что в день его приземления там хороший такой кустарник рос, к тому же это дело было 12 апреля, и как раз уже посевная шла, и очень хорошая такая местность была.

На этой местности теперь стоит монумент, чуть поменьше московского, но, конечно, не хуже...

А 6 января прошлого года Узморье вновь встречало Гагарина, познакомилось с его женой Валентиной.

Жена тоже очень понравилась.

Эта вторичная встреча — история совершенно отдельная. Приведу ее лишь в коротких выдержках:

— Он теперь наш, окончательно наш. Председатель вручил ему трудовую книжку!

— Он сказал, правда, постоянно работать у нас не могу, у нас много сейчас своей работы...

— Нет, он сказал, участвовать в труде сильно не могу, но, как член колхоза, я целиком и полностью...

— Он выступал у нас в Доме культуры, а после этого у председателя на квартире было устроено угощение небольшое.

— Все было на столе: курицу жарили, торт приготовили, мед поставили. А он самовар попросил, попросил картошки, и все картошку в шинели ели. И Юрию Алексеевичу и Вале очень у нас понравилось.

Я спросил Руденко:

— А что бы вы пожелать хотели члену колхоза имени Шевченко и космонавту Гагарину по случаю пятилетия того приземления?

— Понятно, пожелать еще лучших успехов и, может быть, если понадобится, он должен слетать на Луну тоже!



«ОСТОРОЖНО, ВАРЕНЬЕ!»

В отделе редких книг Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина хранится уникальное издание книги: «Экономическое учение Карла Маркса. Популярное изложение Карла Каутского»¹. Она издана в России в 1897 году литографским способом. Как известно, книга Каутского была в рукописи просмотрена Энгельсом. Изданная на различных языках, она многих приобщила к основам марксистской теории.

В царской России книга Каутского была запрещена. В 1897 году издатель Ф. Ф. Павленков было напечатал ее, приспособив к цензуре: имя Маркса не упоминалось, автор был скрыт под псевдонимом «Норден». Но провести цензуру не удалось, книгу в свет не выпустили. Революционеры печатали и распространяли ее нелегально. А кто же печатал издание, хранящееся в Библиотеке имени В. И. Ленина? Естественно, что ни место печатания, ни имена издателей здесь не указаны. Лишь на обложке проставлена круглая печать с отчетливой надписью: «Лига разума и справедливости»...

Первые сведения об этом издании удалось найти в «Обзоре важнейших дознаний, производившихся в жандармских управлениях за 1897 год». Из «Обзора» следовало, что в 1897 году при обысках в Москве, Харькове и городе Орлове, Вятской губернии, жандармы находили книгу Каутского и «Экономическое положение женщины» К. Цеткин с той же самой печатью.

По ходу следствия жандармы заинтересовались харьковскими студентами-технологами. И в издании нелегальной литературы был прежде всего обвинен студент Аркадий Кузнецов, незадолго до того получивший наследство после смерти отца. Кузнецов не стал отрицать и заявил, что издание было задумано им единолично, осуществлено на его средства. Что касается «Лиги разума и справедливости», то она никогда не существовала, он придумал это название.

В 1924 году в журнале «Летопись революции» участник «пред-

приятия» Владимир Ксандров рассказал о том, что так и не удалось узнать жандармам, как же действительно харьковские студенты стали издавать нелегальную марксистскую литературу.

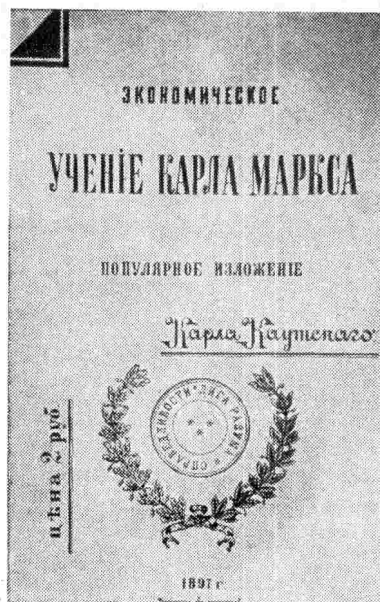
В 1896 году студенты 1-го и 2-го курсов Харьковского технологи-

сложившимися революционерами. Но наиболее активные из них стремились перейти от самообразования к революционной деятельности. Тогда-то и было решено заняться нелегальным изданием марксистской литературы. Достали рукописи произведений К. Каутского и К. Цеткин, а деньги на издание дал А. Кузнецов. Ксандров, который получил разрешение на литографирование лекций, вместе с рукописями по физике передавал в литографию отдельные листы книг К. Каутского и К. Цеткин. Книги были напечатаны очень значительным для нелегального издания тиражом — 1 000 экземпляров. Кузнецов, большой любитель книг, непременно хотел, чтобы издания были хорошо оформлены и на обложке стояла печать какой-либо организации. О названии ее долго и бурно спорили. Кузнецов решительно возражал против названия, носящего социал-демократический характер (высланный на родину, в город Орлов, он впоследствии отошел от революционного движения). Его товарищи, которые больше были заинтересованы в успехе дела, чем в форме, уступили ему. Напечатанные книги частично распространили в Харькове, а большую часть в плотно сбитых ящиках с надписью «Осторожно, варенье!» отправили в Петербург, Москву, Киев, Одессу, где их распространили местные социал-демократические организации.

В охране даже решили, что книги изданы на средства Московского рабочего союза, — так широко и активно распространяли их московские социал-демократы. Среди распространителей этих изданий был Дмитрий Ульянов, в то время студент Московского университета.

По окончании следствия, длившегося более года, студенты, печатавшие и распространявшие книги Каутского и Цеткин, были высланы из Харькова. Но если Кузнецов вскоре изжил «грехи молодости», то такие члены кружка, как Ксандров, пройдя большевистское подполье, стали лодыжными революционерами-марксистами.

С. ЛЕВИНА,
главный библиограф Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина



ческого института создали кружок самообразования. Участники его, как и многие их тогдашние сверстники, поступая в высшее учебное заведение, хотели не только получить специальность, но и выработать цельное мировоззрение, уяснить смысл жизни, цели и пути общественной деятельности. На все эти вопросы казенная институтская программа не отвечала, и среди студенчества были широко распространены кружки самообразования. Напомним, что выработку «ясного, цельного социалистического мировоззрения» Ленин считал главной задачей самообразования. Это было время, когда из отдельных подпольных кружков, из «Союзов борьбы за освобождение рабочего класса», действовавших в разных концах страны, складывалась Российская социал-демократическая рабочая партия.

Участники Харьковского кружка самообразования еще не были

¹ Карл Каутский — один из лидеров германской социал-демократии и II Интернационала. Вначале был марксистом, позднее стал ренегатом марксизма.

СКРЫТОЙ

В Институте кинематографии только и говорят о съемке замаскированной камерой. Одни связывают со скрытой камерой главное направление в документальном кино. Другие возражают, мотивируя свою точку зрения неэтичностью съемок исподтишка.

Метод не нов («жизнь врасплох» снимал еще Дзига Вертов), но сейчас этот метод переживает второе рождение. Это связано с общей тягой передового современного кино к документальности и простоте.

У студентов ВГИКа разговоры пока преобладают над делом. Но уже есть и интересные результаты. Дипломник режиссерского факультета Виктор Виноградов и оператор Иван Ковригин сделали репортаж о буднях трудовой колонии несовершеннолетних — «Два дня из трехсот».

Используя скрытую камеру, авторы не стремились подсмотреть что-нибудь «этакое». Им хотелось увидеть ребят такими, какие они есть, увидеть мальчишек, которые в 15—16 лет успели «наломать дров». Виноградов и Ковригин показывают работу, учебу, быт колонистов. И все время внимательно вглядываются в лица. В этом им помогает скрытая камера.

Наиболее интересным получился эпизод, когда только что прибывшие рассказывают о себе совету колонии, то есть в основном таким же ребятам. Парни понимают, что здесь вранье не пройдет, и честно рассказывают обо всем. Съемка велась в очень неудобных условиях. И оператор и весь совет находились в одной небольшой комнате. Пришлось поставить книжные шкафы, разместиться за ними. Объектив аппарата выглядывал из-за книг и специально наставленных безделушек. Звук записывался при помощи скрытых микрофонов.

Выступая перед показом своего фильма «Обыкновенный фашизм», Михаил Ромм говорил, что для него было совершенно естественным обращение к скрытой камере. Фильм построен на сугубо документальном материале, смонтирован из кадров хроники, никаких инсценировок. Поэтому в



Режиссер-оператор Центральной студии документальных фильмов Владилен Трошкин — один из самых активных сторонников скрытой камеры. Эти кадры взяты из его фильма «Весенние свидания». Фильм, как можно догадаться из названия, рассказывает о свиданиях и о весне...

немногочисленных доъемках, рассказывающих о сегодняшнем дне, необходимо было избежать всякой искусственности.

Скрытая камера шагнула и в художественный кинематограф. Это не значит, что она вытесняет актеров, что происходит возврат к натурщикам и типажам. Просто актеры начинают играть в естественной среде.

Работая над картиной «Серая болезнь», режиссер Яков Сегель и оператор Инна Зарафьян решили снять скрытой камерой несколько сцен на натуре. Сценарий фильма имеет крепко сшитый сюжет. Это сатирическая комедия, в которой рассказывается о бацилле «серой болезни» — разновидности таких качеств, как эгоизм, равнодушие, черствость... Врач Сперанский, приготовив вакцину «серой болезни», ради экспери-

КАМЕРОЙ

мента вводит себе несколько кубиков этой вакцины. И сразу же удивительно меняется: друзья уже не узнают в нем доброго, отзывчивого человека. Но, начав с такого невероятного случая, авторы стремятся проанализировать «серую болезнь» как реально существующую, серьезную опасность. Именно для усиления достоверности Сегель и обратился к помощи скрытой камеры.

Когда уже зараженный «серой болезнью» Сперанский (артист И. Владимиров) отказывается идти на встречу со своим старым фронтовым другом, вместо него отправляется врач Никулин (артист В. Седов). Встреча была назначена в людном месте, и Никулин, не зная в лицо друга Сперанского, обращается к прохожим с одним и тем же вопросом: «Скажите, вы — Барабанщиков?» (Барабанщикова играет И. Переверзев). Эта сцена снималась так. На улице Горького, прямо против Главтелеграфа, была установлена палатка ремонтников-водопроводчиков. Из нее выглядывал объектив. Владимир Седов, снабженный специальным, надежно спрятанным микрофоном, бросался к ничего не подозревающим людям и оговоривал их вопросом: «Скажите, вы — Барабанщиков?» Одни удивлялись, другие отшучивались, некоторые даже сердились. Все вопросы-ответы ловила приемная станция и фиксировал магнитофон. Эпизоды, снятые скрытой камерой, составляют около 10 процентов картины.

— Мы могли бы использовать скрытую камеру гораздо шире, — говорит Яков Сегель. — Но виноват консерватизм техники. С трудом мы достали объектив в 150 мм, а хотелось бы иметь 300 мм.

Скрытая камера отвечает эстетике сегодняшнего дня, стремлению к естественности. Она позволяет рассматривать явления в связи с другими.

Скрытая камера только еще отвоёвывает себе место в киноискусстве. Спорят критики. Особенно яростно спорят у нас во ВГИКе. Будущие творческие работники стараются заглянуть в завтра кинематографа.

Юрий КРАЗЕ



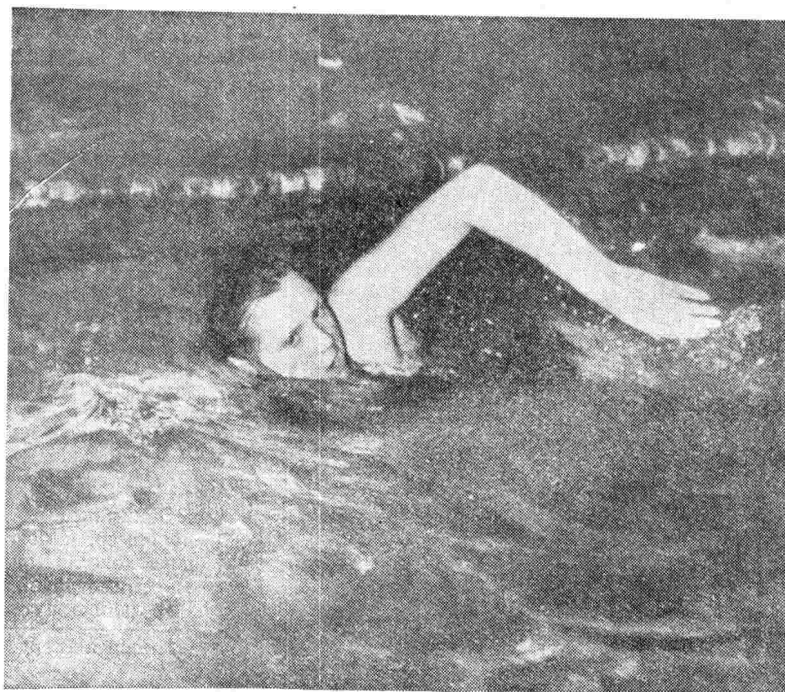
Фото С. Васина.

ПРИЗ «ЮНОСТИ» ВРУЧЕН

Спортивный приз «Юности», приз самому юному чемпиону страны 1965 года, как мы уже сообщали, был присужден редколлегией нашего журнала московской школьнице Тамаре Сосновой — чемпионке страны по плаванию на дистанциях 100 и 400 метров вольным стилем.

Недавно в бассейне ЦСКА на Ленинградском проспекте, где сильнейшие пловцы страны встречались со спортсменами Германской Демократической Республики, заместитель главного редактора журнала С. Н. Преображенский вручил Тамаре Сосновой приз «Юности».

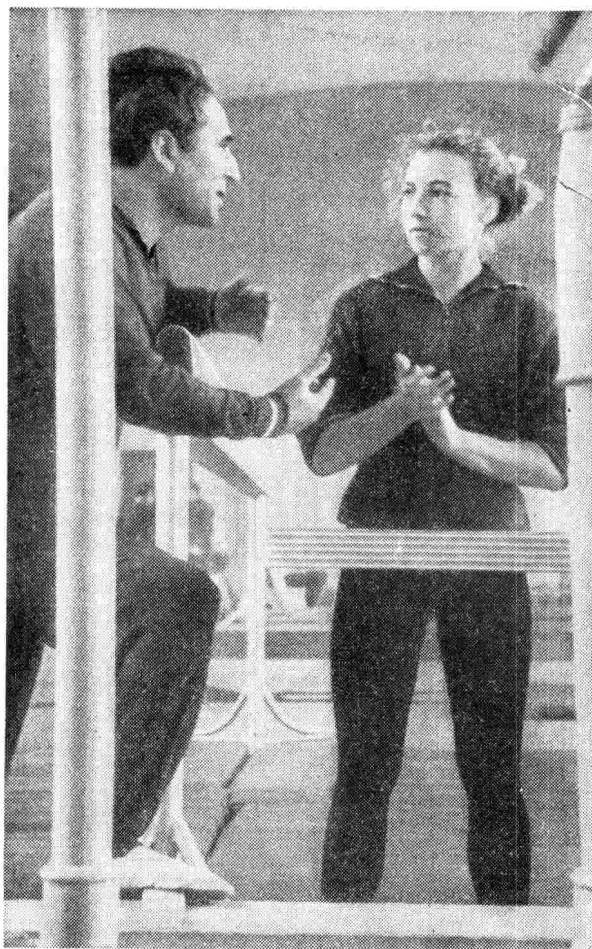
— Желаем тебе, Тамара, успешно закончить школу, — сказал он, — желаем тебе новых спортивных успехов. Пусть все твои мечты сбудутся!



МОЯ ГИМНАСТИКА

Наташа-чемпионка. Наташа-школьница. Наташа, которая, упражняясь на бревне, про себя повторяет Есенина. Наташа, которая мечтает, чтобы ей подарили собаку. Наташа, которая никому не прощает ни одного слова неправды. Наташа Кучинская, как она есть.

Записки Наташи комментирует ее тренер Владимир Рейсон.



Не понимаю, как люди могут не заниматься спортом. Мне на море потому и не нравится, что все лежит у воды, как трупы. Но плохо, и когда люди относятся к спорту, как к работе, когда начинается профессионализация, когда люди гонятся за такой сложностью, что руки-ноги ломают.

Я занялась гимнастикой в пятом классе. Одновременно записалась в кружки легкой атлетики, плавания, баскетбола и волейбола. Но везде успевать было трудно, и, когда мой тренер Владимир Михайлович Рейсон заметил, что я прихожу на занятия усталой, и сказал, что я должна выбрать что-нибудь одно, я стала больше времени уделять гимнастике. Я перешла уже в восьмой класс, когда заинтересовалась гимнастикой по-настоящему.

Я тренируюсь сейчас больше двух часов в день и не замечаю, как эти часы проходят. Не скрою: я устаю, очень устаю. После тренировок мне хочется спать. Но если я не тренируюсь, — не то настроение. Не знаю, куда себя деть, даже уроки не могу делать. Жду, пока будет следующий день, чтобы идти на тренировку.

Гимнастика приносит мне радость. Мне кажется, что в гимнастику я могу вложить все, что во мне есть.

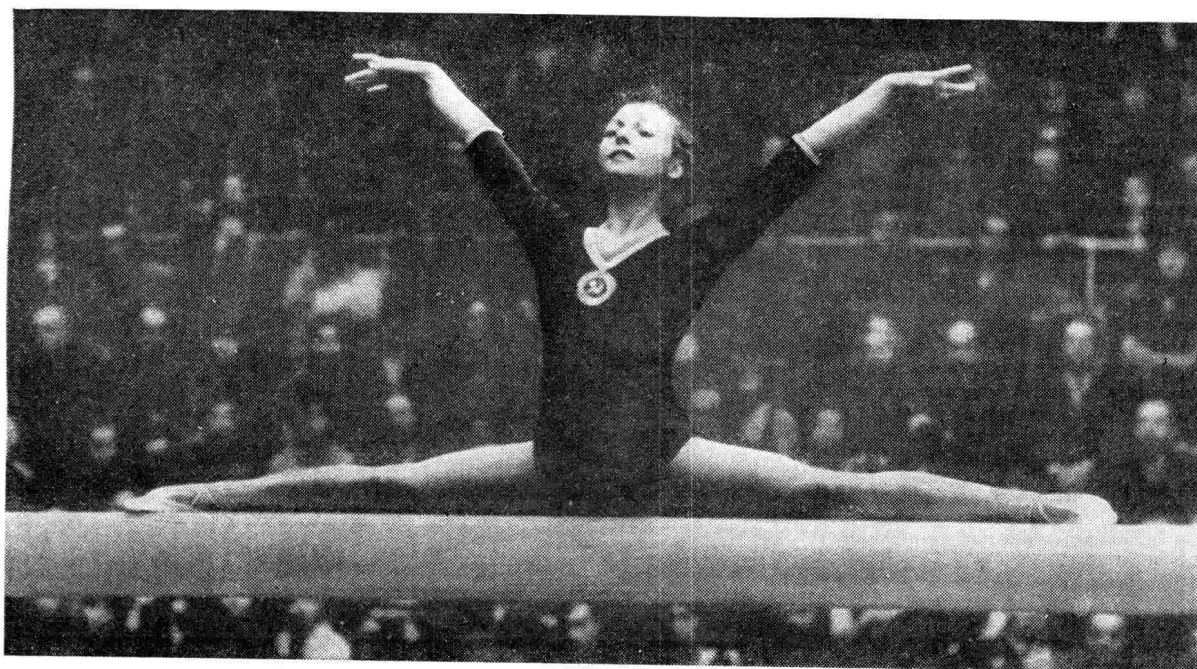
Когда несколько лет назад Наташа пришла ко мне в группу, она сразу же подкупила меня своей неиссякаемой энергией и настойчивостью. Она хотела везде успеть: занималась и в спортивных кружках, и в зоологическом, и в литературном. И надо сказать, что ей везде все удавалось. Но шли годы, и с увеличением тренировочных нагрузок и ростом спортивных успехов Наташе пришлось отмежеваться от всего побочного. Тренируется Наташа по два-три часа почти ежедневно. Это не так уж много для чемпионки, но для Наташи много, так как в этом году она оканчивает математическую школу. В семь часов вечера она уходит с тренировок и до часу, а то и до двух часов ночи сидит за домашними заданиями. А в семь часов утра она уже на ногах. И так ежедневно! Представляете, как любит Наташа гимнастику?

Занимаясь гимнастикой, я стала смелее. Раньше, например, я боялась поздно ходить по улице, а теперь хожу. Нырять боялась, а теперь прыгаю с пяти-семиметровой вышки.

Я люблю путешествовать. А путешествовать всем

«Теперь я твердо решила, что всегда буду слушаться тренера...»

Фото В. Галактионова.



«Я вышла вперед после бревна...»

Фото Б. Светланова.

хочется. Раньше я хотела путешествовать, как Горький,— ходить, смотреть... С девочкой Таней Мажуриной я хотела даже убежать в Среднюю Азию. Мы собирали для этого деньги от завтраков, но не вытерпели — истратили их на мороженое.

Теперь я знаю, что буду путешествовать как гимнастка. Вот только соревнования проводятся лишь в больших городах, а мне хочется в джунгли поехать: там интересные звери, растения... Я очень люблю животных и хотела быть даже дрессировщицей диких зверей. Сейчас у меня мало времени, чтобы ухаживать за зверями и птицами, а еще недавно у нас дома был настоящий зверинец: собака, черепаха, ящерица, всякие птицы, рыбы. Птиц я весной выпускала в окно.

Мне нравится, что Наташа любит животных. Она получила много подарков, когда стала абсолютной чемпионкой страны, часы, например. И вдруг говорит мне: «А что если бы вместо часов подарили собаку...»

Из мужских гимнастических снарядов мне особенно нравится перекладина. А конь совсем не нравится: некрасивый снаряд. Женские же снаряды все нравятся.

Я сейчас больше всего работаю над прыжками. Когда мы жили на старой квартире, где потолок был пятиметровый, я разрабатывала прыгучесть, доставая до люстры. Папа постепенно поднимал люстру, потому что я прыгала все выше. А в новой квартире потолки низкие, и я уже дома не прыгаю, только в зале. Обидно, но факт.

Бревно я люблю, потому что этот снаряд очень злит, норовит все время тебя сбросить.

В позапрошлом году меня впервые послали на первенство Союза в Киев. Тренер сказал: попадешь в финал — будешь молодец. Я попала в финал и даже шла первой, но упала с бревна. А я на бревно больше всего рассчитывала, у меня уже тогда из

всех снарядов самая высокая оценка была на бревне. До этого я целый год с бревна не падала, но я в финале шла первой, впереди Латыниной, и очень волновалась. Помню, я падала, даже не сопротивляясь, меня тянуло куда-то... Потом посмотрела на Владимира Михайловича, думала, что он ругать меня будет, а он сказал: «За битого двух небитых дают». Я не очень огорчена была, поскольку не собиралась первое место выигрывать. Еще не хватало, чтобы первое место выиграть! Тогда бы корреспонденты пришли, а я ненавижу корреспондентов: они омрачают мою жизнь. Они заставляют меня фотографироваться, как им надо, а я не могу. Нашли недавно у моей сестры Маришки какую-то куклу, мои медали на нее навешали и стали меня с этой куклой фотографировать. А я куклол вообще не люблю, никогда с куклами не играла. Я всегда бегать любила.

Действительно, в Киеве я рассчитывал лишь на то, чтобы Наташа попала в финал. Так что я особенно не огорчился, когда она упала с бревна. Ведь ее комбинация на бревне была самой сложной. С тех пор эта комбинация проверялась во многих ответственных соревнованиях, и почти всегда Наташа добивалась успеха. Значит, не облегчив упражнения, мы с ней избрали правильный путь.

Наташа исключительно чиста, о ее скромности можно писать бесконечно! Позировать перед объективами или выступать по телевидению для нее мука. Здесь часто не обходится без слез. Обычно она просто убегает от наиболее назойливых корреспондентов. Дело еще в том, что, на мой взгляд, газеты часто пишут о Наташе не совсем правдиво. А этого она страшно не любит. И если даже близкий Наташе человек произнесет хоть слово, искажающее истину, он перестает для нее существовать. Забыв о правилах приличия, Наташа может назвать такого человека вруном.

После того, как в Киеве я упала, совершенно незнакомые люди стали присылать мне письма. Я удивлялась, потому что думала: раз я упала, то обо мне сразу же все забудут. А мне писали, чтобы я не расстраивалась, чтобы больше работала. Много хороших писем было! Сейчас ко мне приходят уже сотни писем. Мне очень неудобно, но я просто физически не могу ответить на все эти письма. Совсем не хватает времени. Мама эти письма собирает, а всякие вырезки хранит бабушка.

Прошлой весной я опять с бревна падала — уже в Дании. Я была в плохой форме: болела до этого. А бревно стояло посреди зала, был яркий свет, много зрителей. Я два раза с бревна падала. Но зрители очень дружелюбно ко мне отнеслись.

А в июне у нас в Ленинграде был разыгран кубок Союза по гимнастике. Я всегда думаю: как мне повезло, что я родилась в Ленинграде! Я очень люблю Неву, памятник Петру.

Я перепутала время, пришла на соревнования намного раньше и сидела в саду у Зимнего стадиона, ждала. На этот раз я не волновалась. Упаду, думала, ну и что из этого? Что со мной случится? Не получу медаль? Ну и что особенного? Значит, не готова. А если готова, то выиграю. Зачем же волноваться?

Уже на бревне я опять испугалась. Но тут же подумала: почему я должна падать? Не буду падать! И стала чемпионкой страны на бревне.

Бревно было долго любимым снарядом Наташи, но теперь она любит и вольные упражнения. И все-таки на бревне Наташа тренируется до самозабвения, не щадя ни себя, ни тренера. В такие минуты я называю ее маленькой эгоисткой, так как она требует к себе исключительного внимания — стоит мне только на миг отвернуться, как она тотчас это заметит и потом скажет: «Ведь вы не смотрели на меня, вот я и не старалась».

Не могу представить себя взрослой, но соревноваться со взрослыми мне интересно. Соревнуясь с ними, учишься, как надо вести себя в критические минуты. Тут для меня эталон — Полина Григорьевна Астахова.

Мы ездили в Данию вчетвером: Астахова, Латынина, Лариска Петрик и я. Я испугалась сначала, попав в компанию Астаховой и Латыниной, даже подходить к ним боялась. А потом Астахова сама ко мне подошла. Астахова очень скромна. Мне нравится, что она много тренируется, ее стиль нравится.

Наташа не случайно выделяет из всех гимнасток Полину Астахову. Та импонирует ей своей скромностью, простотой, лиричностью. Я всегда ставил Полину в пример Наташе.

Моя сестра Маришка — она на год моложе меня, учится в девятом классе — занимается художественной гимнастикой. Она тоже мастер спорта, стала в прошлом году чемпионкой Ленинграда. Мы дружим



«Как мне повезло, что я родилась в Ленинграде! Я очень люблю Неву...»

Фото В. Галактионова.

с Маришкой, хотя ни театром, ни птицами она не интересуется.

Маришка занялась художественной гимнастикой, потому что наша мама — тренер по художественной гимнастике. А мне художественная гимнастика раньше не нравилась, однообразной казалась, и мы с Маришкой всегда спорили, чья гимнастика лучше. Но, конечно, каждая оставалась при своем мнении.

Сейчас я уже не спорю с Маришкой. Спор — сложно или красиво? — мне кажется странным. Должно быть и сложно и красиво. Помните, был такой спор физиков и лириков. В спортивной гимнастике есть элементы сложные и в то же время красивые, а элементы просто сложные, трюки, по-моему, делать не стоит. Надо стремиться к артистичности, как стремиться к этому фигуристы Белоусова и Протопопов.

При этом у каждого должен быть свой стиль. Я никого не удивлю, если буду повторять, например, элементы Чеславской. Но очень трудно найти свой стиль. Многие мне говорят, что мой стиль — это медленность, лиричность. А мне кажется, что это не так. В ноябре в Московском Дворце спорта я выступала с новыми вольными упражнениями под музыку из фильма Чарли Чаплина «Огни большого города». В этих новых моих вольных упражнениях больше жизни, задора, чем в прежних, и, когда я делаю их, кажется, ничего мне больше не надо на свете.

Я спорю с Ларисой Петрик. Ей нравится резкость Волчецкой. Она говорит, что надо работать так же, это модно. А по-моему, нет такой моды — для всех. Если человек лиричен, западный стиль ему не подойдет. Я сказала Лариске: «Ну и дергайся!»

Я с Лариской дружу. Мы с ней одного возраста и вместе оказались в сборной страны среди взрослых. Лариска не строит из себя взрослую, мы вместе бегаем, носимся. Мы дружим, но мы и соперницы. Мне очень было обидно, когда я проиграла ей в Киеве. Если бы она была старше меня, а то — одного возрас-

та! Петрик-самолюбива. Я, наверно, тоже. Очень опасной соперницей я считаю Зину Дружинину. Зина тоже такая «злая» гимнастка, не уступит Лариске. Ее преимущество — природная грация. На Дружинину просто смотреть приятно: уверенная, талантливая, красивая. Зина, например, артистичнее Чеславской. Ведь вольные упражнения чемпионки мира — почти одна акробатика. А чтобы достичь совершенства, акробатику надо сочетать с артистичностью. Я так думаю.

А ведь год-два назад Наташа еще не задумывалась над собственным стилем, хотела быть просто похожей на Чеславскую и других знаменитых гимнасток. Как зреет Наташин характер, как зреют ее суждения!..

Мне нравится эта церемония, когда все выстраиваются перед началом соревнования. И нравится, когда мне хлопают во время выступления. Когда вручают медаль — это тоже интересно, но не так.

Любой хочет быть чемпионом. Но я считаю себя пока слабее Астаховой и не думала, что выиграю в ноябре абсолютное первенство страны.

Думаю, Наташа права, говоря, что она слабее Астаховой. Наташа уже несколько раз соревновалась с Полиной как равная с равной.

Правда, я никому не хотела уступать, кроме Астаховой. Я думала, что буду второй. У Петрик и у Дружининой, которая обошла меня на встрече СССР — Япония, я хотела выиграть.

Когда Астахова упала с бревна, мне было за нее обидно. Как же так, она же должна была стать чемпионкой! Но спорт есть спорт. И я подумала: «Раз так, то никого вперед не пропущу!» Я решила было сделать в вольных упражнениях «колпинское без рук», этот сложный элемент я специально готовила к чемпионату, но немного недоработала. Мой тренер Владимир Михайлович Рейсон сказал: «Ты это не сделаешь». Я послушалась тренера, а если бы не послушалась, наверняка бы тоже упала.

Когда я впервые пришла к Владимиру Михайловичу, он мне сразу же понравился своей требовательностью. Но когда однажды он не разрешил мне участвовать в кроссе, я все равно пошла бегать. А он узнал откуда-то и на тренировке видит, что у меня ноги устали, и не дает мне прыгать. Я обиделась и стала мешать всем остальным прыгать. Он целую неделю не занимался со мной, пока я не попросила прощения. И потом еще несколько раз я его не слушалась. Теперь я твердо решила, что всегда буду слушаться тренера, что никогда больше не буду ему грубить.

Работать с Наташей и легко и нелегко. Ученик должен с очень большим вниманием относиться к замечаниям тренера, а Наташа иногда переоценивает свои возможности. Правда, затем она осознает это, но проходит немного времени, и все начинается сначала.

Когда я вышла вперед после бревна, то уже знала, что не сорвусь и на вольных. Шум зала на этот раз меня не отвлекал, а лишь возбуждал.

Я стала абсолютной чемпионкой страны и, конечно, радовалась, а Астахова была очень грустной. Мне хотелось подойти к Астаховой и сказать, что она лучше других, но я боялась, что не смогу скрыть свою радость.

Наташу смущают даже заслуженные почести. Были случаи, когда мне просто приходилось заставлять ее подниматься на высшую ступеньку пьедестала почета.

Хочу быстрее в институт поступить. Я часто пропускаю школу из-за гимнастики. Хожу в школу, как в гости. Неудобно. К тому же в физико-математическую школу я пошла потому только, что туда трудно было попасть. Я больше люблю литературу, чем математику. Недавно открыла для себя Блока. А стихи Есенина я про себя повторяю, даже когда на бревне работаю.

Я хотела поступить в театральный институт. У одной девочки из нашего класса мы ставили дома сцену Офелии, Полония и Гамлета. Я играла Офелию. Полония и Гамлета у нас тоже играли девочки. Очень интересно было репетировать. Мне нравится Гамлет в исполнении Рецетера. Его Гамлет — над всем миром!

Мне повезло: я была в замке Гамлета — в Эльсиноре, когда в апреле прошлого года участвовала в показательных выступлениях в Дании. А страшно все-таки в Эльсиноре!

Да, а в театральный институт я поступать не буду. Я хочу очень серьезно заниматься гимнастикой. А как совместить спорт и театр? Надо очень много работать, иначе будешь плохой актрисой. А я не хочу быть плохой актрисой.

Просто не знаю, в какой идти институт. Каждый день меняю решения.

Математик из Наташи не получится. Родители зря отдали ее в математическую школу. Но изменить что-либо сейчас уже невозможно, и Наташе приходится сидеть до двух часов ночи над домашними заданиями. Это, конечно, не способствует занятиям гимнастикой. А о том, какую выберет Наташа профессию, говорить пока трудно. Слишком многое ей в жизни нравится.

Мне часто сны снятся. И гимнастика снится, снятся тренировки. Бывают и очень интересные сны, например, я умею летать, но никто об этом не знает. Я такие сложные упражнения делаю, такие прыжки, что все только удивляются. Я выигрываю все соревнования, и кругом говорят: «Давайте не будем больше устраивать соревнования, все равно она выигрывает!»

А днем меня тренер спрашивает: «Устала?» Я говорю: «Нет». Ведь летать я пока умею только во сне...

Я верю в свою Наташу. И эта вера дает мне силы для дальнейшей работы, поисков. Ведь спортивная биография абсолютной чемпионки страны по гимнастике только начинается.





● Иван Карабутенко,
ученик 10-го класса

Рис. И. Оффенгендена.

ВОРОНА НА СНЕГУ

Группа экскурсантов толпилась в вестибюле Третьяковской галереи.

— Ну что, товарищи, куда пойдем? — не выдержал кто-то.

— Куда поведут — туда и пойдем, — пробубнил густым голосом мужчина в галифе и черном пиджаке.

Наконец появился толстый человек с добродушным лицом.

— Все в сборе?

И быстрым, удивительным для его комплекции шагом прошел мимо контролерши. Все гурьбой двинулись вслед. Каблуки гулко били по деревянному упругому полу.

— Бывали здесь раньше? — спросил гражданин в вельветовой куртке у мужчины в галифе.

— Не приходилось. Я в столице первый раз. А вы?

— Тоже.

— Красиво тут.

— Да-а... Чего это проводник не остановится никак? Вон ведь сколько картинок висит.

— Не знаю. Ему видней.

Навстречу шла другая группа. Худощавый пожилой экскурсовод, который вел ее, сказал на ходу громко:

— Сейчас мы с вами видели, товарищи, портрет Корина работы Нестерова. А это портрет Нестерова работы Корина.

Мужчина в галифе хотел посмотреть, но его экскурсия ухнула, и он еле ее догнал.

— Не отставайте, — засмеялся гражданин в вельветовой куртке.

Экскурсовод остановился. В руке блеснула короткая металлическая палочка.

— Товарищи! Мы находимся в зале величайшего русского художника Шишкина. Перед вами его картина «Рожь». Вдоль пыльной степной дороги раскинулись необозримые просторы ржи. Она колосится, и художник мастерски передает ее. Это всем вам известная картина «Утро в сосновом лесу». Шишкин знал лес, как ученый, и чувствовал его, как поэт. А теперь, товарищи, мы перейдем в зал другого русского художника — Васнецова. Взгляните. Его известная картина «После побоища Игоря Святославича с половцами» дышит жизнью, хоть здесь все мертвецы. А этого русского богатыря художник изобразил таким образом, что откуда бы вы ни смотрели на него, ноги воина устремлены на вас.

Мужчина в галифе проверил. В самом деле. Экскурсовод поймал его изумленный взгляд и торжественно провозгласил:

— Секрет художник унес в

могилу. А эта картина называется «Богатыри». Она знакома всем по репродукциям, а товарищам мужчинам — по папиросным коробкам.

Выждав, пока стихнет довольный смех, экскурсовод продолжал:

— Среди бескрайних степей остановились богатыри. Слева направо: Добрыня Никитич, Илья Муромец, Алеша Попович. Храбрые витязи, как и их лошади, полны стремления сокрушить врагов родной земли.

Мужчина в галифе заметил еще одну знакомую картину. Перед ней стояли школьники, а женщина-экскурсовод со скрещенными на груди руками ласково говорила:

— Кто это, дети?

— Але-о-нушка, — хором ответили те.

— А кого она оплакивает?

— Ива-а-нушку.

— Правильно, дети. Это Але-нушка, которая оплакивает своего любимого братца Иванушку...

Мужчина в галифе с ужасом увидел, что его группа ушла, и бросился в соседний зал. Экскурсанты стояли у картины, изображающей кучу черепов. Донесся голос толстого экскурсовода:

● ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС.

— Направо — сожженный город. Налево — сожженный сад.
И экскурсия перешла в следующую зал.

— Товарищи! Мы с вами находимся в зале великого русского художника Сурикова. Всем вам известна его картина «Боярыня Морозова». Боярыню Морозову везут в сани. Окружающие возмущены этим бесчеловечным актом, а она, поднимая вверх свои белые тонкие пальцы, призывает бороться за веру и всем своим видом показывает пример непоколебимости и бесстрашия. Рассказывают, что на мысль о создании картины художника натолкнула черная ворона, увиденная им на белом снегу. Замечательный русский художник Репин тоже обращался к историческому жанру. Мы немного подождем, пока освободится картина «Иван Грозный и сын его Иван», а сейчас рассмотрим «Крестный ход».

Мужчина в галифе все же не вытерпел и отошел к «Ивану Грозному» раньше. Перед стеклом стоял худой бледный юноша в коричневом костюме. Голос его то нарастал, то затихал. Окружающие стояли, боясь шелохнуться. Вдруг юноша резко закрыл лицо руками. Потом пальцы медленно приоткрыли пол-

ные боли глаза. Руки тяжело упали. Голос был тих:

— И он убил его... убил... Осталась только кровь... Но ее слишком много! — неожиданно крикнул юноша. — Она преследует вас, она гонится за вами! Кровь! Кровь! Кровь!..

Он замолчал. Пауза длилась с минуту.

— А теперь, — произнес юный экскурсовод спокойно, — перейдем в следующий зал.

— А теперь, товарищи, перейдем к картине «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».

Толстый экскурсовод важно прошел к стеклу.

«Словно поезда меняются», — подумал мужчина в галифе.

— Как я уже сказал, товарищи, сюжет взят из истории. Перед вами трагедия: отец убил сына. Написанная в приглушенных красных тонах, эта картина не может не оставить зрителя потрясенным. Здесь нет царя: здесь есть, товарищи, отец. На руках у него сын. Он мертв. А это другая известная картина Репина — «Не ждали»...

Экскурсия простояла дальше, в зал Крамского.

У портрета Толстого стоял бледный юноша и тихим голосом внушал, что глаза писателя пронизывают зрителя насквозь.

Добродушный экскурсовод остановился у картины «Неизвестная».

— Товарищи! Перед вами незнакомая женщина. У этой женщины есть все: и экипаж и богатое платье. Но у нее нет главного: счастья. Присмотревшись, вы увидите, как печально ее на первый взгляд беззаботное лицо. Иначе быть не могло, ибо эта женщина жила в мрачную эпоху.

Толстяк поводит их еще по нескольким залам, потом сказал:

— Наша, товарищи, экскурсия подошла к концу. Какие будут вопросы?

— А что такое Кукрыниксы? Экскурсовод снял очки и протер платочком.

— Ку — Куприянов. Кры — Крылов. Никс — Николай Соколов.

— Спасибо.

Назад мужчина в галифе и гражданин в вельветовой куртке шли вместе. Они долго плутали в поисках выхода, пока не попали снова в зал Сурикова.

У «Боярыни Морозовой» столпились люди. Объясняла женщина-экскурсовод:

— Рассказывают, что на мысль о создании картины художника натолкнула черная ворона, увиденная им на белом снегу...

● Наум Станиловский

Ю М О Р Е С К И

НЕУДАЧНИК

Его в таланты прочили,
А он попал в «...и прочие».

ДОЛЖНИК

В вопросах чести был он дока,
И если брал он деньги в долг,
То помнил он о чувстве долга
Долго.

НАПУТСТВИЕ

Иным поэтам надо все же
С начала самого внушить:
Когда поэтом быть

не можешь,
Поэтом можешь ты не быть.

ОДНОМУ АВТОРУ

Ваш всякий сборник новый
Нас удивляет, право:
Все меньше чувства слова,
Все больше чувства славы.

МЕНЮ

Хвалилось новое меню:
«Я все тут мигом изменю,

Я им в обязанность вменю
Менять меня пять раз на дню...»
Меню сменили повара,
Но ел я то же, что вчера.

О «МЭТРАХ»

Среди талантливых поэтов
Порой встречаем мы таких:
Он сам себя считает «мэтром»
И «сантимэтрами» — других.

ЛЮБИТЕЛЬ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ

Он на собрания не приходит,
И есть причина — занемог:
Голосовать не мог он «против»,
Голосовать он «за» не мог.

О ГОНОРАРЕ

Всю жизнь смириться он не мог
С такою практикой порочной:
Его читают между строк,
А платят только лишь
построчно.

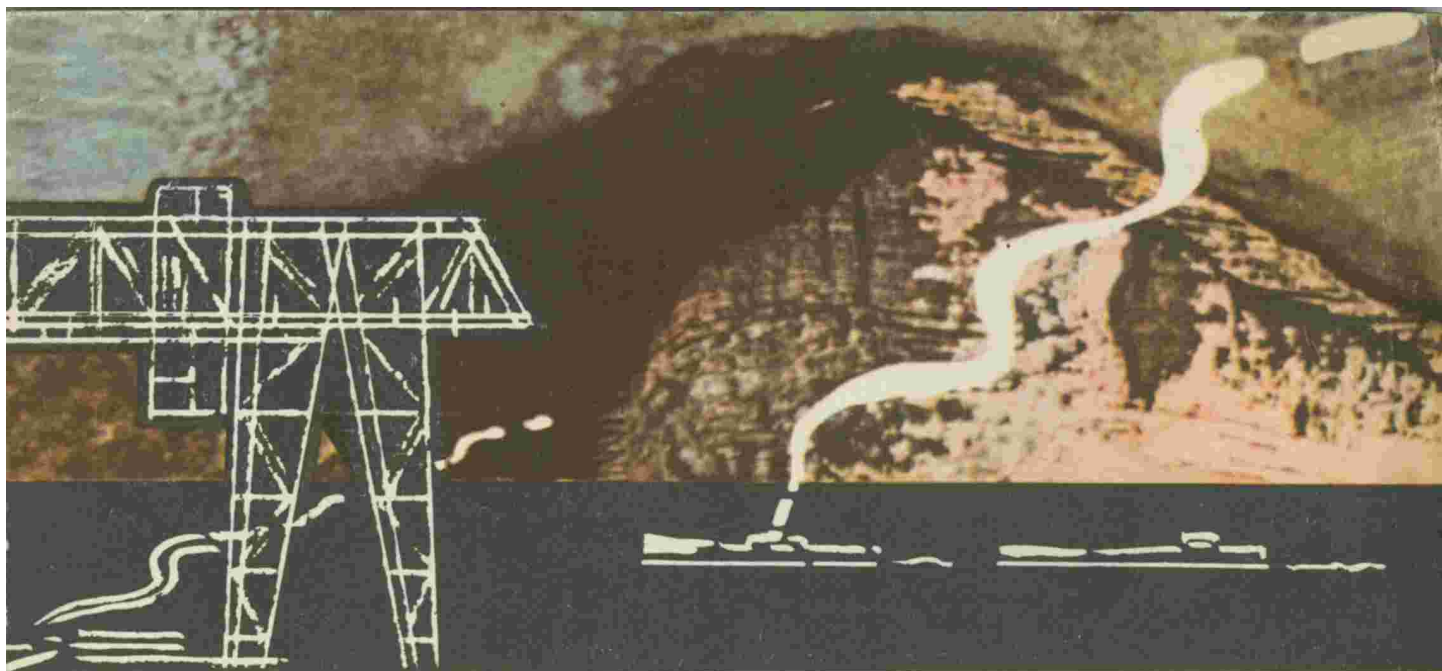


• ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС •

Н. ЖУКОВ.

НЖ
1965

В библиотеке.



Цена 40 коп.

214

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Зам. главного редактора С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: В. П. АКСЕНОВ, Э. Б. ВИШНЯКОВ, В. Н. ГОРЯЕВ,
Е. А. ЕВТУШЕНКО, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь), Г. А. МЕДЫНСКИЙ,
М. П. ПРИЛЕЖАЕВА, В. С. РОЗОВ.

Индекс
71120.